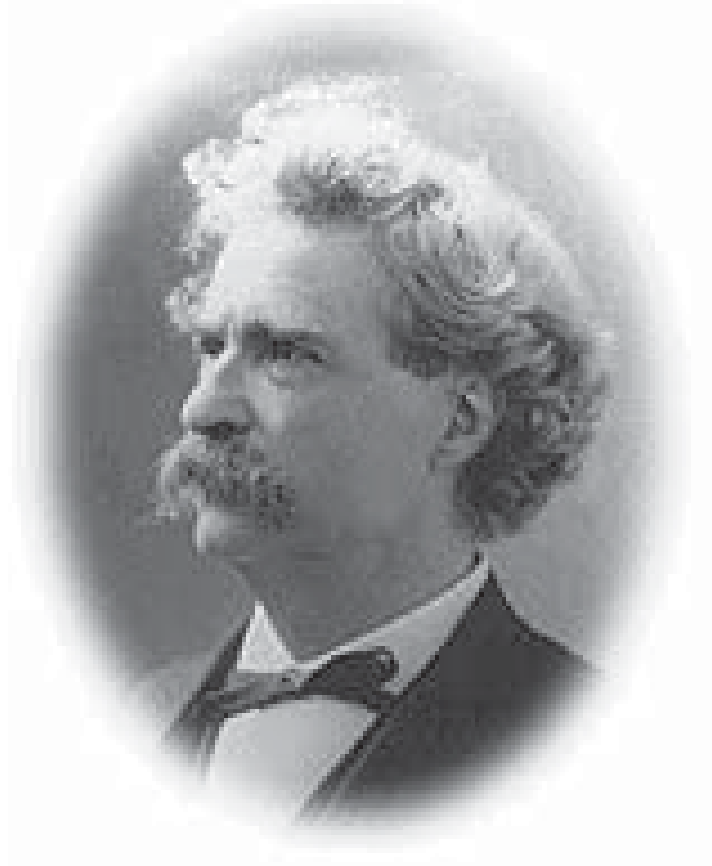


МАРК ТВЕН

СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ ТОМ 1



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003



© «Im-Werden-Verlag» 2002, составление и оформление, дополнено 2003.

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

СОДЕРЖАНИЕ

Как я редактировал сельскохозяйственную газету (перевод Нины Дарузес).....	5
Укрощение велосипеда (перевод Нины Дарузес).....	8
Календарь простофили Вильсона	12
Как лечить простуду (перевод Н. Дехтяревой)	19
Как меня выбирали в губернаторы (перевод Н. Трениевой)	21
Мои первые подвиги на газетном поприщ (перевод Э. Боровика).....	24
О парикмахерах (перевод Э. Боровика)	26
Как я выступал в роли агента по обслуживанию туристов (перевод Инны Бернштейн) .	28
Назойливый завсегдатай (перевод Л. Силиной).....	37
Мое кровавое злодеяние (перевод Т. Рузской).....	38
Сиамские близнецы (перевод Ильи Ильфа).....	39
Как выводить кур (переводчик: А. Мурик)	41
Ответ будущему гению (перевод Н. Дехтяревой)	43
Трогательный случай из детства Джоржа Вашингтона	43
Рассказ о дурном мальчике (перевод М. Абкиной).....	45
Мак Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров (перевод А. Старцева)	47
Как избавиться от речей (перевод Н. Ромма).....	51
Эпидемия (перевод В. Лимановской)	53
Дневник Адама (перевод Т. Озерской)	54
Рассказы о великодушных поступках (перевод Нины Дарузес)	61
Похищение белого слона	65
Некоторые факты, касательно... (перевод А. Копелиовича)	77
Жалоба на корреспондентов, написанная в Сан-Франциско	87
Когда я служил секретарем	89
Христианская наука (перевод Т. Рузской)	92
Мои часы (перевод Нины Дарузес)	103
Мак-Вильямсы и круп (перевод Нины Дарузес)	104

Разговор с интервьюером (перевод Нины Дарузес)	108
Чернокожий слуга генерала Вашингтона (перевод Н. Ромма)	111
Относительно табака (перевод И. Архангельской)	113
Моя автобиография (перевод А. Старцевой)	115
Окаменелый человек (перевод З. Безыменской)	118
Моя первая ложь и как я из нее выпутался	119
Покойный Бенджамин Франклин (переводчик: В. Маянц)	124
Исправленные некрологи (перевод Е. Элькинда)	126
План города Парижа (перевод Э. Гольдернесса).....	128
Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса (перевод Нины Дарузес)	129
Рассказ о хорошем мальчике (перевод М. Абкиной).....	133
Замечательный старик (перевод Т. Рузской)	135
Мы — англосаксы (перевод Н.Дехтяревой)	136
Литературные грехи Фенимора Купера	137
Ниагара (перевод Э. Кабалевской)	144
Великая революция в Питкерне (перевод С. Займовского).....	147
Миссис Мак-Вильямс и молния (перевод Нины Дарузес).....	154
Журналистика в Теннесси (перевод Нины Дарузес)	158
Дневник Евы (перевод Т. Озерской).....	162
Мораль и память (перевод В. Хинкиса).....	172
Наставление художникам (перевод М. Литвиновой)	176
Людоедство в поезде (перевод А. Старцева)	182
Мир в году 920 после сотворения	187

КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалование мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место.

Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю трудился не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня — так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он!» Вполне естественно, я был польщен. Наутро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом своей тетушке.

Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде — фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило.

Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.

Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:

— Это вы и есть новый редактор?

Я сказал, что да.

— Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?

— Нет, — сказал я, — это мой первый опыт.

— Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?

— Н-нет, сколько помню, не занимался.

— Я это почему-то предчувствовал, — сказал почтенный старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. — Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали? «Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его».

Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?

— Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево...

— Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!

— Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать «потрясти куст».

Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен.

Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему помочь.

Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех горах и долинах его физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука. Но он все-таки прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне в лицо с живейшим интересом, потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей газеты и сказал:

— Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.

Я прочел нижеследующие строки, и, по мере того как слова срывались с моих губ, страдальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало, и наконец его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кратким сиянием луны унылый пейзаж.

«Гуано — ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и по позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов».

«По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе».

«О тыкке. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии; они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по вкусу. Тыква — единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени».

«В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру...»
Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал:

— Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме: вы прочли так же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора, но теперь знаю: я не в своем уме». После этого я испустил дикий вопль, так что слышно было за две мили, и побежал убить кого-нибудь: все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить себя еще раз; теперь я проверил, и это просто счастье для того бедняги, который сидит на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой.

Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего.

Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект, тем более что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал — в комнату вошел редактор! (Я подумал про себя: «Вот если б ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал».)

Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный.

Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, потом сказал:

— Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, и боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом, но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас; а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это право — после того как прочли ваши статьи. Эти статьи — позор для журналистики.

И с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете борозды от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс! Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск — я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?

— Почему не сказал вам, гороховый стручок, капуста кочерыжка, тыквин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омеги, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает

жалованья. Видит Бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнил все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества, — и сделал. Я сказал, что увеличу тираж до двадцати тысяч экземпляров, — и увеличил бы, будь в моем распоряжении еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой был когда-либо у сельскохозяйственной газеты, — ни одного фермера, ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево!

И я ушел.

УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

I

Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутылку свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподавать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело.

Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек — дюймов пятидесяти, с укороченными педалями и резвый, как полагается жеребенку. Инструктор кратко описал его достоинства, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости, обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул машину — и вдруг все мы оказались на земле: внизу он, на нем я, а сверху машина.

Осмотрели машину — она несколько не пострадала. Это было невероятно. Однако инструктор уверил меня, что так оно и есть; и действительно, осмотр подтвердил его слова. Из этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне удалось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны, но и я свалился на левую, так что результат получился тот же самый.

Машина осталась невредима. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда, но, не знаю уж каким образом, я опять свалился прямо на него.

Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо-таки сверхъестественно: на машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромя, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я перелетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас: это смягчило удар, и он остался цел.

Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора; оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это оттого, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а по-моему — инструктор удобнее. Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая. Они четвером держали изящную

машину, покуда я взбирался на седло, потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади; в финале участвовала вся команда.

Велосипед, что называется, писал восьмерки, и писал очень скверно. Для того чтобы усидеть на месте, от меня требовалось очень многое и всегда что-нибудь прямо-таки противное природе. Противное моей природе, но не законам природы. Иначе говоря, когда от меня что-либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом, а какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая таким образом закон природы. Закон требовал обратного: переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно — невозможно, настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные доказательства; сначала просто невозможно заставить себя действовать по-новому. Тут на первый план выступает разум: он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить новые.

С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-нибудь да выучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, что учиться немецкому языку: там тридцать лет бредешь ощупью и делаешь ошибки; наконец думаешь, что выучился, — так нет же, тебе подсовывают сослагательное наклонение — и начинай опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком: в том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос.

Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все-таки, по-моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку — изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на полдороге.

Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче — садиться на него. Делается это так: скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и ухватившись за руль обеими руками. Когда скамандуют, становишься левой ногой на педаль, а правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе; наваливаешься животом на седло и падаешь — может, направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь — и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд.

Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, — вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю.

Однако на ушибы перестаешь обращать внимание довольно скоро и постепенно привыкаешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, приходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем, — конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе, и на время оставить педали в покое; а если сразу хвататься за педали, то дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед, и после небольшой практики это будет легко и просто, хотя зрителям па первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь.

Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию; соскакивать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается.

Ничего особенного тут не требуется, и, по-видимому, это нетрудно; нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем, повернуть колесо влево и соскочить, как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком, точно с крыши. И каждый раз над тобой смеются.

II

В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени.

Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно: я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем; кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, каким образом? Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Если личный опыт чего-нибудь стоит в воспитательном смысле, то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь, — и все-таки, если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы сначала спросить кого-нибудь, можно ли хвататься за провод. Но ему это как-то не подошло бы: он из тех самоучек, которые полагаются на опыт; он захотел бы проверить сам. И в назидание себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электрический провод; кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспитание — до тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с динамитом, чтобы узнать, что в ней находится. Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя — это сэкономит массу времени и свинцовой примочки.

Перед тем как окончательно распротираться со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс — лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал:

— Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из-под пальцев, в темноте его можно принять за устрицу в мешке.

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще: — Это не беда, огорчаться тут нечего; немного погодя вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке.

После этого он со мной распротирался, и я отправился один искать приключений.

Собственно, искать их не приходится, это так только говорится, — они сами вас находят.

Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок шириной ярдов в тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать. Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко: не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора: «Хорошо, вот теперь правильно. Валяйте смелей, вперед!» Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахара.

Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади — вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил:

— Батюшки! Вот так летит во весь опор!

Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску; она засмеялась и хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно:

— Оставь его в покое, он едет на похороны.

Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть: но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема; он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен; и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, — и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал:

— Так, так! Отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся.

Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине.

В конце концов я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, каждый мускул камнеет от напряжения, и начинаешь осторожно описывать кривую. Но нервы шалят и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье: все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки.

Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтоб довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-нибудь четырнадцать — пятнадцать ярдов свободного места. Окликнуть его я не мог — начинающему нельзя кричать: как только он откроет рот, он погиб; все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновенными движениями моей машины и соответственно извещал фермера:

— Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет.

Фермер начал сворачивать.

— Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра... Стой, где стоишь, не то тебе крышка!

Тут я как раз заехал подветренной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал:

— Чорт полосатый! Что ж ты, не видел, что ли, что я еду?

— Видеть-то я видел, только почему же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделать?

Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже.

Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю.

В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слышал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак.

Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной, однако выучился даже и этому.

Теперь я еду, куда хочу, и как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не исправится.

Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы.

КАЛЕНДАРЬ ПРОСТОФИЛИ ВИЛЬСОНА

Насмешки, даже самые бездарные и глупые, могут загубить любой характер, даже самый прекрасный и благородный. Взять к примеру осла: характер у него почти что безупречен, и это же кладезь ума рядом с прочими заурядными животными, однако поглядите, что сделали с ним насмешки. Вместо того, чтобы чувствовать себя польщенными, когда нас называют ослиами, мы испытываем сомнение...

Открой свои карты или бей козырем, но только не упускай взятку.

Адам был просто человеком — этим все сказано. Не так уж ему хотелось этого яблока, — ему хотелось вкусить запретный плод. Жаль, что змей не был запретным, — Адам наверняка съел бы его.

Тот, кто прожил достаточно долго на свете и познал жизнь, понимает, как глубоко мы обязаны Адаму — первому великому благодетелю рода людского. Он принес в мир смерть.

Адам и Ева имели перед нами много преимуществ, но больше всего им повезло в том, что они избежали прорезывания зубов.

Беда с провидением: очень часто задумываешься, к кому, собственно оно благоволит? Пример — случай с детьми, медведицами и пророком: медведицы получили больше удовольствия, чем пророк, ведь им достались дети.

Воспитание — это все. Персик в прошлом был горьким миндалем; цветная капуста — не что иное, как обыкновенная капуста с высшим образованием.

Замечание доктора Болдуина относительно выскочек: «Мы не желаем есть поганки, которые мнят себя трюфелями».

Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас, когда мы умрем!

Привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко, а можно только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы.

Одно из главных различий между кошкой и ложью заключается в том, что у кошки только девять жизней.

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить денег взаймы.

Всегда помните о сути вещей. Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей.

Почему мы радуемся рождению человека и грустим на похоронах? Потому что это не наше рождение и не наши похороны.

Находить недостатки дело нетрудное, если питать к этому склонность. Один человек жаловался, что уголь, которым он топит, содержит слишком много доисторических жаб.

Все говорят: «Как тяжело, что мы должны умереть». Не странно ли это слышать из уст тех, кто испытал тяготы жизни?

Когда рассердишься, сосчитай до трех; когда очень рассердишься, выругайся!

Существует три безошибочных способа доставить удовольствие писателю; вот они в восходящем порядке: 1) сказать ему, что вы читали одну из его книг; 2) сказать ему, что вы читали все его книги; 3) просить его дать вам прочесть рукопись его будущей книги. N1 заставит его уважать вас; N2 заставит его хорошо относиться к вам; N3 завоюет вам прочное место в его сердце.

По поводу имени прилагательного:

Коли чувствуешь сомненье,
Зачеркни без сожаленья.

Храбрость — это сопротивление страху, подавление страха, а не отсутствие страха. Если человек не способен испытывать страх, про него нельзя сказать, что он храбр, — это было бы неправильным употреблением эпитета. Взять к примеру блоху: она считалась бы самой храброй Божьей тварью на свете, если бы неведение страха было равнозначно храбрости. Она кусает вас и когда вы спите, и когда вы бодрствуете, и ей невдомек, что по своей величине и силе вы для нее то же, что все армии мира вкупе для новорожденного младенца; блоха живет день и ночь на волосок от гибели, но испытывает не больше страха, чем человек, идущий по улицам города, находившегося десять веков назад под угрозой землетрясения. Когда говорят о Клайве,

Нельсоне и Путнэме как о людях, «не ведавших страха», то непременно надо добавить к списку блоху, поставив ее на первое место.

Когда я раздумываю о том, сколько неприятных людей попало в рай, меня охватывает желание отказаться от благочестивой жизни.

Октябрь — один из самых опасных месяцев в году для спекуляции на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.

Настоящий южный арбуз — это особый дар природы, и его нельзя смешивать ни с какими обыденными дарами. Среди всех деликатесов мира он занимает первое место, он Божьей милостью царь земных плодов. Отведайте его, и вы поймете, что едят ангелы. Ева вкусила не арбуза, нет, это мы знаем точно: ведь она раскаялась.

Ничего так не нуждается в исправлении, как чужие привычки.

Дурак сказал: «Не клади все яйца в одну корзину!» — иными словами: распыляй свои интересы и деньги! А мудрец сказал: «Клади все яйца в одну корзину, но... БЕРЕГИ КОРЗИНУ!»

Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком.

Мы хорошо знакомы с повадками муравьев, мы хорошо знакомы с повадками пчел, но мы совсем не знакомы с повадками устриц. Можно утверждать почти с уверенностью, что для изучения устриц мы всегда выбираем неподходящий момент.

Даже слава может быть чрезмерной. Попав в Рим, вначале ужасно сожалеешь о том, что Микеланджело умер, но потом начинаешь сожалеть, что сам не имел удовольствия это видеть.

Четвертое июля. Статистика показывает, что в этот день Америка теряет больше дураков, чем в остальные 364 дня вместе взятые. Однако количество дураков, остающихся в запасе, убеждает нас, что одного Четвертого июля в году теперь уже недостаточно: страна-то ведь выросла!

Благодарность и предательство — это по сути дела начало и конец одной процессии. Когда прошел оркестр и пышно разодетые важные лица, дальше уже не стоит смотреть.

День Благодарения. Сегодня все возносят чистосердечные и смиренные хвалы Богу, — все, кроме индюков. На островах Фиджи не едят индюков, там едят водопроводчиков. Но кто мы с вами такие, чтобы поносить обычаи Фиджи?

Пожалуй, нет ничего более раздражающего, чем чей-то хороший пример.

Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на скачках.

Даже самые ясные и несомненные косвенные улики могут в конце концов оказаться ошибочными, поэтому пользоваться ими следует с величайшей осторожностью. В качестве примера возьмите любой карандаш, очиненный любой женщиной: если вы спросите свидетелей, они скажут, что она это сделала ножом, но если вы вздумаете судить по карандашу, то скажете, что она обгрызла его зубами.

На поверхности земли он совершенно бесполезен; ему надо находиться под землей и вдохновлять капусту.

1 апреля. В этот день нам напоминают, что мы собой представляем в течение остальных трехсот шестидесяти четырех дней.

Часто бывает, что человек, который ни разу в жизни не соврал, берется судить о том, что правда, а что ложь.

12 октября — день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.

Бывает, что у человека нет дурных привычек, но зато есть нечто худшее.

Когда не знаешь, что сказать, говори правду.

Правильно вести себя легче, чем придумать правила поведения.

Легче снести десяток порицаний, чем выслушать одну сомнительную похвалу.

Шум ничего не доказывает. Иная курица, снесши яйцо, кудахчет так, будто снесла маленькую планету.

Он был скромен, как газета, когда она восхваляет свои заслуги.

Правда — самое ценное из всего, что мы имеем. Так будем же расходовать ее бережно.

Можно, наверное, доказать цифрами и фактами, что нет более типично американской категории преступников, чем члены конгресса.

Климат зависит от людей, которые нас окружают.

Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет.

Из жизненного опыта следует извлекать только полезное и ничего больше, — иначе мы уподобимся кошке, присевшей на горячую печку. Она никогда больше не сядет на горячую печку — и хорошо сделает, но она никогда больше не сядет и на холодную.

Некоторые бранят школьника, называя его пустым болтуном. А ведь именно школьник сказал: «Веровать — это верить в то, чего не существует».

Человек робкий попросит десятую часть того, что он хочет получить. Человек смелый запросит вдвое больше и согласится на половину.

Если хочешь заслужить одобрение людей — поступай справедливо и старайся изо всех сил; но собственное одобрение стоит сотни чужих, а как его заслужить — никто не знает.

Правда необычнее вымысла — для некоторых. Но мне она ближе.

Правда необычнее вымысла, но это только потому, что вымысел обязан держаться в границах вероятности; правда же — не обязана.

Есть чувство нравственности, а также чувство безнравственности. История учит, что первое помогает нам понять сущность нравственности и как от нее уклоняться, тогда как второе помогает понять сущность безнравственности и как наслаждаться ею.

Англичане упоминаются даже в библии: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Легче не ввязываться, чем развязаться.

Жалейте живых, завидуйте мертвым.

Милостью Божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться.

Человек готов на многое, чтобы пробудить любовь, но решится на все, чтобы вызвать зависть.

Нет ничего ненадежнее левой руки человека, — разве что дамские часики.

Будь неопрятен в одежде, если тебе так уж хочется, но душу содержи в чистоте.

Образцовый английский язык теперь не называют «королевским». Собственность перешла в руки акционерного общества, и большая часть акций находится у американцев!

«Классической» называется книга, которую все хвалят и никто не читает.

Есть люди, которые способны на любой благородный и героический поступок, но не могут устоять перед соблазном рассказать несчастному о своем счастье.

Человек — единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.

Наше самое ценное достояние — братство всех людей; вернее — то, что от него осталось.

Хорошо, что на свете есть дураки. Это благодаря им мы преуспеваем.

Если нас не уважают, мы жестоко оскорблены; а ведь в глубине души никто по-настоящему себя не уважает.

Природа создала саранчу, и она пожирает посевы; если бы саранчу создал человек, то она пожирала бы песок.

Греховны не слова, а дух гнева; и этот дух — брань. Мы начинаем браниться прежде, чем научились говорить.

Человек, одержимый новой идеей, успокоится, только осуществив ее.

Будем же благодарны Адаму, благодетелю нашему. Он отнял у нас «благословение» праздности и снискал для нас «проклятие» труда.

Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких.

Русский самодержец обладает самой большой властью на земле, но и он не может запретить чихать.

Есть несколько недурных рецептов устоять перед соблазнами, но самый верный — трусость.

Имена не обязательно такие, какими кажутся на первый взгляд. Распространенное валлийское имя Бзиксвлип произносится: Джексон.

Чтобы достигнуть успеха на каком-либо поприще, надо проявить способности; в юриспруденции достаточно их как следует скрыть.

Богатому можно иметь любые принципы.

При желании вполне можно научиться переносить невзгоды. Конечно, не свои, а чужие.

Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого.

Есть один старинный тост, несравненный по красоте: «Когда ты идешь вверх, по пути к богатству — да не встретится тебе по дороге друг».

Самое дорогое в жизни человека — его последний вздох.

Голод — служанка гения.

«Не затрагивай собаку, пока она спит», — гласит старинная поговорка. Правильно. Если многое поставлено на карту — не затрагивай газеты.

Чтобы поразить вас в самое сердце, нужны совместные усилия вашего врага и вашего друга: один чернит вас, а другой передает вам его слова.

Если бы желание убить и возможность убить постоянно сопутствовали друг другу — кто из нас избежал бы виселицы?

Простой способ экономить деньги: когда вас обуревают желание немедленно пожертвовать деньги на какое-нибудь благотворительное дело, не спешите: сосчитайте до сорока — вы сохраните половину денег; сосчитайте до шестидесяти — вы сохраните три четверти; сосчитайте до шестидесяти пяти — и вы сохраните все.

Когда придет горе, оно само о себе позаботится, но чтобы прочувствовать всю глубину радости, необходимо с кем-то поделиться ею.

Он много раз имел дело с врачами, и он говорит: «Единственный способ сохранить свое здоровье — это есть то, что не хочешь, пить то, что не нравится, и делать то, что противно».

Человек, кричащий о своей скромности, подобен статуе, прикрытой лишь фиговым листком.

Мне бы только наделить народ суевериями, и тогда пусть кто угодно наделяет его законами и песнями.

Морщины должны быть только следами прошлых улыбок.

Истинная неучтивость — это неуважение к чужому Богу.

Головную боль не следует недооценивать. Когда она разыграется, ощущение такое, что на ней ничего не заработаешь; но зато когда она начнет проходить, неизрасходованный остаток вполне стоит 4 доллара за минуту.

Есть восемьсот шестьдесят девять разных видов лжи, но только один из них решительно запрещен: «Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна».

Два раза в жизни человек не должен задумываться: когда у него есть на это время и когда у него нет на это времени.

Она была не то чтобы очень благородная, но и совсем неблагородной ее тоже не назовешь; в общем она была из тех, что держат попугаев.

Займитесь целью ежедневно делать то, что не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения.

Не расставайтесь с иллюзиями. Без них жизнь ваша превратится в тоскливое существование.

Часто самый верный способ ввести человека в заблуждение — сказать ему чистую правду.

Сатана, обращаясь к пришельцу, раздраженно: «Вы, чикагцы, воображаете что вы тут лучше всех; а на самом деле вас тут просто больше всех».

Сначала Господь Бог сотворил идиотов. А затем, имея богатый опыт, он произвел на свет школьных наставников.

Нет людей более грубых, чем чересчур утонченные натуры.

Когда у вас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое — быстрее.

В управлении государством главное — соблюдать все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания.

Человек подобен луне — у него тоже есть темная сторона, которую он никогда никому не показывает.

Сначала поймай бура, а потом уж пинай его.

Ни у кого из нас нет тех бесчисленных достоинств, какими обладает автоматическая ручка; нет и половины ее коварства. Но мы можем мечтать об этом.

Даже чернила, которыми пишется всемирная история, не что иное, как разжиженный предрассудок.

Нет такой параллели, которая бы не считала, что, не будь она ущемлена в своих правах, она бы обязательно стала экватором.

Я путешествовал очень много и пришел к выводу, что даже ангелы говорят по-английски с иностранным акцентом.

КАК ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ

Писать для развлечения публики, быть может, и похвально, но есть дело, несравненно более достойное и благородное: писать для поучения и назидания, для подлинной и реально ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, если она вновь зажжет в его потухшем взоре огонь радости и надежды, если она оживит его застывшее сердце и оно забьется с прежней силой и бодростью — я буду щедро вознагражден за свои усилия, душа моя преисполнится священного восторга, какой испытывает всякий христианин, совершивший благой, бескорыстный поступок.

Ведя жизнь чистую и безупречную, я имею основание полагать, что ни один знающий меня человек не пренебрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь ввести его в заблуждение. Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру.

Когда в Вирджиния-Сити сгорела гостиница «Белый Дом», я лишился крова, радости, здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна.

Не так уж трудно найти дом, где нет матери, или сестры, или молоденькой дальней родственницы, которая убирает за вами грязное белье и снимает с каминной полки ваши сапоги, тем самым напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся. А к утрате радости я отнесся вполне спокойно, ибо я не поэт и твердо знаю, что печаль надолго со мной не останется. Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные меры. Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения пожара отличался такой сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели. Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял и этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения — «питать простуду и морить лихорадку». Я страдал и тем и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться, а затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами, и потому поел я довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание, а затем осведомился, очень ли жители Вирджиния-Сити подвержены простуде. Я ответил, что, пожалуй, да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску. Я направился в редакцию, но по дороге встретил еще одного закадычного приятеля, который сказал, что уж если что-нибудь может вылечить простуду, так это кварта воды с солью, принятая в теплом виде. Я усомнился, найдется ли для нее еще место, но все-таки решил попробовать.

Результат был ошеломляющим. Мне показалось, что я изверг из себя даже свою бессмертную душу. Так вот, поскольку я делюсь опытом исключительно ради тех, кто страдает описываемым здесь видом расстройства здоровья, они, я убежден, поймут уместность моего стремления предостеречь их от средства, оказавшегося для меня неэффективным. Действуя согласно этому убеждению, я говорю: не принимайте теплой воды с солью. Быть может, мера эта и неплохая, но, на мой взгляд, она слишком крута. Если мне когда-нибудь случится опять схватить простуду и в моем распоряжении будут всего два лекарства — землетрясение и теплая вода с солью, — я, пожалуй, рискну и выберу землетрясение.

Когда буря в моем желудке утихла и поблизости не оказалось больше ни одного доброго самаринина, я принялся за то, что уже проделывал в начальной стадии простуды: стал снова занимать носовые платки, трубя в них носом так, что они разлетались в клочья. Но тут я случайно повстречал одну даму, только что вернувшуюся из горной местности, и эта дама рассказала, что в тех краях, где она жила, врачей было мало, и в силу необходимости ей пришлось научиться самой исцелять простейшие «домашние недуги». У нее и в самом деле, наверно, был немалый опыт, ибо на вид ей казалось лет полтора.

Она приготовила декокт из черной патоки, крепкой водки, скипидара и множества других снадобий и наказала мне принимать его по полной рюмке через каждые четверть часа. Я принял только первую дозу, но этого оказалось достаточно. Эта одна-единственная рюмка сорвала с меня, как шелуху, все мои высокие нравственные качества и пробудила самые низкие инстинкты моей натуры. Под пагубным действием зелья в мозгу моем зародились невообразимо гнусные планы, но я был не в состоянии их осуществить: руки мои плохо меня слушались. Последовательные атаки всех верных средств, принятых от простуды, подорвали мои силы, не то я непременно стал бы грабить могилы на соседнем кладбище. Как и большинство людей, я часто испытываю низменные побуждения и соответственно поступаю. По прежде, до того как я принял это последнее лекарство, я никогда не обнаруживал в себе столь чудовищной порочности и гордился этим. К исходу второго дня я готов был снова взяться за лечение. Я принял еще несколько верных средств от простуды и в конце концов загнал ее из носоглотки в легкие.

У меня разыгрался непрекращающийся кашель и голос упал ниже нуля. Я разговаривал громовым басом, на две октавы ниже своего обычного тона. Я засыпал ночью только после того, как доводил себя кашлем до полного изнеможения, но едва я начинал разговаривать во сне, мой хриплый бас вновь будил меня.

Дела мои с каждым днем становились все хуже и хуже. Посоветовали выпить обыкновенного джина — я выпил. Кто-то сказал, что лучше джин с патокой. Я выпил и это. Еще кто-то порекомендовал джин с луком. Я добавил к джину лук и принял все разом — джин, патоку и лук. Особого улучшения я не заметил, разве только дыхание у меня стало как у стервятника.

Я решил, что для поправки здоровья мне необходим курорт. Вместе с коллегой — репортером Уилсоном — я отправился на озеро Биглер. Я с удовлетворением вспоминаю, что путешествие наше было обставлено с достаточным блеском. Мы отправились лошадьми, и мой приятель имел при себе весь свой багаж, состоявший из двух превосходных шелковых носовых платков и дагерротипа бабушки. Мы катались на лодках, охотились, удили рыбу и танцевали целыми днями, а по ночам я лечил кашель. Действуя таким образом, я рассчитывал, что буду поправляться с каждым часом. Но болезнь моя все ухудшалась.

Мне порекомендовали окутывание мокрой простыней. До сих пор я не отказывался ни от одного лечебного средства, и мне показалось нерезонным ни с того ни с сего заупрямиться. Поэтому я согласился принять курс лечения мокрой простыней, хотя, признаться, понятия не имел, в чем его суть. В полночь надо мной проделали соответствующие манипуляции, а погода стояла морозная. Мне обнажили грудь и спину, взяли простыню (по-моему, в ней было не меньше тысячи ярдов), смочили в ледяной воде и затем стали оборачивать ее вокруг меня, пока я не стал похож на банник, какими чистили дула допотопных пушек.

Это суровая мера. Когда мокрая, холодная, как лед, ткань касается теплой кожи, отчаянные судороги сводят ваше тело — и вы ловите ртом воздух, как бывает с людьми в предсмертной агонии. Жгучий холод пронизал меня до мозга костей, биение сердца прекратилось. Я уж решил, что пришел мой конец.

Юный Уилсон вспомнил к случаю анекдот о негре, который во время обряда крещения каким-то образом выскользнул из рук пастора и чуть было не утонул. Впрочем, побарахтавшись, он в конце концов вынырнул, еле дыша и вне себя от ярости, и сразу же двинулся к берегу, выбрасывая из себя воду фонтаном, словно кит, и бранясь на чем свет стоит, что вот-де в другой раз из-за всех этих чертовых глупостей какой-нибудь цветной джентльмен, глядишь, и впрямь утонет!

Никогда не лечитесь мокрой простыней, никогда! Хуже этого бывает, пожалуй, лишь когда вы встречаете знакомую даму, и по причинам, ей одной известным, она смотрит на вас, но не замечает, а когда замечает, то не узнает.

Но, как я уже начал рассказывать, лечение мокрой простыней не избавило меня от кашля, и тут одна моя приятельница посоветовала поставить на грудь горчичник. Я думаю, это действительно излечило бы меня, если бы не юный Уилсон. Ложась спать, я взял горчичник — великолепный горчичник, в ширину и в длину по восемнадцати дюймов, — и положил его так, чтобы он оказался под рукой, когда понадобится. Юный Уилсон ночью проголодался и... вот вам пища для воображения.

После недельного пребывания на озере Биглер я отправился к горячим ключам Стимбоут и там, помимо паровых ванн, принял кучу самых гнусных из всех когда-либо состряпанных человеком лекарств. Они бы меня вылечили, да мне необходимо было вернуться в Вирджиния-Сити, где, несмотря на богатый ассортимент ежедневно поглощаемых мною новых снадобий, я ухитрился из-за небрежности и неосторожности еще больше обострить свою болезнь.

В конце концов я решил съездить в Сан-Франциско, и в первый же день по моем приезде какая-то дама в гостинице сказала, что мне следует раз в сутки выпивать кварту виски. Приятель мой, проживавший в Сан-Франциско, посоветовал в точности то же самое. Каждый из них рекомендовал по одной кварте — вместе это составило полгаллона. Я выпивал полгаллона в сутки и пока, как видите, жив.

Итак, движимый исключительно чувством доброжелательства, я предлагаю вниманию измученного болезнью страдальца весь тот пестрый набор средств, которые я только что испробовал сам. Пусть он проверит их на себе. Если эти средства и не вылечат — ну что ж, в самом худшем случае они лишь отправят его на тот свет.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ В ГУБЕРНАТОРЫ

Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Бланка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, по некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов! Это стало беспокоить меня все больше и больше. В конце концов я решил посоветоваться со своей бабушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо ее гласило:

«За всю свою жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного! Между тем взгляни только в газеты, и ты поймешь, что за люди мистер Смит и

мистер Блэнк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?»

Именно это и не давало мне покоя! Всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определенные обязательства и должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на следующую заметку и, сказав по правде, был совершенно ошеломлен:

«Лжесвидетельство. Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Твен соизволит разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги тридцатью четырьмя свидетелями в городе Вакаваке (Кохинхина) в 1863 году? Лжесвидетельство было совершено с намерением оттяпать у бедной вдовы-туземки и ее беззащитных детей жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревцами — единственное, что спасало их от голода и нищеты. В своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяснить эту историю. Решится ли он?»

У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Я никогда не бывал в Кохинхине! Я не имею понятия о Вакаваке! Я не мог бы отличить бананового дерева от кенгуру! Я просто не знал, что делать. Я был взбешен, но совершенно беспомощен.

Прошел целый день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете появились такие строки: *«Знаменательно! Следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по поводу своего лжесвидетельства в Кохинхине!»*

(В дальнейшем, в течение всей избирательной кампании эта газета называла меня не иначе, как «Гнусный Клятвопреступник Твен».)

Затем в другой газете появилась такая заметка:

«Желательно узнать, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить тем из своих сограждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство: правда ли, что у его товарищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его «чемодане» (старой газете, в которую он заворачивал свои пожитки). Правда ли, что товарищи вынуждены были наконец, для собственной же пользы мистера Твена, сделать ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалить в перьях и пронести по улицам верхом на шесте, а затем посоветовать поскорей очистить занимаемое им в лагере помещение и навсегда забыть туда дорогу? Что ответит на это мистер Марк Твен?»

Можно ли было выдумать что-либо гнуснее! Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане! (С тех пор эта газета называла меня «Твен, Монтанский Вор».)

Теперь я стал развешивать утреннюю газету с боязливой осторожностью, — так, наверное, приподнимает одеяло человек, подозревающий, что где-то в постели притаилась гремучая змея.

Однажды мне бросилось в глаза следующее:

«Клеветник уличен! Майкл О'Фланаган-эсквайр из Файв-Пойнтса, мистер Снаб Рафферти и мистер Кэтти Маллиган с Уотер-стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Блэнка был повешен за грабеж на большой дороге, является подлой и нелепой, ни на чем не основанной клеветой. Каждому порядочному человеку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пускаются на любые гнусные уловки, оскверняют гробницы и чернят честные имена усопших. При мысли о том горе, которое эта мерзкая ложь причинила ни в чем не повинным родным и друзьям покойного, мы

почти готовы посоветовать оскорбленной и разгневанной публике тотчас же учинить грозную расправу над клеветником. Впрочем, нет! Пусть терзается угрызениями совести! (Хотя, если наши сограждане, ослепленные яростью, в пылу гнева нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обвинить и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела.)»

Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление: той же ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и убежать из дому черным ходом, а «оскорбленная и разгневанная публика» ворвалась через парадную дверь и в порыве справедливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель, а кстати захватила с собой кое-что из моих вещей. И все же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал на дедушку мистера Блэнка. Мало того — я не подозревал о его существовании и никогда не слышал его имени.

(Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня «Твен, Осквернителем Гробниц».)

Вскоре мое внимание привлекла следующая статья:

«Достойный кандидат! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громовую речь на митинге независимых, не явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось, что его сшиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые изо всех сил старались принять на веру эту жалкую оговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они избрали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз в гостиницу, где приживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализавшаяся скотина не была Марком Твен. Попался наконец-то! Увертки не помогут! Весь народ громогласно вопрошает: «Кто был этот человек?»»

Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы мое имя было связано с таким чудовищным подозрением! Уже целых три года я не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков.

(Очевидно, время брало свое, и я стал закаляться, потому что без особого огорчения прочел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище: «Твен, Белая Горячка», хотя знал, что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании.)

К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания:

«Что скажете насчет убогой старушки, какая к вам стучалась за подаянием, а вы ее ногой пнули?»

Пол Прай».

Или:

«Некоторые ваши темные делишки известны пока что одному мне. Придется вам раскошелиться на несколько долларов, иначе газеты узнают кое-что о вас от вашего покорного слуги.

Хэнди Энди».

Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читателю довольно и этих.

Вскоре главная газета республиканской партии «уличила» меня в подкупе избирателей, а центральный орган демократов «вывел меня на чистую воду» за преступное вымогательство денег.

(Таким образом, я получил еще два прозвища: «Твен, Грязный Плут» и «Твен, Подлый Шантажист».)

Между тем все газеты со страшными воплями стали Требовать «ответа» на предъявленные мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следующее утро в одной из газет появилась такая статья:

«Полюбуйтесь-ка на этого субъекта! Кандидат независимых продолжает упорно отмалчиваться. Конечно, он не смеет и пикнуть. Предъявленные ему обвинения оказались вполне достоверными, что еще больше подтверждается его красноречивым молчанием. Отныне он заклеен на всю жизнь! Поглядите на своего кандидата, независимые! На этого Гнусного Клятвопреступника, на Монтанского Вора, на Осквернителя Гробниц! Посмотрите на вашу воплощенную Белую Горячку, на вашего Грязного Плута и Подлого Шантажиста! Взгляните в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому негодю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек и не смеет даже раскрыть рот, чтобы опровергнуть хоть одну из них».

Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и, чувствуя себя глубоко униженным, я засел за «ответ» на весь этот ворох незаслуженных грязных поклепов. Но мне так и не удалось закончить мою работу, так как на следующее утро в одной из газет появилась новая ужасная и злобная клевета: меня обвиняли в том, что я поджег сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот-вот сойду с ума. Но этого мало: меня обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по протекции своих выживших из ума беззубых родственников на должность разжевывателей пищи для питомцев. У меня голова пошла кругом. Наконец бесстыдная травля, которой подвергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему-то наущению во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: «Папа!»

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался:

«С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».

МОИ ПЕРВЫЕ ПОДВИГИ НА ГАЗЕТНОМ ПОПРИЩЕ

В тринадцать лет я был удивительно смысленный ребенок, просто на редкость смысленный, как я тогда полагал. Именно к этому времени относятся мои первые газетные писания, которые, к моему великому удивлению, имели сенсационный успех в нашем городке. Нет, право, все обстояло именно так, и я был страшно горд этим. В то время я был учеником в типографии, и я сказал бы, многообещающим и целеустремленным учеником. В один счастливый летний день мой дядя, который пристроил меня в своей газете (еженедельник «Ганнибал джорнел»; подписная плата два доллара в год, и пятьсот подписчиков, вносящих подписную плату дровами, капустой и не находящим сбыта турнепсом), вздумал на неделю уехать из городка. Перед отъездом он поинтересовался: сумею ли я самостоятельно выпустить один номер газеты. Еще бы! Разве не хотелось мне проверить свои силы?!

Редактором конкурирующей газеты был некто Хиггинс. Незадолго до этого ему так подставили ножку в сердечных делах, что однажды вечером один из его друзей нашел на кровати бедняги записку, в которой Хиггинс сообщал, что жизнь стала для него невыносима и что он утопился в Медвежьем ручье. Бросившись к ручью, друг обнаружил Хиггинса, пробиравшегося обратно к берегу: он все же решил не топиться.

Несколько дней подряд весь городок переживал это событие, но Хиггинс ничего не подозревал. Я решил, что это как раз то, что мне надо. Расписав всю эту историю в самых скандальных тонах, я проиллюстрировал ее мерзкими гравюрами, вырезанными большим складным ножом на оборотной стороне деревянных литер. На одной из них Хиггинс, в ночной рубашке и с фонарем в руке, вступал в ручей и измерял его глубину тростью. Я был глубоко убежден, что все это невероятно смешно, и не усматривал в своей писанине ничего неэтичного. Довольный содеянным, я стал выискивать другие объекты для своего остроумия; как вдруг меня осенило: я решил, что будет совсем неплохо обвинить редактора соседней провинциальной газеты в преднамеренном мошенничестве, — вот уж он у меня попляшет, как червяк на крючке!

Я осуществил свою идею, напечатав в газете пародию на стихотворение «Похороны сэра Джона Мура», и должен сказать, что эта пародия не отличалась особой тонкостью.

Затем я сочинил оскорбительный памфлет на двух видных горожан — не потому, конечно, что они чем-либо заслужили это, — нет, просто я считал своим долгом оживить газету.

После этого я слегка затронул местную знаменитость, недавно появившуюся в наших краях, — поденного портного из Куинси, слащавого фата чистой воды, носившего самые пестрые, самые кричащие наряды в Штатах. К тому же он был заядлый сердцеед. Каждую неделю он присылал в «Ганнибал джорнел» цветистые «стихи», посвященные своей последней победе. Стихи, присланные им в дни моего правления, были озаглавлены «К Мэри из Пр...», что, конечно, должно было означать «К Мэри из Принстона». Когда я уже набирал его творение, меня вдруг словно молнией пронизало с головы до пят острое чувство юмора, и я излил его в выразительном подстрочном примечании следующим образом: «На сей раз мы публикуем эти вирши, но нам хотелось бы, чтобы мистер Дж. Гордон Раннелс ясно понял, что мы должны заботиться о своей репутации и что если он и впредь захочет излить свои чувства к кому-нибудь из своих друзей в Пр...ней, то ему придется сделать это не с помощью нашей газеты, а каким-либо другим путем!»

Газета вышла, и я должен сказать, что ни один газетный опус никогда не привлекал большего внимания, чем мои игривые упражнения.

На этот раз «Ганнибал джорнел» шел нарасхват, чего раньше никогда не случалось. Весь городок пришел в волнение. Ранним утром в редакции появился Хиггинс с охотничьей двустволкой в руках. Обнаружив, однако, что тот, кто нанес ему такое неслыханное оскорбление, всего лишь младенец (как он меня окрестил), он ограничился тем, что отодрал меня за уши и удалился. Но, видно, он решил махнуть рукой на свою газету, потому что той же ночью навсегда покинул городок. Портной явился с утюгом и парой ножниц, но тоже отнесся ко мне с полным презрением и в ту же ночь отбыл на юг. Двое горожан — жертвы памфлета — прибыли с угрозами возбудить дело о клевете, но в негодовании покинули редакцию, увидев, что я собой представляю. На следующий день с воинственным индейским кличем ворвался редактор соседней провинциальной газеты. Он жаждал крови. Однако он кончил тем, что сердечно простил меня, предложив дружески обмыть наше примирение в соседней аптеке полным стаканом «Глистогонки Фанштока». Это была невинная шутка.

Вернувшись в городок, мой дядя пришел в ужасное негодование. Но я считал, что у него для этого нет никаких оснований, — глядя, как бойко с моей легкой руки пошла газета, он должен был только радоваться да еще благодарить судьбу за свое чудесное спасение: только потому, что его не было в городке, ему не пропорол живот, не запустили в него томагавком, не привлекли к суду за клевету и не продырявили пулей голову. Впрочем, он подобрел, когда увидел, что за время его отсутствия у газеты появилось тридцать три новых подписчика; и хотя число

это звучало неправдоподобно, я в качестве доказательства представил такое количество дров, капусты, бобов и негодного для продажи турнепса, что их должно было хватить на всю семью на два года!

О ПАРИКМАХЕРАХ

Все на свете меняется, все — кроме парикмахеров, их манер и парикмахерского окружения. Тут ничто не меняется. Входя в парикмахерскую, человек до конца дней своих испытывает то же самое, что он испытал, войдя в нее впервые и жизни. В то утро я, как обычно, решил побриться. Я уже подходил к двери парикмахерской с Мейн-стрит, когда какой-то человек приблизился к ней со стороны Джонс-стрит. Обычная история! Как я ни спешил, он проскочил в дверь на какой-то миг раньше меня, и я, войдя сразу вслед за ним, увидел, что он уже занимает единственное свободное кресло, которое обслуживал лучший мастер. Да, обычная история. Я присел, в надежде, что мне удастся унаследовать кресло, принадлежавшее лучшему из двух оставшихся парикмахеров, — ведь он уже начал причесывать своего клиента, в то время как его коллега даже не приступил еще к массажу и умягчению волос. С неослабным интересом наблюдал я за тем, как попеременно то увеличивались, то уменьшались мои шансы. Когда я увидел, что № 2 нагоняет № 1, мой интерес перешел в беспокойство. Когда № 1 на секунду остановился и я увидел, что № 2 обходит его, мое беспокойство переросло в тревогу. Когда № 1 удалось нагнать соперника, и оба они одновременно начали смахивать полотенцами пудру со щек своих клиентов, и кто-то из них вот-вот должен был первым крикнуть: «Следующий!», я замер. Но когда в самую решающую минуту № 1 задержался, чтобы разок-другой провести расческой по бровям своего клиента, я понял, что его обошли, и в негодовании покинул парикмахерскую, не желая попасть в руки № 2, ибо у меня нет той завидной твердости, которая позволяет человеку, спокойно глядя в глаза парикмахеру, заявить, что он будет ждать, пока освободится другой мастер.

Выждав пятнадцать минут, я вернулся в парикмахерскую, надеясь на лучшую судьбу. Все кресла были, конечно, уже заняты, да еще четверо мужчин томились в нетерпении, молчаливые, необщительные, обалдевшие и помиравшие со скуки, — словом, это было обычное состояние людей, ожидающих своей очереди в парикмахерской. Я уселся на старый диван, разделенный железными подлокотниками на несколько мест, и, не зная, чем убить время, принялся перечитывать висевшие в рамках рекламы многочисленных шарлатанских средств для окраски волос. Затем я прочел засаленные наклейки на бутылочках с лавровой эссенцией, каждая из которых принадлежала какому-нибудь клиенту; проглядел наклейки и затвердил номера на персональных бритвенных приборах, стоявших в отдельных ящичках; изучил висевшие на стенах, засиженные мухами дешевые выцветшие гравюры, на которых были изображены военные баталии, первые президенты, возлежащие на подушках сластолюбивые султанши и неизменная юная девица, примеряющая очки своего деда; в глубине души я проклял неугомонную канарейку и бодрого попугая, без которых не обходится почти ни одна парикмахерская. После этого я обнаружил жалкие остатки прошлогодних иллюстрированных журналов, разбросанных на замусоленном столе посреди комнаты, и зазубрил нелепые сообщения о давно забытых событиях.

Но наконец подошла и моя очередь. Раздался голос: «Следующий!» — и я, разумеется, попал в руки № 2. Вечное невезение! Я кротко сообщил ему, что спешу, и это подействовало на него так сильно, будто он никогда не слыхивал ничего подобного. Резко запрокинув мне голову, он подложил под нее салфетку. Он пробрался под мой воротничок и засунул туда полотенце. Исследовав своими когтями мои волосы, он объявил, что их необходимо подравнять. Я ответил, что не собираюсь стричься. Он исследовал их снова и повторил, что они слишком длинны, — теперь так не носят, и будет гораздо лучше, если мы немного срежем, особенно на затылке. Я

доложил ему, что стригся всего неделю назад. Окинув мою голову тоскующим взглядом, он пренебрежительно спросил, кто меня стриг. Но я проворно отпарировал: «Вы сами!», и тут он спасовал. После этого он принялся взбивать мыльную пену, поминутно останавливаясь, чтобы окинуть себя взором в зеркале, критически оглядеть в нем свой подбородок или внимательно рассмотреть какой-нибудь прыщик. Потом он тщательно намылил одну мою щеку и уже хотел намыливать другую, но тут его внимание отвлекла собачья драка, — он помчался к окну и, став около него, принялся глядеть, что происходит на улице; при этом он, к моему великому удовольствию, лишился двух шиллингов, проиграв их остальным парикмахерам, так как поставил не на того пса. Наконец он кончил меня намыливать и начал рукой втирать пену.

Он уже принялся было точить на старой подвязке бритву, но тут завязался спор о каком-то галантерейном бале-маскараде, где он прошлой ночью, разодетый в красный батист и поддельный горноста́й, изображал короля. Его поддразнивали, напоминая о некоей девице, которая не устояла перед его чарами, и он, польщенный, любыми средствами старался продолжить разговор, но при этом делал вид, будто шуточки товарищей ему неприятны. Все это привело к тому, что он еще чаще стал вертеться перед зеркалом, отложил бритву, с особой тщательностью расчесал свои волосы, выложив их перевернутой аркой на лбу, довел до совершенства пробор на затылке и соорудил себе над ушами два милых крылышка. Тем временем мыльная пена у меня на лице высохла и въелась до самых печенок.

Наконец он взялся за бритву, вонзившись пальцами в мое лицо, чтобы натянуть кожу, толкая и швыряя мою голову в разные стороны и заботясь лишь о том, чтобы ему удобнее было брить. Пока он выбривал наименее чувствительные места, все шло хорошо, но когда он принялся скрести, драить и дергать подбородок, у меня хлынули слезы. Из моего носа он сделал рукоять, чтобы удобнее было выбрить все уголки на верхней губе, и тут благодаря косвенным уликам я обнаружил, что в числе его обязанностей в парикмахерской входила чистка керосиновых ламп. Мне всегда было интересно знать, кто этим занимается — хозяин или мастера.

Я принялся гадать, где он меня на этот раз порежет, но не успел еще что-нибудь придумать, как он уже резанул мой подбородок. Он немедленно подточил бритву, хотя ему следовало сделать это значительно раньше. Я не люблю гладко выбриваться и вовсе не хотел, чтобы он прошелся по моему лицу еще раз. Всеми силами старался я убедить его отложить бритву, страшась, что он снова примется за подбородок — самое чувствительное место на моем лице, — здесь бритва не может прикоснуться дважды, чтобы не вызвать раздражения; но он уверил меня, что хочет лишь пригладить небольшую шероховатость, и в тот же миг промчался бритвой по запретному месту, где, как я и опасался, мгновенно, словно откликнувшись на зов и причиняя жгучую боль, выскочили прыщики. Смочив полотенце лавровой эссенцией, он начал противно шлепать им по моему лицу, словно я всю жизнь умывался только подобным образом. Затем он несколько раз шлепнул по моему лицу сухим концом полотенца и снова проделал это с таким видом, будто я всегда вытирался так, а не иначе, — но ведь парикмахер редко обращается с вами по-христиански. Затем он с помощью все того же полотенца смочил порезанное место лавровой эссенцией, присыпал ранку крахмалом, снова смочил лавровой эссенцией и, без сомнения, продолжал бы смачивать и присыпать его вечно, если бы я не восстал и не взмолился, чтобы он это прекратил. После этого он осыпал мне все лицо пудрой, смахнул ее и, с глубокомысленным видом вспахав руками мои волосы, предложил их вымыть, подчеркнув, что это необходимо, совершенно необходимо проделать. Однако он снова спасовал, когда я сообщил ему, что не далее как вчера собственноручно и весьма тщательно вымыл голову. Тогда он порекомендовал мне «Смитовский освежитель для волос» и выразил готовность продать бутылочку. Я отказался. Он начал превозносить новый одеколон «Радость Джонса», уверяя, что я должен его купить. Я отказался снова. Затем он предложил мне приобрести для чистки зубов какую-то дрянью его собственного изготовления, а когда я отказался, сделал попытку всучить мне бритву.

Потерпев неудачу и на сей раз, он снова принялся за дело — обрызгал меня с ног до головы одеколоном, на помадил мне, несмотря на все мои протесты, волосы, выскреб и выдрал

большую их часть, расчесал оставшиеся, сделал пробор, соорудил у меня на лбу неизменную перевернутую арку. Когда, причесывая и помадя мои жидкие брови, он пустился перечислять достоинства своего черного с рыжими подпалинами терьера весом в шесть унций, пробило двенадцать часов, и я понял, что на поезд мне уже никак не попасть. Тут он снова схватил полотенце, слегка обмахнул им мое лицо, еще раз провел расческой по моим бровям и весело прокричал: «Следующий!»

Двумя часами позже этот парикмахер упал и умер от апоплексического удара. Еще день — и я с радостью отправлюсь на его похороны.

КАК Я ВЫСТУПАЛ В РОЛИ АГЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТУРИСТОВ

Приближалось время, когда нам нужно было отправляться из Экс-ле-Бена в Женеву, а оттуда, посредством ряда продолжительных и весьма запутанных переездов, добираться до Байрейта в Баварии. Разумеется, для обслуживания столь многочисленной компании туристов, как наша, мне следовало нанять специального агента.

Но я все откладывал. А время шло, и, проснувшись в одно прекрасное утро, я был поставлен перед фактом: пора ехать, а агента нет. И тут я решился на отчаянный поступок, — я понимал, что иду на риск, но у меня было как раз подходящее настроение. Я объявил, что на новом этапе устрою все сам, без посторонней помощи; и как сказал, так и сделал.

Я самолично доставил всю компанию — четырех человек — из Экса в Женеву. Езды туда целых два часа, а то и больше, да еще пересадка. Поездка прошла без единого происшествия — ну, не считая забытого саквояжа и еще кое-каких мелочей, оставленных на перроне, но ведь это дело обычное, его происшествием не назовешь. И тогда я вызвался самостоятельно довести всю нашу компанию до Байрейта.

То была большая ошибка с моей стороны, хоть сначала я этого и не понимал. Забот оказалось гораздо больше, чем я ожидал: во-первых, надо было заехать за двумя нашими спутниками, которых мы несколько недель тому назад оставили в одном женевском пансионе, и перевезти их к нам в гостиницу; во-вторых, я должен был заявить на складах хранения багажа на Главной набережной, чтобы оттуда доставили семь наших чемоданов и вместо них взяли на хранение другие наши семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле гостиницы; в-третьих, я должен был выяснить, в какой части Европы находится Байрейт, и купить семь железнодорожных билетов до этого пункта; в-четвертых, я должен был отправить телеграмму одному нашему знакомому в Голландию; в-пятых, было уже два часа дня, и нам следовало торопиться, чтобы успеть к первому ночному поезду, и загодя, пока еще можно, достать билеты в спальный вагон; и в-шестых, я должен был взять в банке деньги.

Я решил, что самое важное — что билеты в спальном вагоне, поэтому для верности пошел на вокзал сам; рассыльные в гостиницах не всегда достаточно расторопны. День был жаркий, мне следовало бы взять извозчика, но я решил, что экономнее будет пойти пешком. На деле получилось наоборот, потому что я заблудился и мне пришлось идти в три раза дальше. Я сунулся в кассу заказывать билеты, но у меня стали спрашивать, каким маршрутом я намерен следовать, — это меня озадачило, я растерялся: кругом толпилось столько народу, к тому же я ничего не смыслил в маршрутах и не подозревал, что в Байрейт можно ехать разными маршрутами; в общем, я решил уйти, проложить маршрут по карте, а уж тогда возвратиться за билетами.

Назад в гостиницу я ехал на извозчике, но, уже подымаясь по лестнице, вдруг вспомнил, что у меня кончились сигары, — вот я и подумал, что надо купить сигар, пока я не забыл. Идти было недалеко, так что извозчик был не нужен. Я сказал кучеру, чтобы он оставался на месте и ждал. По пути я стал составлять в уме телеграмму, которую надо было отправить, и шагал куда

глаза глядят, совершенно забыв и о сигарах и об извозчике. Вообще-то я собирался поручить отправку телеграммы служащим гостиницы, но раз я уже был, надо полагать, неподалеку от почты, я решил, что, пожалуй, отправлю ее сам. До почты оказалось дальше, чем я думал. Но в конце концов я все же ее нашел, написал телеграмму, и подаю. Господин в окошке, строгий, нервный человек, обрушил на меня ливень вопросов по-французски, но слова его слились в один сплошной поток, я ничего не мог разобрать и опять растерялся. Однако на помощь мне пришел один англичанин, который объяснил, что господин в окошке хочет знать, куда посылать телеграмму. Этого я ему сказать не мог, ведь это была не моя телеграмма; я стал толковать, что просто посылаю ее по поручению своего знакомого. Но его ничем нельзя было урезонить: подавай ему адрес, да и только. Тогда я сказал, что если уж ему так приспичило, то, пожалуйста, я схожу в гостиницу и узнаю.

Кстати я подумал, что сначала зайду за двумя нашими недостающими спутниками, потому что самое лучшее — это заниматься всяким делом в свой черед, а не браться бессистемно сразу за все. Потом я вдруг спохватился, что у гостиницы стоит извозчик и поглощает мою наличность, и я подозвал другого извозчика и велел ему съездить за тем извозчиком и сказать ему, чтобы он ехал за мной к почте и там ждал, пока я приду.

Я долго тащился по жаре, а когда пришел в пансион, оказалось, что те двое не могут идти со мной, так как у них очень тяжелые саквояжи и им нужен извозчик. Я пошел за извозчиком, но, прежде чем мне попался хоть один, я заметил, что нахожусь поблизости от набережной, — так по крайней мере мне показалось, — вот я и решил, что сэкономлю немало времени, если сделаю небольшой крюк, зайду на склад для хранения багажа и договорюсь насчет чемоданов. Я сделал небольшой крюк, всего в какую-нибудь милю, и хоть не обнаружил набережной, зато наткнулся на табачную лавку я сразу вспомнил про сигары. Человеку за прилавком я сообщил, что еду в Байреит и должен запастись сигарами на все время путешествия. Он поинтересовался, каким маршрутом я собираюсь следовать. Я сказал, что не знаю. Тогда он сказал, что он бы посоветовал мне отправиться через Цюрих и через разные другие города, названия которых он перечислил, и предложил продать мне семь транзитных билетов второго класса по двадцать два доллара за штуку, хоть лично он и потеряет на этом комиссионные, которые ему полагаются по уговору с железнодорожными властями. Мне уже надоело ездить в вагонах второго класса по билетам первого класса, и я поймал его на слове.

В конце концов я все-таки нашел контору склада и сказал там, чтобы они отправили в гостиницу семь наших чемоданов и сложили их в вестибюле. Было у меня какое-то подозрение, что я чего-то недоговариваю, но больше я ничего не мог вспомнить.

После этого я обнаружил банк и попросил, чтобы мне выдали денег, но оказалось, что я оставил где-то свой аккредитив и поэтому не могу получить даже самой маленькой суммы. Тут я припомнил, что, должно быть, оставил аккредитив на том столе, где писал телеграмму. Беру извозчика и еду на почту. Приехал, а мне говорят, что, действительно, у них на столе был оставлен аккредитив, но что он передан полицейским властям и что мне надлежит пойти туда и доказать свое право на владение этим документом. Они дали мне в провожатые мальчика; мы вышли с черного хода, потом шли мили две и наконец добрались до места; но тут я вспомнил о своих извозчиках и велел мальчику прислать их ко мне, как только он вернется на почту. Был уже вечер, и мэра на месте не оказалось — он ушел обедать. Я подумал, что, пожалуй, тоже пойду пообедаю, но дежурный офицер решил иначе, и мне пришлось остаться. В половине одиннадцатого появился мэр, но он сказал, что время слишком позднее, сейчас сделать ничего нельзя, — я должен прийти завтра в девять тридцать утра. Офицер хотел задержать меня на ночь; он заявил, что у меня подозрительный вид и что, по всей вероятности, я вовсе не являюсь владельцем аккредитива и вообще не имею представлений о том, что такое аккредитив, а просто подглядел, как настоящий владелец аккредитива оставил документ на столе, и теперь хочу его получить, потому что я из тех, кто готов присвоить себе все, что попадется под руку, независимо от того, ценная это вещь или нет. Но мэр сказал, что не замечает во мне ничего подозрительного,

что я, кажется, личность вполне безобидная и со мной все в порядке, — разве, может, в мозгу винтиков не хватает, если только вообще он у меня имеется. Я поблагодарил его, он меня отпустил, и я на трех извозчиках вернулся в гостиницу.

Я смертельно устал и не в состоянии был бы вразумительно отвечать на вопросы, поэтому я решил не беспокоить членов нашей экспедиции в столь поздний час, а устроиться на ночлег в свободном номере, выходящем в дальний конец вестибюля; однако мне не удалось туда добраться, ибо они выставили дозор, — они тревожились обо мне. Я очутился в гнуснейшем положении. Члены экспедиции, в дорожном платье и с ледяными физиономиями, сидели рядком на четырех стульях, держа на коленях пледы, сумки и путеводители. Они просидели так уже четыре часа, и барометр все падал. Да, да, они сидели и ждали — ждали меня. Я понял, что теперь только внезапным, вдохновенным, блестящим экспромтом можно прорвать этот железный фронт и произвести смятение в стане врагов. Я запустил на арену шляпу, а за ней вприпрыжку, весело хохоча, выскочил и сам.

— Ха-ха-ха! Вот и мы, почтеннейшая публика!

В ответ — вместо ожидаемых аплодисментов — гробовое молчание. Но я продолжал в том же духе, ведь иного выхода не было, хотя, признаться, моя самоуверенность, и без того довольно худосочная, после такого убийственного приема и вовсе улетучилась.

На сердце у меня было тяжело, но я шутил, я старался тронуть души этих людей, смягчить выражение горечи и обиды на их лицах, притворяясь веселым и легкомысленным; я хотел подать всю эту мрачную историю как забавный, комический анекдот, — но замысел мой не удался. Настроение у всех было для этого неподходящее. Ни единая улыбка не вознаградила меня, ни единая черта не дрогнула на оскорбленных лицах, и ледяные взгляды даже не начали оттаивать. Я хотел было выкинуть еще одно коленце, но эта жалкая попытка была пресечена главой нашей экспедиции в самой середине:

— Где вы пропадали?

По тону я сразу понял, что от меня требуется теперь перейти прямо к прозе фактов. Ну, я и принялся повествовать о своих скитаниях; однако меня снова прервали:

— Где наши друзья? Мы о них ужасно волнуемся.

— О, с ними все благополучно. Я должен был нанять им извозчика. Сейчас вот сбегая и...

— Сядьте! Вы что, не знаете, что сейчас одиннадцать часов? Где вы их оставили?

— В пансионе.

— Почему вы не привели их сюда?

— Потому что у них очень тяжелые сумки. Вот я и подумал...

— Подумал! Никогда не пытайтесь думать если уж кому богом не дано, то нечего и пытаться. Отсюда до пансиона две мили. Вы что же, туда пешком шли?

— Я... дело в том, что я не собирался, но так уж получилось.

— Как же это так получилось?

— Потому что я был на почте и вдруг вспомнил, что у гостиницы меня дожидается извозчик, и тогда, чтобы не было лишних расходов, я крикнул другого извозчика и... и послал его...

— Куда же вы его послали?

— Ну, сейчас я уже не помню, но думаю, что второй извозчик должен был, наверное, передать, чтобы в гостинице расплатились с первым извозчиком и отпустили его.

— Какой же от этого прок?

— Какой прок? Да ведь я прекратил ненужные траты!

— Это каким же образом? Наняв вместо одного извозчика другого?

Я ничего не ответил.

— Почему вы не велели новому извозчику заехать за вами?

— Вот именно что велел! Теперь-то я вспомнил. Я именно велел ему за мной заехать. Потому что я помню, что когда я...

— Так почему же он за вами не заехал?

— На почту? Он и заехал.

— Хорошо, ну а как тогда получилось, что вы шли пешком в пансион?

— Я... я не совсем ясно помню, как это вышло... Ах да, вспомнил, теперь вспомнил! Я написал текст телеграммы для отправки в Голландию, и...

— Слава богу! Все-таки хоть что-то вы сумели сделать! Не хватало только, чтобы вы и телеграмму не... Что такое? Почему вы не смотрите мне в глаза? Эти телеграмма крайне важная, и... Вы что, не отправили телеграмму?

— Я не говорю, что я ее не отправил...

— Ну, ясно. Можете и не продолжать. О господи, не хватало еще только, чтобы телеграмму не послали! Почему вы ее не отправили?

— Понимаете, у меня было столько дел, столько забот, и я... они там на почте ужасно придирчивы, и когда я составил текст телеграммы...

— Э, да что там! Объяснениями ничего не поправишь. Что он теперь о нас подумает?!

— Да вы напрасно об этом беспокоитесь. Он подумает, что мы поручили отправку телеграммы служащим гостиницы, а они...

— Ну конечно! Ведь это и в самом деле был единственно разумный путь!

— Верно, я знаю. Но на мне висел еще банк. Мне надо было непременно дойти туда и взять денег.

— Все-таки надо отдать вам должное, по крайней мере об этом вы позаботились. Я не хочу быть несправедливой к вам, хотя вы сами должны признать, что причинили нам много беспокойства, и при этом в значительной мере зря. Сколько же вы взяли?

— Видите ли... я... мне подумалось что... что...

— Что же?

— Что... в общем, при данных обстоятельствах... ведь нас так много, знаете ли, и... и потом...

— Что это вы так мямлите? Ну-ка, посмотрите на меня!.. Да ведь вы никаких денег не взяли!

— Понимаете, в банке сказали...

— Мало ли что сказали в банке! Нет, у вас, конечно, были какие-то свои соображения. То есть не то чтобы соображения, но что-то такое, чем вы...

— Да нет же, все очень просто: при мне не было аккредитива.

— Не было аккредитива?

— Не было аккредитива.

— Не передразнивайте меня, пожалуйста. Где же он был?

— На почте.

— Это еще почему?

— Я забыл его там на столе.

— Ну, знаете ли, разных я видела агентов по обслуживанию туристов, но такого...

— Я старался как мог.

— В самом деле, бедняжка, вы старались как могли, и я не права, что набросилась на вас, ведь вы целый день хлопотали, чуть с ног не сбились, а мы тут прохлаждались, да еще и недовольны, вместо того чтобы спасибо сказать за ваши труды. Все устроится отлично. Мы с таким же успехом можем уехать завтра утром поездом в семь тридцать. Билеты вы купили?

— Купил — и очень удачно. Во второй класс.

— Очень хорошо сделали. Все ездят вторым классом, и нам тоже не грех сэкономить на этой разорительной надбавке. Сколько, вы сказали, они стоят?

— Двадцать два доллара штука, транзитные билеты до Байрейта.

— Ну? А мне казалось, что транзитные билеты невозможно купить нигде, кроме Лондона и Парижа.

— Кому невозможно, а кому и возможно. Я, например, из тех, кто может.

— Цена, по-моему, довольно высока.

— Наоборот, комиссионер еще отказался от наценки.

— Комиссионер?

— Да, я их купил в табачной лавке.

— Хорошо, что вы мне напомнили! Завтра надо подняться очень рано, на сборы времени не будет. Так что возьмите свой зонт, калоши, сигары... Что случилось?

— Черт! Я забыл сигары в банке.

— Подумать только! Ну а зонт?

— С зонтом-то я сейчас все устрою. Это дело минутное.

— Какое дело?

— Да нет, чепуха; это я мигом...

— Но где же все-таки ваш зонт?

— Ерунда, в двух шагах, это не займет и...

— Да где же он?

— Я, кажется, забыл его в табачной лавке, во всяком случае, я...

— Ну-ка, выньте ноги из-под стула. Ну вот, так я и знала! А калоши где?

— Калоши... они...

— Где ваши калоши?

— Эти дни такая сушь стоит... все говорят, что теперь дождя не...

— Где ваши калоши?

— Я... видите ли... дело обстояло так: сначала офицер сказал...

— Какой офицер?

— В полиции; но мэр, он...

— Какой мэр?

— Мэр города Женевы... но я сказал...

— Погодите, что с вами случилось?

— Со мной? Ничего. Они оба уговаривали меня остаться и...

— Да где остаться?

— Понимаете ли... собственно говоря...

— Где же вы все-таки были? Где вы могли задержаться до половины одиннадцатого ночи?

— Д-да, видите ли, после того как я потерял аккредитив, я...

— Напрасно вы заговариваете мне зубы. Отвечайте на вопрос коротко и ясно: где ваши калоши?

— Они... они в тюрьме.

Я попробовал было заискивающе улыбнуться, но улыбка моя окаменела на полпути. Обстановка была явно неподходящая. В том, что человек провел часок-другой в тюрьме, члены нашей экспедиции не видели ничего смешного. Да и я, по правде говоря, тоже.

Пришлось мне им все объяснить. Ну и тут, понятно, выяснилось, что мы не можем ехать завтра утренним поездом, — ведь тогда я не успею вызволить аккредитив. Кажется, нам оставалось только разойтись в самом что ни на есть невеселом и недружелюбном расположении духа, но в последний миг мне повезло. Заговорили о чемоданах, и я получил возможность заявить, что с чемоданами-то я все устроил.

— Вот видите, какой вы, оказывается, заботливый, старательный и догадливый! Просто стыд, что мы к вам так придираемся. Ни слова больше об этом! Вы превосходно со всем справились, и я раскаиваюсь, что проявила такую неблагодарность.

Похвала ранила острее попреков. Мне стало сильно не по себе, потому что это дело с чемоданами не внушало мне особой уверенности. Было в нем какое-то слабое место, но какое именно, я вспомнить не мог, а затевать теперь лишние разговоры не хотелось, ибо час был поздний и неприятностей и без того хватало.

Утром в гостинице, конечно, устроили концерт, когда выяснилось, что мы не едем утренним поездом. Но мне было некогда, я выслушал только несколько вступительных аккордов увертюры и пустился в путь за аккредитивом.

Мне подумалось, что сейчас самое время поинтересоваться еще раз насчет чемоданов и, если понадобится, внести поправки, а я подозревал, что поправки понадобятся. Я опоздал. Служащий сказал, что еще вчера вечером отправил наши чемоданы пароходом в Цюрих. Я недоумевал, как он мог это сделать, прежде чем мы предъявили ему проездные билеты.

— В Швейцарии это необязательно, — объяснил он. — Вы платите и отправляете свои чемоданы куда вам вздумается. Все перевозится за плату, кроме ручного багажа.

— Ну а сколько вы заплатили за наши чемоданы? — Сто сорок франков.

— Двадцать восемь долларов. Да, что-то в этом деле с чемоданами не так.

Потом я встретил швейцара из нашей гостиницы. Он сказал:

— Вы плохо спали сегодня ночью? У вас изможденный вид. Может быть, вы хотели бы нанять агента? Вчера вечером вернулся один, он свободен ближайшие пять дней. Фамилия — Луди. Мы его рекомендуем... то есть Гранд-отель Бо-Риваж рекомендует его своим постояльцам.

Я холодно отказался. Мой дух был еще не сломлен. И потом, мне не нравится, когда на мои неприятности обращают такое явное внимание. К девяти часам я отправился в городскую тюрьму, питая надежду, что, может быть, мэр вздумает прийти раньше, чем начинаются его присутственные часы. Но он не пришел. В тюрьме было скучно. Всякий раз как я пытался что-нибудь тронуть или на что-нибудь взглянуть, что-нибудь сделать или чего-нибудь не сделать, полицейский заявлял, что это запрещено. Тогда я решил попрактиковаться на нем во французском языке, но он и тут не пошел мне навстречу: почему-то звуки родного языка привели его в особенно дурное расположение духа.

Наконец прибыл мэр, и тут все пошло как по маслу: был созван Верховный суд, — они его всегда созывают, когда решается вопрос о ценном имуществе, — поставили, как во всяком порядочном суде, стражников, капеллан прочел молитву, принесли незапечатанный конверт с моим аккредитивом, открыли его — и там ничего, кроме нескольких фотографий, не обнаружили, потому что теперь я отчетливо вспомнил, как вынул из конверта аккредитив, чтобы было куда положить фотографии, а самый аккредитив засунул в другой карман, что я и доказал ко всеобщему удовлетворению тем, что извлек упомянутый документ из кармана и, ликуя, предъявил присутствовавшим. Члены суда бессмысленно уставились сначала друг на друга, потом на меня, потом снова друг на друга и в конце концов все-таки меня отпустили, но сказали, что мне небезопасно находиться на свободе, а также поинтересовались моей профессией. Я объяснил им, что я агент по обслуживанию туристов. Тут они благоговейно возвели очи к небесам и произнесли: «Du lieber Gott»*, а я в нескольких словах поблагодарил их за столь открыто выраженное восхищение и поспешил в банк.

Однако должность агента уже сделала из меня большого любителя порядка и системы, сторонника правил: «не все сразу» и «всею свой черед»; поэтому я прошел банк, не заходя туда, свернул в сторону и пустился в путь за двумя недостающими членами нашей экспедиции. Поблизости дремал извозчик, которого я после длительных уговоров нанял. Во времени я ничего не выиграл, но то был весьма покойный экипаж, и он пришелся мне по душе. Длившиеся уже педелю празднества по поводу шестисотой годовщины со дня рождения швейцарской свободы и подписания союзного договора были в полном разгаре, и запруженные улицы пестрели флагами.

Лошадь и кучер пьянствовали три дня и три ночи напролет, не ведая ни стойла, ни постели. Виду обоих был измочаленный и сонный — и это как нельзя более отвечало тому, что чувствовал я. Однако в конце концов мы все же подъехали к пансиону. Я слез, позвонил и сказал горничной, чтобы она поторопила наших друзей; я подожду их на улице. Она проговорила в ответ что-то, чего я не понял, и я вернулся в свой экипаж. Вероятно, девушка хотела мне втолковать, что эти жильцы не с ее этажа и что разумнее будет, если я поднимусь по лестнице и стану звонить на

* О, Боже! (нем.) — примечание издателя.

каждом этаже, пока не найду тех, кто мне нужен; ибо разыскать нужных людей в швейцарском пансионе можно, кажется, только если проявишь величайшее терпение и согласишься взбираться наугад от двери к двери. Я рассчитал, что мне предстоит дожидаться ровно пятнадцать минут, потому что в подобных случаях совершенно неизбежны следующие три этапа: во-первых, надевают шляпы, спускаются вниз и усаживаются; во-вторых, один возвращается за оставленной перчаткой; и в-третьих, после этого другому необходимо сбегать наверх, потому что он забыл там «Французские глаголы с одного взгляда». Я решил, что не буду нервничать и поразмыслю на досуге эти четверть часа.

Я погрузился было в блаженный покой ожидания — и вдруг почувствовал у себя на плече чью-то руку. Я вздрогнул. Нарушителем моего спокойствия оказался полицейский. Я глянул на улицу и увидел, что декорации переменились. Кругом собралось много народу, и у всех был такой довольный и заинтересованный вид, какой бывает у толпы, когда кто-нибудь попал в беду. Лошадь спала, спал и кучер, и какие-то мальчишки увидели нас пестрыми лентами, сорванными с бесчисленных флажтоков. Зрелище было возмутительное. Полицейский сказал:

— Простите, мосье, но мы не можем вам позволить спать здесь целый день.

Я был оскорблен до глубины души и ответил с достоинством:

— Прошу прощения, но я не спал. Я думал.

— Вы, конечно, можете думать, если вам хочется, но тогда думайте про себя, а вы подняли шум на весь квартал.

Это была неудачная шутка, в толпе стали смеяться. Я, правда, храплю иногда по ночам, но чтобы я стал храпеть в таком месте, да еще среди бела дня, — это весьма маловероятно! Полицейский освободил нас от украшений, он с сочувствием отнесся к нашей бесприютности и вообще был очень дружелюбен; однако он сказал, что нам нельзя больше здесь оставаться, иначе ему придется взыскать с нас плату за постой, — таков у них закон; потом он дружески заметил, что я выгляжу омерзительно и вообще, черт возьми, хотелось бы ему знать...

Но я весьма строго прервал его и сказал, что, по-моему, в такие дни не грех и поспрашивать, в особенности если торжества касаются тебя лично.

— Лично? — удивился он. — Каким же это образом? — Да таким, что шестьсот лет тому назад мой предок подписался под вашим союзным договором.

Он поразмыслил немного, оглядел меня с головы до ног и говорит:

— Ах, предок! А по-моему, это вы сами подписывались. Потому что из всех старых развалин, каких мне в жизни случалось... Впрочем, это не важно. Но чего вы здесь так долго дожидаетесь?

Я ответил:

— Я вовсе и не дожидаясь здесь долго. Я просто жду пятнадцать минут, пока они забудут перчатку и книгу и сходят за тем и другим.

И я объяснил ему, кто такие эти двое, за которыми я приехал.

Тогда он проявил особую любезность и, громко выкрикивая слова, стал расспрашивать торчавшие над нами из оков головы и плечи. А какая-то женщина вдруг отвечает:

— Ах, те? Да я еще когда ходила для них за извозчиком! Они уехали так около полдевятого.

Это было досадно. Я взглянул на часы, но ничего не сказал. А полицейский говорит:

— Сейчас четверть двенадцатого. Надо было вам получше расспросить. Вы проспали три четверти часа, и на таком солнцепеке. Да вы тут заживо спеклись, дочерна. Удивительное дело. А теперь вы еще, наверно, опоздаете на поезд. Хотелось бы мне знать, кто вы такой? Ваша профессия, мосье?

Я ответил, что я агент по обслуживанию туристов. Это его совершенно ошеломило, и прежде чем он успел прийти в себя, мы уехали.

Вернувшись в гостиницу, я поднялся на четвертый этаж и обнаружил, что наши номера стоят пустые. Это меня не удивило. Всегда так: только агент отвернется от своей паствы, как туристы тут же разбредаются по магазинам. И чем меньше времени остается до отхода поезда,

тем вероятнее, что их не будет на месте. Я сел и стал думать, что же делать дальше; но тут меня нашел коридорный и сообщил, что вся наша экспедиция полчаса тому назад отбыла на вокзал. В первый раз за все время они поступили разумно, и это совершенно сбilo меня с толку. Такие вот неожиданности и делают жизнь агента тягостной и беспокойной. Как раз когда все идет как по маслу, у подопечных вдруг наступает полоса временного просветления мозгов, и труды его и старания рассыпаются прахом.

Отправление поезда было назначено ровно на двенадцать часов дня. Часы показывали десять минут первого. Я мог быть на вокзале через десять минут. Я сообразил, что времени у меня, возможно, не в избытке, ведь то был экспресс-«молния», а экспрессы-«молнии» на континенте весьма дотошны — им обязательно надо тронуться с места до истечения указанных в расписании суток. В зал ожидания не было никого, кроме моих друзей; все другие уже прошли на перрон и «поднялись в поезд», как говорят в здешних местах. Члены экспедиции совершенно обессилели от беспокойства и возмущения, но я их утешил, приободрил, и мы ринулись к поезду.

Но нет, удача и на этот раз не сопутствовала нам. Контролера, стоявшего у выхода на перрон, почему-то не удовлетворили наши билеты. Он долго, внимательно и подозрительно их разглядывал; потом сверкнул на меня очами и подозвал другого контролера. Вдвоем они снова рассматривали билеты, и подозвали третьего. Потом втроем они позвали еще множество других контролеров, и все это сборище говорило, и толковало, и жестикулировало, и полемизировало до тех пор, пока я наконец не взмолился, чтобы они вспомнили, как быстро летит время, приняли несколько резолюций и дали нам пройти. В ответ они любезно уведомили меня, что в билетах обнаружен изъян, и спросили, где я их достал.

Ага, думаю, теперь-то мне ясно, в чем дело. Ведь я купил их в табачной лавке, и от них, конечно, несет табаком; и теперь они, вне всякого сомнения, собираются провести мои билеты через таможеню, чтобы взять пошлину за табачный запах. Я решил быть искренним до конца, — иной раз это оказывается разумнее всего. Я сказал: — Джентльмены, я не стану вас обманывать. Эти железнодорожные билеты...

— Пардон, мосье! Это не железнодорожные билеты.

— Вот как? — говорю. — В этом и состоит их изъян?

— Вот именно, мосье, вот именно. Это лотерейные билеты, мосье. Билеты лотереи, которая разыгрывалась два года тому назад.

Я притворился, что мне ужасно весело; в подобных случаях — это единственное, что остается; единственное, — а между тем толку-то от этого чуть: обмануть ты все равно никого не можешь и только видишь, что всем тебя жалко и всем за тебя неловко. По-моему, самое гнусное положение, в какое только может попасть человек, — это когда душа его вот так полна горем, сознанием понесенного поражения и собственного ничтожества; а между тем он вынужден корчить из себя бог весть какого шутника и забавника, хоть сам все равно знает, что члены его экспедиции — сокровища его души, те люди, чьи любовь и почитание полагаются ему по законам современной цивилизации, — сгорают от стыда перед чужими людьми, видя, что ты вызвал к себе жалость, которая есть пятно, клеймо, позор и все прочее, что только может навсегда лишить тебя человеческого уважения.

Я бодро сказал, что это ерунда: просто произошло маленькое недоразумение, такое со всяким может случиться, — вот я сейчас куплю настоящие билеты, и мы еще поспеем на поезд, да вдобавок ко всему у нас будет над чем смеяться всю дорогу. И я действительно успел выправить билеты, со штампами и со всем, что полагается, но тут обнаружилось, что я не могу их приобрести, потому что, употребив столько усилий на воссоединение с двумя недостающими членами экспедиции, я упустил из виду банк, и у меня нет денег. Поезд отошел, и нам ничего не оставалось, как вернуться в гостиницу, что мы и сделали; возвращение наше было унылым и безмолвным. Я попробовал было одну-две темы, вроде красот природы, преосуществления и прочего в том же роде, но они как-то не отвечали общему настроению. Наши хорошие номера были уже заняты, но мы получили другие, правда в разных концах здания, однако все же

приемлемые. Я рассчитывал, что теперь сумрак начнет рассеиваться, но глава экспедиции промолвила:

«Велите принести в номера наши чемоданы». Я похолодел. С чемоданами что-то было явно не ладно. Я почти не сомневался в этом. Я хотел было предложить, чтобы...

Но одним мановением руки меня заставили замолчать, а затем меня уведомили, что теперь мы обоснуемся здесь еще на три дня, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя.

Я сказал, что ладно, только пусть они по звонят вниз: я сам сейчас спущусь и прослежу, чтобы принесли чемоданы. Сел на извозчика и еду прямо в контору м-ра Чарльза Нэчурела, а там спрашиваю, какое я им оставил распоряжение.

— Отправить семь чемоданов в гостиницу.

— А оттуда вы ничего не должны были привезти?

— Нет.

— Вы абсолютно уверены в том, что я не поручал вам захватить из гостиницы другие семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле?

— Абсолютно уверены.

— В таком случае все четырнадцать чемоданов уехали в Цюрих, или в Иерихон, или еще бог весть куда, и теперь, когда экспедиции станет известно...

Я не кончил, у меня уже ум за разум зашел, а в таком состоянии кажется, будто ты кончил предложение, а между тем ты его прорвал на середине и зашагал прочь, точно лунатик; а там, не успеешь оглянуться, как тебя уже сшибла ломовая лошадь, или корова, или еще что-нибудь.

Я оставил у конторы извозчика — забыл о нем — и по дороге, тщательно все обдумав, решил подать в отставку, ибо в противном случае меня почти наверняка разжалуют. Однако я не счел необходимым подавать в отставку лично: можно ведь и передать через кого-нибудь. Я послал за мистером Луди и объяснил ему, что один мой знакомый агент уходит от дел по причине полной неспособности или по причине переутомления — что-то в этом роде, — и раз у него, Луда, есть еще несколько свободных дней, я хотел бы предложить эту вакансию ему, если только он возьмется. Когда все было улажено, я уломал его подняться наверх и сообщить членам экспедиции, что в силу ошибки, совершенной служащими м-ра Нэчурела, мы здесь остались вовсе без чемоданов, зато их будет избыток в Цюрихе, так что нам нужно немедленно погрузиться в первый состав, товарный, ремонтный или строительный — безразлично, и на всех парах катить в Цюрих.

Он все это исполнил и, вернувшись от них, передал мне приглашение подняться в номера. Как же, так я и пошел! И пока мы с ним ходили в банк за деньгами и за моими сигарами, оттуда — в табачную лавку, чтобы вернуть лотерейные билеты и захватить мой зонт, а оттуда — к конторе мистера Нэчурела, чтобы расплатиться с извозчиком и отпустить его, а оттуда — в городскую тюрьму, чтобы взять мои калоши и оставить на память мэру и членам Верховного суда мои визитные карточки, он по дороге описал мне, какая наверху царит атмосфера, и я понял, что мне и здесь хорошо.

Так я и скрывался в лесах до четырех часов пополудни, покуда не утихла непогода, а затем объявился на вокзале как раз к отходу трехчасового экспресса и воссоединился с экспедицией, находившейся под опекой Луди, который вел все ее сложные дела без видимых усилий или каких-либо неудобств для себя лично.

Одно скажу: я трудился, как раб, пока стоял у кормила власти, я делал все, что мог и умел, но люди запомнили лишь недостатки моего правления и знать ничего не желали о моих достижениях. Пренебрегая тысячей достижений, они без конца — и как только не надоедало?! — вспоминали и с возмущением твердили об одном-единственном обстоятельстве, — да и в чем-то ничего особенного не было, если здраво рассудить, — а именно, что в Женеве я произвел себя в агенты по обслуживанию туристов, потратил столько усилий, что можно было бы целый зверинец переправить в Иерусалим, однако не вывез свою компанию даже за пределы города. В конце концов я сказал, что не хочу больше об этом слышать ни слова, меня это утомляет. И

я заявил им прямо в глаза, что никогда больше не соглашусь быть агентом, даже если от этого будет зависеть чья-нибудь жизнь. Надеюсь, я еще доживу до того времени, когда смогу это доказать. По-моему, нет другой такой трудной, головоломной, губительной для здоровья и совершенно неблагодарной должности, и весь заработок с нее — это обида на сердце и боль в душе.

НАЗОЙЛИВЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ

Каждое утро, когда часы бьют девять, он появляется в редакции. Иногда он приходит даже раньше редактора, и швейцар вынужден покинуть свой пост и подняться на несколько ступенек по лестнице, чтобы отпереть ему заветную дверь редакции. Он берет со стола трубку и закуривает; ему, очевидно, невдомек, что редактор может быть тем гордецом (бывают такие!), которому столь же приятно, когда пользуются его трубкой, как если бы кто-то почистил зубы его щеткой. Он разваливается на диване, ибо у человека, бессмысленно проводящего всю свою жизнь в позорной праздности, не хватает сил сидеть прямо. Сначала он вытягивается во всю длину, потом полулежит; затем перебирается в кресло и располагается в нем, свесив руки, откинув голову и вытянув ноги; немного погодя он меняет позу, наклоняется вперед и перекидывает ногу, а то и обе, через ручку кресла. Однако следует заметить, что, как бы он ни устраивался, он никогда не сидит прямо и не делает вид, что исполнен чувства собственного достоинства. Время от времени он зевает, потягивается и неторопливо, с наслаждением почесывается; иногда он удовлетворенно ворчит, как сытое, до отвала наевшееся животное. Но изредка у него вырывается глубокий вздох, — и это красноречиво выражает его тайное признание: «Никому я не нужен, всем в тягость и только обременяю собою землю».

Этот бездельник не единственный в своем роде — в редакции днем и ночью вертятся трое-четверо таких же, как он. Они вмешиваются в разговор, когда кто-нибудь приходит к редактору по делу, шумно болтают обо всем на свете и особенно о политике; бывает, они даже горячатся, — и тогда кажется, будто их впрямь интересует предмет разговора. Они бесцеремонно отрывают редактора от работы замечаниями: «Смит, ты это видел в «Газете»? — и принимаются читать целую заметку, а страдающий редактор вынужден слушать, едва сдерживая нетерпеливое перо; они часами сидят в редакции, развалясь в ленивых позах, перебрасываются анекдотами, подробно рассказывают друг другу различные случаи из своей жизни, вспоминают, как выходили из трудных и опасных положений, встречались со знаменитостями, участвовали в избирательных кампаниях; обсуждают знакомых и незнакомых и тому подобное. За все эти долгие часы им ни разу не приходит в голову, что они воруют время у редакторов и грабят читателей, — без них статьи в следующем номере газеты были бы куда лучше! Порою они дремлют или мечтательно углубляются в газеты, а иногда в задумчивости застывают на часок, безвольно обмякнув в кресле. Даже эта торжественная тишина — слишком небольшая передышка для редактора, ибо когда рядом сидит человек и молча слушает поскрипывание твоего пера, это немногим лучше, чем чувствовать, как он заглядывает тебе через плечо. Если посетитель хочет поговорить с кем-нибудь из редакторов о своем личном деле, он должен вызвать его за дверь, потому что никакие намеки, слабее, чем взрывчатка или нитроглицерин, не заставят этих надоедливых особ отойти и не подслушивать. Необходимость день за днем терпеть присутствие назойливого человека, чувствовать, как твое бодрое настроение начинает падать, едва на лестнице послышатся его шаги, и исчезает бесследно, когда его утомительно надоедливая фигура появляется в дверях; страдать от его рассказов и изнемогать от его воспоминаний, всегда ощущать оковы его обременительного присутствия; безнадежно мечтать об одном-единственном дне уединения; с ужасом замечать, что предвкушение его похорон уже перестало утешать, а воображаемая картина суровых и страшных пыток, которым подвергает его инквизиция, больше не приносит облегчения и что, даже пожелав ему миллионы и миллионы лет в аду, испытываешь всего лишь мгновенную вспышку

радости, — необходимость выносить все это день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем — вот страдание, превосходящее все другие муки, какие способен претерпеть человек. Физическая боль по сравнению с этой — пустяк, и даже последний путь осужденного на виселицу — только приятная прогулка.

МОЕ КРОВАВОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ

Другой мистификацией, о которой я уже упоминал, была моя блестящая сатира на плутовской финансовый прием — «стряпню дивидендов», — к которому одно время позорно часто прибегали на Тихоокеанском побережье. В простоте души я тогда еще раз вообразил, что пришел мой час потрудиться исправления нравов ради. С этой высоконравственной целью я сочинил сатиру «Ужасное злодеяние в Эмпайр-Сити». В то время сан-францисские газеты подняли шумиху вокруг мошенничества в Дейнском акционерном обществе серебряных копеек, правление которого объявило «состряпанный», или фальшивый, дивиденд, чтобы поднять курс своих акций и, распродав их по приличной цене, благополучно выбраться из-под обломков рухнувшего концерна. Обливая грязью Дейнское акционерное общество, эти газеты в то же самое время убеждали публику избавиться от всех своих серебряных акций и приобрести устойчивые и надежные акции сан-францисских предприятий, таких, как, например, Акционерное общество водоснабжения Спринг-Вэлли. Но вдруг в самый разгар этой возни выяснилось, что общество Спринг-Вэлли тоже состряпало дивиденд! И вот я, хитро прельщая публику приманкой вымышленного «кровавого злодеяния», готовился обрушиться на нее с язвительной сатирой на всю эту грязную финансовую кухню. Рассказ о воображаемом кровопролитии занимал с полстолбца; в нем шла речь о том, как один местный житель убил жену и девятерых детей, а потом покончил с собой. В конце же я не без коварства сообщал, что внезапное помешательство — причина этой леденящей душу резни — было вызвано тем, что мой герой поддался уговорам калифорнийских газет, продал свои надежные и прибыльные невадские серебряные акции и, как раз перед тем, как лопнуть обществу Спринг-Вэлли с его мошенническими раздутыми дивидендами, вложил туда все свои деньги и потерял все до последнего цента.

О, это была очень, очень ядовитая сатира, чрезвычайно тонко задуманная. Но я так старательно и добросовестно живописал ужасающие детали, что публика алчно пожирала только эти подробности, совершенно не обращая внимания на то, что все это явно противоречило всем известным фактам: не было человека в нашей округе, который бы не знал, что этот так называемый убийца — холостяк, а стало быть, никак не мог убить жену и девятерых детей; он убил их «в своем роскошном мраморном особняке, стоявшем на опушке огромного соснового бора между Эмпайр-Сити и поселком Ника Голландца», — но даже маринованные устрицы, которых нам подавали к столу, и те знали, что на всей территории Невады не было ни одного «мраморного особняка», а также, что на пятнадцать миль вокруг Эмпайр-Сити и поселка Ника Голландца не было не только «огромного соснового бора», но даже не росло ни единого деревца; и, наконец, всем было доподлинно известно, что Эмпайр-Сити и поселок Ника Голландца — одно и то же место, где находится всего шесть домов, и следовательно, между ними не могло быть никакого бора; и сверх всех этих явных нелепостей я еще утверждал, будто, нанеся себе такую рану, от которой, как это мог понять любой читатель, мгновенно издох бы даже слон, этот демонический убийца вскочил на коня и проскакал целых четыре мили, потрясая еще теплым скальпом своей супруги, и в таком виде с триумфом въехал в Карсон-Сити, где испустил дух у дверей самого большого трактира, на зависть всем восхищенным очевидцам.

Никогда в жизни я не видел такой сенсации, какую вызвала эта маленькая сатира! О ней говорил весь город, о ней говорила вся наша округа. Просматривая за завтраком газету, жители

города сначала спокойно начинали читать мою сатиру, а под конец им было уже не до еды. Вероятно, было что-то такое в этих деталях, правдоподобных до мелочей, что вполне заменяло пищу. Мало кто из грамотных людей мог есть в это утро. Мы с Дэнном (моим коллегой-репортером), как обычно, сели за свой столик в ресторане «Орел»; и только я развернул тряпку, которая в этом заведении именовалась салфеткой, как увидел за соседним столиком двух дюжих простачков, одежда которых была осыпана чем-то вроде перхоти явно растительного происхождения, — признак и доказательство того, что они прибыли из Тракки с возом сена. Один из них, сидевший лицом ко мне, держал во много раз сложенную утреннюю газету, и я безошибочно знал, что на этой узкой длинной полосе находится столбец с моей прелестной финансовой сатирой. По его взволнованному бормотанию я мог судить, что сей беспечный сын сенокосов скачет во весь опор с пятого на десятое, спеша дорваться до кровавых подробностей, и, конечно, пропускает все сигналы, расставленные мною с целью предупредить его, что все это — сплошное вранье. Вдруг глаза его полезли на лоб как раз в тот миг, когда челюсти широко разъялись, чтобы захватить картошку, приближавшуюся на вилке; картошка колыхнулась и замерла, лицо едока жарко вспыхнуло, и весь он запылал от волнения. Затем он очертя голову кинулся судорожно заглатывать подробности, причем картошка стыла на полдороге, а он то тянулся к ней губами, то внезапно замирал в ужасе перед новым, еще более злодейским подвигом моего героя. Наконец он внушительно посмотрел в лицо своему остолбеневшему приятелю и сказал, потрясенный до глубины души:

— Джим, он сварил малыша и содрал скальп с жены. Ну его к черту, этот завтрак, мне теперь ничего в глотку не полезет! — Он бережно опустил остывшую картошку на тарелку, и они оба вышли из ресторана с пустыми желудками, но вполне удовлетворенные.

Он так и не дошел до того места, где начиналась сатирическая часть. И никто никогда эту статью не дочитывал. Им было достаточно потрясающих подробностей преступления. Соваться с маленькой, тощей моралью под самый конец такого великолепного кровавого убийства было все равно что идти вслед заходящему солнцу со свечкой и надеяться привлечь к ней всеобщее внимание.

Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь когда-нибудь примет мое кровавое злодеяние за истинное происшествие, — ведь я так тщательно прослоил свой рассказ явными выдумками и нелепостями вроде «огромного соснового бора», «мраморного особняка» и прочее. Но с тех пор я на всю жизнь запомнил, что мы никогда не читаем скучных объяснений к захватывающим дух, увлекательным историям, если у нас нет повода подозревать, что какой-то безответственный писака хочет нас обмануть; мы пропускаем все это и с наслаждением упиваемся подробностями, от которых кровь стынет в жилах.

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Мне хочется рассказать здесь не только о привычках этих необычных созданий, но и о некоторых любопытных подробностях самого различного свойства, имеющих к ним отношение, но никогда не проникавших в печать, будучи достоянием исключительно их частной жизни. Зная близнецов лично, я считаю, что на редкость хорошо подготовился к задаче, которую перед собой поставил.

Природа одарила сиамских близнецов нежными и любящими сердцами, и удивительная преданность связывала их в течение всей долгой и богатой событиями жизни. Даже детьми они были неразлучны; замечено, что они всегда предпочитали общество друг друга любому другому. Почти постоянно они играли вместе, и мать их так привыкла к этой особенности, что, если им случалось куда-нибудь запропасться, она обычно искала только одного из них, уверенная, что тут же рядом окажется и брат. А ведь эти создания были невежественны и неграмотны —

сами варвары и потомки варваров, не ведавших света науки и философии. Разве это не убийственный упрек нашей хваленной цивилизации с ее ссорами, разногласиями и враждой между братьями?

Как и все люди, близнецы не всегда пребывали в совершенном согласии, но узы, связывающие их, не позволяли братьям разойтись и поселиться порознь, Они и жили-то под одной крышей, и все считали, что с самого рождения они не провели врозь ни одной ночи. Как неизбежно привычки целой жизни становятся нашей второй натурой! Близнецы всегда ложатся спать в одно время, но Чанг обычно просыпается часом раньше брата. С обоюдного согласия Чанг занимается домашней работой, а Энг бегаёт по делам. Это оттого, что Энг любит пройтись, Чанг же привык к сидячему образу жизни. Однако Чанг всегда присоединяется к брату. Энг — баптист, а Чанг — католик; тем не менее, чтобы сделать Энгу приятное, он согласился креститься вместе с ним, оговорившись, что это «не в счет». Когда началась война, оба они проявили себя стойкими бойцами и отважно сражались в течение всей великой битвы — Энг на стороне Соединенных Штатов, Чанг на стороне противника. У Семи Дубов оба взяли друг друга в плен, однако установить, кто кого взял, оказалось невозможным, и был созван военно-полевой суд, чтобы решить, кого считать пленным, а кого — победителем. Присяжные долго не могли прийти к единому мнению; наконец решение спорного вопроса свелось к тому, что их обоих признали пленными и вслед за этим обменяли. Как-то раз за нарушение приказа Чанг был приговорен к десяти дням гауптвахты, но Энг, несмотря на все возражения, счел себя обязанным разделить заключение брата, хотя сам он был совершенно ни при чем; и для того, чтобы спасти невинного от страданий, пришлось освободить из-под стражи обоих, — это ли не заслуженная награда преданности!

Однажды братья из-за чего-то поссорились, и Чанг сбил Энга с ног, споткнулся и упал на него, а потом они опять схватились и принялись безжалостно колотить друг друга. Очевидцы вмешались и попробовали разнять их, но тщетно, — и братья беспрепятственно довели бой до конца. Оба вышли из борьбы изрядно помятыми, и их отправили в больницу на одних и тех же носилках.

Их давняя привычка бывать повсюду вдвоем обернулась худшей своей стороной, когда они выросли и стали ухаживать за девушками. Оба влюбились в одну и ту же. Каждый старался назначить ей свидание по секрету от брата, но тот всегда появлялся в самую неподходящую минуту. Постепенно, к своему отчаянию, Энг начал понимать, что девушка оказывает предпочтение Чангу, и с этого дня ему пришлось стать свидетелем их нежного воркования. Но с безграничным великодушием, которое делало ему честь, он покорился своей судьбе и даже поддерживал и ободрял брата, хотя самому ему было очень тяжело. Каждый вечер, с семи до двух ночи, он сидел, невольно вслушиваясь в любовный вздор нежной парочки и в звуки поцелуев, которые они не скупясь расточали друг другу, — а ведь за счастье поцеловать хоть раз эту девушку он с удовольствием отдал бы свою правую руку. Но он терпеливо сидел, и ждал, и глазел, и зевал, и потягивался, и томился в ожидании двух часов. А если ночь была лунная, он подолгу гулял с влюбленными, проходя иногда по десять миль, несмотря на то, что его обычно мучил ревматизм. Он был заядлым курильщиком, но и покурить-то ему было нельзя — молодая леди не выносила табачного дыма. Энг от души желал, чтобы они поженились — и делу конец! Однако, хотя Чанг часто задавал самый главный вопрос, молодая леди никак не могла решиться ответить, — ей мешал Энг. Но как-то раз, пройдя около шестнадцати миль и досидевшись почти до рассвета, Энг заснул — просто от изнурения, и тогда на этот вопрос наконец последовал ответ. Влюбленные поженились. Все, кто был в курсе дела, восхищались благородным деверем. Только и говорили, что о его непоколебимой преданности. Он не отходил от влюбленных на протяжении всего долгого и пылкого ухаживания; и когда они наконец поженились, он возложил руки на их головы и произнес с набожностью, которая произвела на всех глубокое впечатление:

«Благословляю вас, дети мои, я никогда не покину вас!» И он сдержал свое слово. Подобная верность так редко встречается в этом бесчувственном мире!

Вскоре он влюбился в сестру своей золовки и женился на ней, и с тех пор они живут все вместе, и днем и ночью, в большой дружбе, которую так приятно и трогательно видеть! Не жестокий ли это упрек нашей хваленой цивилизации?

Близость, связующая братьев, столь велика и прекрасна, что чувства, порывы и душевные волнения одного немедленно передаются другому. Когда нездоров один, нездоров и другой; когда одному больно, другому тоже; стоит одному рассердиться, тотчас вспылит и другой. Мы уже видели, как легко и просто оба влюбились в одну и ту же девушку. Но вот беда: Чанг — ярый противник всякой неводержанности, Энг — полная ему противоположность, — ибо если все чувства и настроения этих людей так тесно связаны, умственные способности их остались независимыми, каждый мыслит сам по себе. Чанг принадлежит к обществу Добрых Храмовников, он рьяный сторонник всех реформ, укрепляющих трезвенность. Но, к его глубочайшему горю, Энг то и дело напивается, и, понятно, Чанг тоже становится пьян. Это несчастье всегда очень удручало Чанга, так как уничтожало все его старания на благо любимого дела. Когда бы он ни шествовал во главе огромной процессии трезвенников, Энг уже семенит бок о бок с ним, пьяный в стельку; однако пьян он был не более отвратительно и безнадежно, чем его брат, который не выпил ни капли. И оба они начинали гикать, вопить, швырять грязью и кирпичами в Добрых Храмовников и, конечно, разгоняли процессию. Было бы явной несправедливостью взыскивать с Чанга за проступки Энга, а посему Добрые Храмовники примирились с создавшимся прискорбным положением и, погрузившись в печаль, страдали молча. Они беспристрастно рассмотрели дело и признали Чанга невиновным. Призвав обоих братьев, они до отказа напоили Чанга горячей водой с сахаром, а Энга — виски, и через двадцать пять минут уже невозможно было разобрать, кто из них больше пьян. Оба были пьяны вдребезги, и судя по запаху — от горячего пунша. Но так или иначе, моральные принципы Чанга остались непоколебленными, совесть его была чиста, и по справедливости нельзя было не признать, что пьян он не морально, а только физически. Каждый мог засвидетельствовать, что, в сущности, этот человек был совершенно трезв; однако всем его друзьям тем тяжелее было видеть, как он сердечно здороваётся с водопроводным насосом или пытается завести часы своим дверным ключом.

В этих грозных предостережениях есть мораль, или, во всяком случае, есть предостережения в этой грозной морали, — или то, или другое. Не все ли равно, что именно. Не пройдем же мимо, примем это к сведению.

Я мог бы рассказать еще больше поучительного об этих своеобразных созданиях природы, но, по-моему, и без того достаточно.

Так как я забыл упомянуть об этом раньше, замечу в заключение, что одному из сямских близнецов пятьдесят один год, а другому — пятьдесят три.

КАК ВЫВОДИТЬ КУР

С ранней юности я испытывал особую страсть к выведению кур, и возможность стать членом вашего общества отвечает моим самым горячим желаниям. Еще когда я был ребенком, выведение кур интересовало меня, и могу не хвалясь сказать, что уже к семнадцати годам я был знаком с лучшими и быстреевыми способами выведения кур, от увода их из курятника посредством зажигания фосфорных спичек у них под клювом, до снятия их с плетня при помощи теплой доски, подsunутой в морозную ночь под их лапки. Смею сказать, что к тому времени, когда мне исполнилось двадцать лет, я вывел больше кур, чем любой другой любитель куроводства во всей нашей округе. Постепенно сами куры стали признавать мой талант. Стоило мне показаться на горизонте, как молодняк обоого пола переставал рыть землю в поисках червей, и старые петухи, которые вышли, чтобы покуракаться, «останавливались помолиться».

У меня накоплен большой опыт выведения домашней птицы, и я надеюсь, что некоторые мои советы будут бесполезны вашему обществу. Вышеупомянутые способы очень просты и применяются для выведения лишь вульгарных несушек, — один летом, другой зимой. В первом случае — летом — вы с приятелем выходите из дому около одиннадцати часов вечера (не позже, потому что в некоторых штатах, особенно в Калифорнии и Орегоне, петухи имеют обыкновение просыпаться как раз в полночь и кукарекать от десяти минут до получаса, смотря по тому, сколько им потребуется, чтобы разбудить народ; ваш друг захватывает с собой мешок. Прибыв в курятник (вашего соседа, не ваш собственный), вы зажигаете спичку и держите ее сначала перед клювом одной курочки, потом — другой, до тех пор, пока они не согласятся тихо и мирно, без лишнего шума, отправиться в мешок. Затем вы возвращаетесь домой, унося мешок с собой или оставляя его в курятнике — как потребуют обстоятельства.

Примечание. В некоторых случаях наиболее целесообразным и уместным бывает оставить мешок в птичнике и удалиться с максимальной скоростью, даже не указав, куда его прислать.

Если вы хотите применить второй из упомянутых способов выведения кур, вашему другу надо взять закрытый сосуд с раскаленными углями, а вам — длинную тонкую доску. Само собой разумеется, ночь должна быть холодная. Добравшись до дерева, или до плетня, или до другого места, где ночуют куры (ваши собственные, если вы идиот), вы подогреваете конец доски в этом сосуде, а затем, подняв его кверху, осторожно подводите под лапы дремлющей курицы. Если предмет вашего внимания — достойная представительница куриного рода, она непременно поблагодарит вас сонным кудахтаньем, переступит на доску и устроится на ней с удобствами, настолько явно становясь соучастницей в подготовке собственного убийства, что у вас возникают серьезные сомнения, — те же, что некогда возникли у Блэкстона, — а не совершает ли она вполне сознательно самоубийство второй степени? (Но размышлениям по поводу этих юридических тонкостей вы предаетесь не в ту минуту, а позднее.)

Когда вы хотите вывести красивого, крупного, вопящего, как осел, шанхайского петуха, вы прибегаете к помощи лассо, как если бы речь шла о быке. Ведь он должен быть придушен, и придушен основательно. Другого надежного способа нет, ибо всякий раз, как такой петух упоминает о предмете, в котором он кровно заинтересован, девяносто девять шансов из ста, что он немедленно привлечет к этому предмету внимание кого-нибудь еще, будь то днем или ночью.

Черные испанские куры великолепны и весьма дороги. За образчик этой породы нередко платят 50 долларов, ну а 35 долларов — обычная цена. Даже их яйца стоят от доллара до полутора за штуку, но они так тяжело ложатся на желудок, что муниципальные врачи никогда не включают их в рацион рабочего дома. И все же раза два в новолуние мне удавалось добывать их по дюжине, причем совсем даром. Лучший способ выводить черных испанских кур — поздно вечером вывезти их целиком с курятником. Я особенно рекомендую этот метод потому, что владельцы столь ценных птиц не позволяют им устраиваться на ночлег где попало, но загоняют в клетку, крепкую, как сейф, которую держат в кухне. Разумеется, метод, о котором я говорю, не всегда оправдывает возлагаемые на него надежды, однако в кухне имеется так много мелких ценностей, что если вас постигнет неудача с клеткой, вы сможете прихватить там что-нибудь другое. Так однажды я унес мышеловку, которая стоила девяносто центов.

Но зачем мне напрягать всю силу моего интеллекта, уделяя так много внимания этому предмету? Я уже доказал Западному Нью-Йоркскому Обществу Куроводства, что оно приняло в свое лоно отнюдь не желторотого цыпленка, а подлинного знатока в данной области, который владеет самыми совершенными методами выведения кур и в этом не уступает самому председателю общества. Приношу искреннюю благодарность господам куроводам за то, что они избрали меня почетным членом своего общества, и остаюсь всегда готовым доказать мои добрые чувства и гражданское рвение не только второпях написанными советами я сведениями но и делами. Когда бы ни собрались они выводить кур пусть зайдут за мной, — после одиннадцати вечера всегда дома и всегда буду к их услугам.

ОТВЕТ БУДУЩЕМУ ГЕНИЮ

Молодому автору — Да, Агассис действительно рекомендует писателям есть рыбу, потому что фосфор, который в ней имеется, развивает мозги. Тут вы не ошиблись. Но я не могу помочь вам установить необходимую для вас минимальную норму рыбы, — во всяком случае, затрудняюсь определить ее с абсолютной точностью. Если присланное вами сочинение — типичный образчик вашего творчества, то пара китов — это, пожалуй, пока все, что вам требуется. Не каких-то особо крупных, нет, — самых обыкновенных китов среднего размера.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА

Если вашему соседу доставляет удовольствие нарушать священное спокойствие ночи хрюканьем нечестивого тромбона, то ваш долг примириться с этой злосчастной музыкой и ваше святое право пожалеть беднягу, которого неодолимый инстинкт заставляет находить усладу в столь нестройных звуках. Не всегда я думал так; подобное отношение к музыкантам-любителям родилось во мне на основе некоторого тяжелого личного опыта, сопутствовавшего развитию сходного инстинкта во мне самом. Ныне, когда этот язычник напротив, который с неправдоподобно малым успехом обучается игре на тромбоне, принимается по ночам за свое инквизиторское занятие, я не шлю ему проклятий, но горько о нем сожалею. Десятью годами раньше я спалил бы его дом за подобное издевательство. Мне случилось в те поры стать на две-три недели жертвой скрипача-любителя, и муки, которые я претерпел от него, не опишешь никакими словами. Единственное, что он умел играть, была песня «Старый Дэн Тэккер», но играл он ее так отвратительно, что у меня просто судороги делались, а если я в это время спал, меня начинали мучить кошмары. Все же, пока он ограничивался «Дэном Тэккером», я терпел и воздерживался от насилия. Но когда он затеял новое надругательство и попытался сыграть «Мой дом родной», у меня лопнуло терпение, и я спалил его. Потом я подвергся агрессии со стороны другого несчастного, который чувствовал призвание к игре на кларнете. Инструмент у него был из рук вон плох, но он играл всего лишь одну гамму, и я позволил ему, как и первому, пастись в пределах своей привязи; когда же он наконец отважился на какую-то ужасающую мелодию, я почувствовал, что под воздействием этой утонченной пытки разум покидает меня, отправился к нему, и его постигла та же участь. В последующие два года я спалил любителя-корнетиста, трубача, студента-фаготиста и какого-то дикаря, чьи музыкальные запросы удовлетворялись простым барабаном.

Разумеется, я подпалил бы и этого тромбониста, попадись он мне тогда. Теперь же, как я уже сказал, я предоставляю ему погибать самому, ибо у меня есть личный опыт музыканта-любителя, и я испытываю к такого рода людям только глубочайшее сочувствие. Кроме того, я убедился, что в душе каждого человека дремлет склонность к какому-нибудь музыкальному инструменту и неосознанное стремление научиться играть на нем, которое в один прекрасный день может пробудиться и заявить о своих правах. А потому вы, извергающие ругательства, когда вашу сладостную дрему нарушают безуспешные и деморализующие попытки подчинить себе скрипку, берегитесь, ибо раньше или позже, а пробьет и ваш час! Вошло в обычай и стало общепринятым проклинать бедных любителей, когда они отрывают нас от сладких сновидений какой-нибудь особенно дьявольской нотой, но, принимая во внимание, что все мы сделаны из одного теста и всем нам для развития своего музыкального таланта нужна пропасть времени, это несправедливо. Я милосерден по отношению к своему тромбонисту. Охваченный вдохновением, он иногда испускает такой хриплый вопль, что я вскакиваю с постели, обливаясь

холодным потом. Сперва мне кажется, что происходит землетрясение, потом я соображаю, что это тромбон, и у меня мелькает мысль, что самоубийство и безмолвие могилы были бы желанным избавлением от этого ночного кошмара. И старый инстинкт властно влечет меня к спичкам. Но первая же спокойная, хладнокровная мысль возвращает меня к сознанию, что тромбонист — невольник своей судьбы, несущий свой крест в страданиях и горе. И я отгоняю прочь внушенное недостойным инстинктом желание пойти и спалить его. После довольно долгого периода невосприимчивости к чудовищному умопомешательству, заставляющему человека делаться музыкантом, тогда как бог повелел ему пилить дрова, я в конце концов пал жертвой инструмента, называемого аккордеоном. Ныне я страстно ненавижу это изобретение, но в то время, о котором я рассказываю, меня внезапно обуяло возмутительное идолопоклонническое влечение к нему. Я раздобыл аккордеон достаточной мощности и принялся разучивать на нем «Застольную». Теперь мне кажется, что на меня снизошло тогда какое-то вдохновение, позволившее мне, пребывавшему в состоянии полнейшего невежества, выбрать из всех существующих музыкальных сочинений именно то, которое наиболее отвратительно и невыносимо звучит на аккордеоне. Не думаю, чтобы на свете нашлась другая мелодия, с помощью которой я смог бы за недолгий срок своей музыкальной карьеры причинить столько страданий окружающим.

Поупражнявшись неделю, я пришел к тщеславному выводу, что могу несколько улучшить мелодию этой песни, и начал добавлять к ней разные маленькие украшения и вариации, впрочем, по-видимому, без особого успеха, так как явилась моя хозяйка, явно недовольная столь безрассудными затеями. Она сказала: «Вы не знаете еще какой-нибудь мелодии, мистер Твен?» Я скромно ответил, что не знаю. «Раз так, — сказала она, — придерживайтесь ее в точности, не добавляйте к ней разных вариаций, потому что она и без того достаточно действует на жильцов».

На деле же она действовала, по-моему, более чем достаточно, ибо половина жильцов съехала, а другая половина последовала бы их примеру, не отделившись миссис Джонс от меня. На следующем своем месте жительства я задержался всего на одну ночь. Миссис Смит заявила ко мне с утра, пораньше. Она сказала: «Сэр, вы можете уходить отсюда. Вы мне не нужны. У меня был тут один бедняга вроде вас, тоже сумасшедший, он играл на банджо и отплясывал так, что все окна дребезжали. Вы всю ночь не давали мне спать, а если вы собираетесь проделать это еще раз, я возьму и разобью эту штукину о вашу голову». Я понял, что эта женщина не любит музыки, и переехал к миссис Браун.

Три ночи я без помех преподносил соседям «Застольную» в чистом виде, без всякой фальсификации, разве только с несколькими диссонансами, по-моему даже улучшавшими общее впечатление. Но едва я принялся за вариации, как жильцы восстали. Я ни разу не встречал человека, который мог бы спокойно перенести эти вариации. Все же я был вполне доволен своими успехами в этом доме и покинул его без сожаления. Под влиянием моей игры один жилец спянул почище мартовского зайца, а другой сделал попытку оскальпировать свою мать. И я уверен, что, если бы этот последний чуть дольше послушал мои вариации, он бы прикончил старушку.

Я переехал к миссис Мэрфи, итальянке, женщине весьма достойной. Сразу, как только я принялся за свои вариации, ко мне в комнату вошел осунувшийся, изможденный, бледный, как мертвец, старик и уставился па меня, сияя улыбкой невыразимого счастья. Затем он положил мне руку на голову, устремил в потолок благочестивый взор и с искренней набожностью произнес дрожащим от избытка чувств голосом: «Господь да благословит тебя, сынок! Да благословит тебя господь, ибо то, что ты сделал для меня, превышает всех благодарностей. Много лет я страдал от неизлечимой болезни, и, зная, что приговор мой подписан, что я должен умереть, я изо всех сил старался примириться со своей злосчастной судьбой, но тщетно — жажда жизни была слишком сильна по мне. Да пребудет с тобой благословение небес, благодетель мой! С тех пор как я услышал твою игру и эти вариации, я не томлюсь более жаждой жизни, я хочу

умереть, точнее сказать — я тороплюсь умереть». Тут старик упал мне на шею и затопил меня счастливыми слезами. Я был удивлен этим происшествием, но не мог удержаться от некоторого чувства гордости за дело рук своих. Не мог я удержаться и от того, чтобы не послать вдогонку старику прощального привета в виде особенно душераздирающих вариаций. Он скрючился пополам, как большой складной нож, и в следующий раз расстался со своим ложем страданий уже навсегда — в металлическом гробу.

В конце концов моя страсть к аккордеону изжила себя, испарилась, и я был очень рад, когда почувствовал, что свободен от ее нездорового влияния. Пока эта зараза сидела во мне, я был неким живым передвижным бедствием; куда бы я ни пошел, несчастья и запустение следовали за мной по пятам. Я разрушал семейные очаги, я изгонял веселье, я превращал грусть в отчаяние, я торопил недужных к преждевременному концу и даже, боюсь, нарушал покой мертвецов в могилах. Я причинил неисчислимый вред, неопишуемые страдания окружающим своей жуткой музыкой, но во искупление всего этого я сделал и одно доброе дело, внушив тому усталому старцу желание переселиться в свой последний приют.

Однако я извлек и некоторую пользу из этого аккордеона, потому что, пока я упражнялся на нем, я ни разу не платил за квартиру, — хозяевам всегда было достаточно того, что я съеду до истечения месяца.

Так вот, все это я написал, имея в виду две цели: во-первых, примирить людей с несчастными горемыками, которые чувствуют в себе музыкальный талант и еженощно сводят с ума своих соседей, пытаюсь вынырнуть и развить его; во-вторых, я хотел подготовиться должным образом к рассказу О Маленьком Джордже Вашингтоне, Который Не Умел Лгать, и о Яблоне — или там Вишне, — не помню точно, хотя мне только вчера рассказали этот замечательный случай. Однако, пока я писал столь длинное и всесторонне разработанное вступление, я позабыл суть этого рассказа; но уверяю вас, он очень трогательный.

РАССКАЗ О ДУРНОМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим.

Не было у него большой матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни — ни чахотки, ни чего-либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком.

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех! Куда попадает дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери, полный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она

благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе. Варенье он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он добавил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что «старуха взбесится и взвоят», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его, — и плакать пришлось ему, а не ей.

Да, удивительно странный мальчик был этот Джим: с ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках.

Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного! Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история! Некогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь.

Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорченный учитель обвинил в краже его и уже взмахнул розгой, собираясь пустить ее на его дрожащие плечи, — не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья и не сказал, став в позу: «Не трогайте Этого благородного мальчика! Вот стоит трепещущий от страха преступник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и, никем не замеченный, видел, как была совершена кража!» Нет, ничего этого не было, и Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставления проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды и поэтому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так бывает в книгах, а с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело, и пай-мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что «терпеть не может слюнтяев». Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка!

Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке — и не утонул! А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но, хотя и был застигнут грозой, молния не поразила его! Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего рождества — не найдете ни одного такого случая! Никогда! Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной.

Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной настойкой — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую

сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить! — девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька.

В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью разможил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.

Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка ворожит, везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ.

МАК-ВИЛЬЯМСЫ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ ВОРОВ

Сперва беседа текла легко и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от видов на урожай — к изящной словесности, от изящной словесности к сплетням, от сплетен к религии. Потом, сделав рывок, мы каким-то образом завели речь об автоматической сигнализации от воров и тут мистер Мак-Вильямс начал горячиться. Когда я вижу, что мистер Мак-Вильямс горячится, я сразу умолкаю и даю ему излить свои чувства. Вот что он рассказал мне, с трудом справляясь с охватившим его волнением:

— Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее ломаного гроша. Сейчас я вам расскажу — почему. Когда постройка нашего дома шла к концу, выяснилось, что у нас осталось немножко денег, — уж не знаю, как водопроводчики их проморгали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников, — у меня всегда была слабость к язычникам, — но миссис Мак-Вильямс заявила, что хочет поставить в доме сигнализацию от воров. Пришлось пойти на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, а миссис Мак-Вильямс другого и мы решаем поступить так, как хочется миссис Мак-Вильямс, — а мы всегда решаем только так, — это называется у нас «пойти на компромисс». Так вот, приехал специалист из Нью-Йорка, установил сигнализацию, взял триста двадцать пять долларов и отбыл, заверив нас, что теперь мы можем спать спокойно. И действительно, мы спали спокойно около месяца. Однажды ночью запахло дымом, и я получил приказ встать и выяснить, в чем дело. Я зажег свечку, пошел к выходной лестнице и встретил там грабителя, который уносил корзину с нашей оловянной посудой (в темноте он принял ее за столовое серебро). Он курил трубку.

Я сказал:

— Друг мой, мы не разрешаем курить в комнатах.

Он ответил, что впервые в доме и не знает, какие у нас правила. Он добавил, что бывал в домах не хуже нашего и ни разу никто не запрещал ему курить в комнатах, Он сказал также, что, насколько ему известно, подобные правила вообще не относятся к грабителям.

Я сказал:

— Если так, курите на здоровье, хотя я лично сомневаюсь, что в правилах, которым подчиняется даже епископ, нужно делать исключения для грабителя. Поступать так — значило бы подрывать нравственность. Однако ближе к делу. Как вы смели залезть в дом тайным, недозволенным образом, не давши сигнала против воров?

Он заметно смутился и сказал виновато!

— Тысяча извинений! Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то непременно воспользовался бы ею. Умоляю вас никому не рассказывать о моем проступке, у меня старики родители, и если они узнают, сколь грубо я нарушил священные традиции нашей христианской цивилизации, это может роковым образом ускорить их переход из сей земной юдоли в великие и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спички?

Я сказал:

— Ваши чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите критическое замечание, метафоры вам не даются. Чиркать о подметку бесполезно, эти спички загораются, только когда вы чиркаете о коробок, да и то реже, чем хотелось бы. Вернемся к нашему разговору. Как вы сюда попали?

— Через окно на втором этаже.

Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, пожелал ему спокойной ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмаршалу. Наутро мы вызвали специалиста из Нью-Йорка. Он приехал и разъяснил нам, что сигнального звонка не было потому, что сигнализация проведена только на первом этаже. Ничего глупее я в жизни не слышал. Это все равно что идти в бой, надев латы только на ноги. Специалист провел автоматическую сигнализацию от воров на втором этаже, получил свои триста долларов и удалился.

Немного спустя, проходя ночью по дому, я встретил на третьем этаже грабителя, который, нагрузившись нашим добром, готовился спуститься по приставной лестнице. Сперва я решил пробить ему череп бильярдным кием, но потом, увидев, что вор занимает позицию между мной и стойкой для киев, счел более правильным пойти на соглашение. Я выкупил у него наши вещи по узаконенной таксе минус десять процентов за пользование хозяйской лестницей. Наутро мы снова послали за специалистом и за триста долларов провели сигнализацию на третьем этаже.

К этому времени наш сигнализационный указатель достиг неслыханных размеров. Это был щит на сорок семь «точек», с обозначением всех комнат и печных труб в доме. Его можно было принять за гардероб средней величины. В изголовье нашей кровати был установлен сигнальный гонг размерами с умывальный таз. Из дому к спальне кучера в конюшне шел электрический провод, а над подушкой у кучера висел второй гонг, не менее внушительного вида.

Теперь все было в порядке, если не считать небольшого упущения: ровно в пять часов утра, когда кухарка открывала кухонную дверь, чтобы растопить плиту, гонг начинал звонить. Когда это случилось первый раз, я решил, что настало светопреставление. Не думайте, что я пришел к этой мысли лежа в постели. При первом же ужасающем звуке гонга вы вылетаете из постели и несетесь по дому, как вихрь, пока не врежетесь в стенку. После этого вас словно скручивает, и, пока кто-нибудь не захлопнет кухонную дверь и не выключит сигнализацию, вы извиваетесь всем телом, подобно пауку, попавшему на горячую вьюшку. Если хотите знать мое искреннее мнение, на свете нет другого звона, который хоть отдаленно напоминал бы звон этого гонга.

То, что я вам описал, происходило каждый божий день ровно в пять часов утра и обходилось нам всякий раз в три часа мучительной бессонницы, потому что сказать об этом гонге, что он пробуждает ото сна, — значит, ничего не сказать: он пробуждает тело, и душу вашу, и угрызения совести. Можете быть спокойны, что, услышав этот звон, вы будете бодрствовать восемнадцать часов подряд, будете так бодрствовать эти восемнадцать часов, как не бодрствовали еще ни разу в жизни. Однажды посторонний человек скончался у нас на руках, и мы ушли к соседям, оставив его тело на ночь в нашем доме. Быть может, вы думаете, что умерший дожидался дня Страшного суда? Нет, сэр, он восстал из мертвых ровно в пять часов на следующее утро самым поспешным и непринужденным образом. Я знал это наперед, меня можно было не

предупреждать. Он жил потом припеваючи. Получил страховую премию в бесспорном порядке, потому что кончина его была засвидетельствована.

Мы приближались быстрым шагом к могиле — так истощила нас бессонница. Не оставалось ничего другого, как снова вызвать специалиста. Он приехал, вывел провод за кухонную дверь и установил переключатель, чтобы отсоединять сигнализацию. На беду, Томас, камердинер, всегда делал одну и ту же крошечную ошибку: вечером, идя спать, он отключал сигнализацию, а утром, как раз к приходу кухарки, включал ее, — и с первым же ударом гонга мы опять проносились по дому, выдавливая стекла на своем пути. К концу недели стало ясно, что переключатель — это ловушка для простофиль. Попутно выяснилось также, что у нас в доме обосновалась целая банда грабителей. Они поселились не с тем, чтобы нас грабить, — к этому времени дом уже был почти пуст, — а чтобы скрываться от полиции. Сыщики шли за ними по пятам, и они здраво рассудили, что в доме, оборудованном самой усовершенствованной сигнализацией от воров во всей Америке, их будут искать в последнюю очередь.

Ничего не оставалось, как снова послать за специалистом. На этот раз его осенила гениальная идея: он установил переключатель таким образом, что, открывая кухонную дверь, вы в то же время отсоединяли сигнализацию. Гениальность пришлось оплатить сторицей. Что же получилось? Вечером, не полагаясь более на неустойчивую память Томаса, я сам включал сигнализацию, но вслед за тем, как только в доме гасили свет, грабители запросто заходили в кухню и отсоединяли сигнализацию, не дожидаясь прихода кухарки. Мы попали из огня да в полымя. Месяцами мы не могли приглашать гостей, так как на всех кроватях в доме дремали грабители.

В конце концов я набрел на разумную мысль. Вызванный по моему требованию специалист отвел сигнализационный провод в конюшню и там же установил переключатель. Теперь кучер сам включал и выключал сигнализацию. Новая система работала идеально, мы снова вкусили мир, приглашали гостей и наслаждались жизнью.

Но с течением времени неукротимая сигнализация от воров придумала новый выверт. В одну прекрасную зимнюю ночь мы были выброшены из постели страшными звуками гонга. Добредши до указателя, мы зажгли газовый рожок и прочитали слово «Детская». Миссис Мак-Вильямс тут же свалилась замертво, я сам с трудом сохранил самообладание. Под ужасающий звон гонга я стоял, сжимая в руках дробовик, и ждал, пока встанет кучер. Я знал, что гонг уже поднял его и он выбежит с ружьем, как только оденется. Я выждал, сколько требовалось, прокрался в соседнюю комнату и, выглянув в окно, увидел во дворе смутный силуэт кучера, стоявшего с ружьем наизготовку, чтобы стрелять по первому моему знаку. Тогда я ворвался в детскую и открыл огонь. Кучер выпалил немедленно вслед за мной, целясь в блеснувшее пламя моего дробовика. Оба выстрела были высоко результативными: я искалечил няньку; кучер опалил волосы у меня на затылке. Мы зажгли свет и вызвали по телефону хирурга. Грабителей в доме не оказалось, все окна были на запоре. В одном, правда, не было стекла, но виною была пуля кучера. Мы снова стояли перед неразрешимой тайной: гонг забил тревогу в полночь без всякого видимого повода, воры не обнаружены.

Специалист прибыл по вызову, как обычно, и разъяснил, что происшедшее было «ложной тревогой». Он сказал, что беда невелика, произвел капитальный ремонт сигнализации в окне детской комнаты, получил следуемое вознаграждение и отбыл.

Что мы вытерпели от «ложных тревог» в последующие три года — не опишет ни одно перо. Первые три месяца я мчался с дробовиком в руках к комнате, обозначенной на указателе, а кучер оказывал мне вооруженную поддержку со двора. Всякий раз выяснялось, что стрелять не в кого и все окна на запоре. На следующее утро мы посылали за нашим специалистом, он ремонтировал проводку то в той, то в другой комнате, утихомиривал их на недельку-другую и присылал нам счет примерно такого содержания:

Провод
Изоляторы

Два часа работы
Воск
Лента
Шурупы
Перезарядка батареек
Три часа работы
Шнур
Смазка
Пондовский экстракт
Пружины, по 50 центов штука
Железнодорожные расходы
Итого 19.77

Дело пришло к естественной развязке: после трехсот или четырехсот «ложных тревог» мы перестали обращать на них внимание. Сброшенный с кровати ударом гонга, я не спеша поднимался на ноги, не спеша отключал очередную комнату от сигнализационного провода и шел досыпать. Скажу больше, раз отсоединив комнату, я больше не подключал ее вообще и даже не думал посылать за специалистом. Нетрудно догадаться, что через некоторое время я отсоединил все комнаты в доме от сигнализации, и она прекратила свое действие.

Именно в это время, когда мы оказались совсем без защиты, случилось самое страшное. Однажды ночью пришли воры и украли сигнализацию от воров — да, сударь, украли ее начисто, целиком и полностью, не забыв ни единой мелочи. Они унесли пружины, звонки, гонги, батареи, полтора метра медного провода, не оставили даже самого маленького винтика, чтобы нам было что проклинать (я имею в виду: вспоминать с благодарностью).

Получить ее от воров обратно было нелегко, но в конце концов я добился этого — не бесплатно, разумеется. Представитель фирмы, которая ставила нам сигнализацию, заявил, что он рекомендует поставить ее вновь, дополнив аппаратуру новейшими усовершенствованиями — патентованными пружинами в окнах против «ложных тревог» и патентованным часовым механизмом, который автоматически включает сигнализацию вечером и отключает утром. Нам понравилось это предложение.

Пообещав закончить проводку за десять дней, монтеры приступили к работе, а мы уехали на летний отдых. Проработав два или три дня, они тоже уехали на летний отдых. Тогда в дом въехали грабители и приступили в свою очередь к летнему отдыху. Когда к началу осени мы вернулись, дом был пуст, как холодильник с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры. Мы обставили дом заново и спешно послали за нью-йоркским специалистом. Он приехал, закончил проводку сигнализации и сказал:

— Этот часовой механизм будет подключать сигнализацию каждый вечер в десять часов и отключать ее утром, без четверти шесть. Все, что от вас требуется, — это заводить его раз в неделю, остальное он возьмет на себя.

Три месяца мы жили, как в раю. Фирма, разумеется, предъявила огромный счет, но я сказал, что оплачу его не ранее, чем уверюсь, что сигнализация работает безупречно. Я назначил им трехмесячный срок. После этого я оплатил счет. На следующий день, ровно в десять часов утра, сигнальный гонг загудел, как десять тысяч пчелиных ульев. Ознакомившись с инструкцией, я перевел стрелки на циферблате часового механизма на двенадцать часов вперед и выключил сигнализацию. Ночью произошла вторая осечка, я передвинул стрелку еще на двенадцать часов вперед — на этот раз, чтобы включить сигнализацию. Так шло неделю или две. Потом приехал нью-йоркский специалист и заменил часовой механизм. В дальнейшем он приезжал менять часовой механизм каждые три месяца, но делу не помог. С необъяснимым коварством этот механизм включал сигнализацию днем и отказывался включать ее ночью, а если мы вставали с

постели, чтобы включить сигнализацию без его помощи, он тут же отключал ее снова, стоило отойти на два шага.

Такова история нашей автоматической сигнализации от воров. Я рассказал вам все в точности, как было, ни слова не придумал, ничего не преувеличил. Так вот, сударь, проспавши девять лет в одном доме с грабителями, оплачивая все эти годы сигнализацию от воров, чтобы оберегать воров, — оплачивая из собственного кармана, потому что с них, как вы понимаете, я не получил даже ломаного гроша, — я пришел к миссис Мак-Вильямс и сказал ей, что сыт, сыт по горло. Заручившись ее согласием, я снял сигнализацию прочь, выменял ее на собаку и пристрелил собаку. Не знаю, как вы, мистер Твен, а я считаю, что все эти сигнализации изобретены специально на пользу ворам. Пожар, бунт и гарем взятые вместе — вот что такое сигнализация от воров, но пожар, бунт и гарем имеют наряду с отрицательными чертами и некоторые положительные, а сигнализация от воров их не имеет. Будьте здоровы. Мне сходить.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕЧЕЙ

(Послеобеденная речь)

Как и многие добропорядочные люди, я произнес на своем веку немало речей. И подобно иным грешникам, то и дело давал себе слово исправиться, клятвенно обещая — обычно под Новый год — не произнести больше ни одной речи. Я убедился, что такая клятва служит довольно сносно, пока она новая; стоит ей поизноситься и обветшать от постоянного употребления, как она уже трещит по всем швам; малейшее усилие — и она лопается.

И вот в прошедшую новогоднюю ночь я подкрепил свое слово, пообещав себе, что, если нарушу зарок, наложу на себя штраф, причем такой крупный, что это позволило мне продержаться до сегодняшнего дня. Хотя сейчас я снова впадаю в грех, — надеюсь, больше этого не случится, так как через десять дней сумма удваивается. Я вижу вокруг знакомые скорбные лица бедных страдальцев, ставших жертвой пагубной страсти произносить речи, — бедных собратьев по несчастью, которые, находясь в жестоких тисках этого низменного всеразрушающего порока, с годами ослабели в неравной борьбе с ним и уже не надеются на победу. К ним обращаюсь я в этой своей последней речи. Не сдавайтесь ни в коем случае, еще не все потеряно! Умоляю вас, клянитесь снова и не жалейте денег. Конечно, это относится не ко всем: есть среди вас и неисправимые — те, кто уже привык к успеху, к восхитительному опьянению, вызываемому аплодисментами, и уже не может сейчас или в будущем отказаться от своего предосудительного образа жизни. Они в совершенстве постигли тонкое искусство произносить речи и больше не испытывают мучительной застенчивости, неуверенности и боязни провала — чувств, которые одни только и способны пробудить у оратора желание исправиться. Эти люди стали мастерами своего дела после долгих наблюдений и многих неудач; теперь-то они знают, что подлинный экспромт всегда хуже и бледнее заранее придуманного; знают, что наибольший успех ожидает ту речь, которая тщательно подготовлена в тиши кабинета и отшлифована перед гипсовым бюстом, пустым креслом или любым другим ценителем, готовым сохранять спокойствие, пока оратор не добьется своего и не придаст будущему экспромту должного правдоподобия. Специалисты это умеют. Неплохо действуют вкрапленные кое-где, якобы случайно, грамматические погрешности, — часто они рассеивают подозрения скептически настроенных слушателей. Такие ошибки заранее расставляют по местам; ведь истинно случайные ошибки не помогут, они наверняка окажутся там, где не надо. Кроме того, опытный оратор оставляет кое-где пробелы, — оставляет, чтобы заполнить их подлинными экспромтами, которые подбавят в его речь естественности, не нарушив ее общего направления. На банкете, слушая других ораторов, он придумывает остроты в ответ на их замечания и методично вставляет эти остроты в пробелы для экспромтов. Когда такому специалисту

предоставляют слово, он поднимается и оглядывается вокруг с видом крайнего изумления. Непосвященные не понимают, в чем тут дело, посвященным же все ясно.

Посвященные знают, что произойдет. Когда стихнут аплодисменты и топот, этот ветеран скажет: «Господин председатель, поскольку час поздний, я не хотел изменять своему решению, принятому в начале вечера: если мне вдруг дадут слово, просто подняться, поблагодарить за честь и уступить место более достойным — тем, кому есть что сказать. Но, сэр, меня, так потрясло замечание генерала Смита о падении нравственности, что...» и т. д. и т. п. И не успеете вы оглянуться, как от комплиментов генералу он незаметно переходит к своей заранее составленной речи, и вы, хоть убей, не припомните, где и когда он сумел связать их воедино. И вот он уже парит на крыльях превосходно тренированной памяти, чуть грешит против правил грамматики здесь, якобы ненарочно повторяется там, нет-нет ловко разыгрывает легкое замешательство, кое-где запинается и заикается в поисках нужного слова, отвергает одно, другое, наконец находит подходящее, единственное в своем роде, и произносит его с довольным видом человека, который вышел из затруднительного положения лишь по счастливой случайности — и даже на сотню долларов не променял бы эту случайность; и всю речь он пересыпает остротами, касающимися предыдущих выступлений. Наконец, уже опускаясь на место, он с величайшим искусством вдруг спохватывается, будто его осенило, наклоняется над столом и пускает последний фейерверк, который затмевает своим блеском звезды на небесах и заставляет всех рты разинуть от восхищения. Между тем и фейерверк и пауза — результат примерно недельной тренировки.

Таких людей, увы, не исправишь. Это еретики, самозабвенно преданные своей ереси. Оставьте их в покое. Но встречаются ораторы, которые еще поддаются исправлению. Ораторы, выступающие действительно экспромтом. Я имею в виду человека, который «не ожидал, что ему дадут слово, и не подготовился» — и тем не менее ковыляет в попискивает, полагая, что непредумышленное преступление ему не поставят в вину. То и дело он заявляет: «не смею вас дольше задерживать», поминутно повторяет: «еще одно слово и я кончаю», — но тут же вспоминает что-либо несущественное и продолжает говорить. Этот человек понятия не имеет, как долго мелет его мельница. Ему нравится ее скрип, вот он и скрипит, и слушает сам себя, и наслаждается, не замечая, как летит время; когда же наконец он садится и заглядывает в закрома, то с величайшим удивлением обнаруживает, как ничтожно мало муки намолот и как бессовестно долго ее перемалывал. Обычно выясняется, что он ничего не сказал, — открытие, неизбежное для неподготовленного оратора, которое, к несчастью, он делает последним из присутствующих.

Этого человека еще можно исправить. Так же как и его ближайшего родственника, с которым, помнится, мне приходилось встречаться, — оратора, который запасается двумя-тремя вступительными фразами, рассчитывая, что остальные посыплются на него, как манна небесная, и он подхватит их на лету. Как правило, его ждет разочарование. Нетрудно догадаться, где кончается заготовленное им вступление и начинается экспромт. Иногда такое вступление сооружается на самом банкете; оно может состоять из десятка фраз, но чаще их всего две, а еще чаще — это одно-единственное изречение; но оно сразу же показалось таким удачным, ярким, бьющим в точку и остроумным, что создатель его, счастливец, снесший это золотое яичко, удовлетворенно кудахчет над ним, и лелеет его, и полирует, и мысленно потирает руки, представляя себе, как прекрасно все получится, хотя, конечно, лучше бы ему снести не одно яйцо, а несколько, даже полную корзину, если бы повезло; ведь он-то воображает, будто стоит ему произнести вслух свой шедевр, как раздастся такой оглушительный взрыв аплодисментов, что это вдохновит его на новые идеи, облеченные в блестящую форму, и, следовательно, речь, сказанная экспромтом, окажется безмерно прекраснее, чем любая другая, составленная заранее.

Но существуют две опасности, которые он упускает из виду: во-первых, тот исторический факт, что человеку ни за что не дадут слова, когда он на это рассчитывает, и что каждое новое

выступление других ораторов все более охлаждает его пыл; во-вторых, он забывает, что немисливо битый час сидеть и повторять про себя удачное выражение без того, чтобы оно не прискучило и постепенно не потеряло своей прелести.

Когда наконец настает его черед и он выпаливает давно взлелеенную фразу, она звучит до того беспомощно и жалко, что всем становится неловко, и аплодируют ему лишь из сострадания; сам же он с болью и горечью думает, как несправедливо называть свободной страну, где порядочному человеку даже выругаться не дозволено. И вот тут, растерянный, обескураженный и опустошенный, он, запинаясь, переходит к собственно экспромту, выжимает из себя две-три невероятно плоских остроты к плюхается на место, бурча себе под нос: «Хоть бы мне провалиться в...» Он не уточняет, куда именно. Сосед слева замечает: «Вы очень хорошо начали»; сосед справа говорит: «Мне понравилось ваше начало»; сидящий напротив поддакивает: «Начало действительно удачное, даже очень»; двое-трое других тоже бормочут что-то в этом роде. Люди считают своим долгом облегчать таким способом страдания больного. При этом они полагают, даже не сомневаются, что льют бальзам, хотя на самом деле только сыплют соль на его раны.

ЭПИДЕМИЯ

Мы еще не осознали до конца величину катастрофы, постигшей нашу страну в связи со смертью Чарльза Диккенса. Избрав в качестве предлога покойного беднягу Диккенса, Америку теперь заговорят до смерти всевозможные проходимцы-лекторы и чтецы. Любой бродяга, едва разбирающий по складам, будет терзать публику «чтениями» из «Пиквика» и «Копперфилда»; любое ничтожество, которое обрело какие-то человеческие черты благодаря мимолетной улыбке или доброму слову великого писателя, превратит каждое священное воспоминание в предмет торговли, постарается как следует заработать на нем. Толпы этих счастливых будут осаждать лекционные кафедры. Первые признаки этого мы уже наблюдаем.

Смотрите, вороны уже закружили над мертвым львом и готовятся пировать.

«Рассказ о Диккенсе» — лекция Джона Смита, который восемь раз слышал выступления писателя.

«Воспоминания о Чарльзе Диккенсе» — лекция Джона Джонса, видевшего Диккенса один раз в вагоне конки и два раза в парикмахерской.

«Памятные встречи с мистером Диккенсом» — лекция Джона Брауна, известного своими иступленно хвалебными статьями и восторженными речами по поводу выступлений великого писателя; ему довелось пожимать руку Диккенсу и несколько раз с ним беседовать.

«Отрывки из произведений Диккенса» — исполнитель Джон Уайт. Посещая все выступления великого романиста, он в совершенстве усвоил стиль его речи и манеру говорить, ибо каждый раз, вернувшись домой, он под свежим впечатлением старательно воспроизводил все наиточнейшим образом. После чтения отрывков мистер Уайт продемонстрирует присутствующим окуроч сигары, которую курил при нем однажды мистер Диккенс. Эта реликвия хранится у него в специально изготовленном ларце из чистого серебра.

«Взгляды и высказывания великого писателя» — общедоступная лекция Джона Грэя, официанта, обслуживавшего Диккенса в нью-йоркском «Гранд-отеле». После лекции Джон Грэй представит на всеобщее обозрение кусочек от того ломтика хлеба, который покойный романист ел во время своей последней трапезы в нашей стране.

«Незабываемые, бесценные минуты с покойным королем литературы» — лекция мисс Сирины Амелии Триффени Макспаден, которая носит не снимая — и будет вечно носить — перчатку на руке, ставшей святыней благодаря рукопожатию Диккенса. Только смерть разлучит мисс Макспаден с этой перчаткой!

«Отрывки из произведений Диккенса» — исполнительница миссис Дж. О'Хулиген Мэрфи, прачка, стиравшая белье Диккенса.

«Интимные беседы с великим писателем» — лекция-рассказ Джона Томаса, который во время пребывания Диккенса в Соединенных Штатах две недели был его камердинером.

И так далее в том же духе. Впрочем, я не перечислил даже и половины. Например, требует слова человек, хранящий у себя «зубочистку, которой Чарльз Диккенс ковырял однажды в зубах», и человек, «ехавший как-то раз в omnibusе с Чарльзом Диккенсом», и дама, которую Чарльз Диккенс «великодушно защитил от дождя своим зонтиком», и особа, которая хранит у себя «дырку от носового платка Чарльза Диккенса».

Терпение и кротость, добрые люди, ибо я назвал еще далеко не все, что вам предстоит вынести этой зимой! Каждый, кто случайно столкнулся с Диккенсом или перекинулся с ним двумя-тремя банальнейшими словами, будет рваться к трибуне и насиловать своими излияниями слух незащитных соотечественников. Для иных людей встреча с гением просто губительна.

ДНЕВНИК АДАМА

Фрагменты

Понедельник. — Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится: я не привык к обществу. Шло бы себе к другим животным... Сегодня пасмурно, ветер с востока, думаю — мы дождемся хорошего ливня... Мы? Где я мог подцепить это слово?.. Вспомнил — новое существо пользуется им.

Вторник. — Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему? Никому не известно. Говорит, что оно так выглядит. По-моему, это еще недостаточное основание. На мой взгляд, это какая-то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие-либо наименования чему-либо. Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз — один и тот же довод: это так выглядит. Взять хотя бы додо к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на додо, и сразу видно, «что он вылитый додо». Придется ему остаться додо, ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему — это же бесполезно! Додо! Од так же похож на додо, как я сам.

Среда. — Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду! Пусть! Лишь бы только оно не говорило! Но оно говорит не умолкая. Быть может, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу, Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса, и всякий непривычный звук, нарушающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко! Они все время звучат у меня за спиной, над самым ухом — то с одной стороны, то с другой, а я привык только к такому шуму, который доносится из некоторого отдаления.

Пятница — Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений, музыкальное и красивое:

Райский сад. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично — уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев, и скал, и открытых ландшафтов, и следовательно — это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в Ниагарский парк. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись:

ТРАВЫ НЕ МЯТЬ!

Я уже не так счастлив, как прежде.

Суббота. — Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» — это его словечко. Но оно стало и моим теперь, — да и немудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то!

Воскресенье. — Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет.

Понедельник. — Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала.

Вторник. — Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями:

К ВОДОПАДУ НА КОЗИЙ ОСТРОВ К ПЕЩЕРЕ ВЕТРОВ

Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт — это еще одно из ее изобретений, какое-то дикое, лишённое всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать, она и так одержима манией все разъяснять.

Пятница. — Теперь она пристаёт ко мне с другим: умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю — почему. Я всегда это делаю — мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок, — а ведь зачем-то он существует? Она утверждает, что его создали просто так — как носорогов и мастодонта, — чтобы придать живописность пейзажу.

Я переправился через водопад в бочке — это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей — она опять осталась недовольна. Я переплыл водоворот и стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию, — она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку.

Суббота. — Я сбежал во вторник ночью и все шел и шел — целых два дня, а потом построил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть следы, но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и которое она называет волком, явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предметов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегу, лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Вот, например: она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы поедать друг друга, — достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глупое рассуждение, потому что поедать друг друга — значит, убивать друг друга, то есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется «смертью», а смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Понедельник. — Кажется, я понял, для чего существует неделя: чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. По-моему, это очень правильное предположение... Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг... и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово.

Вторник. — Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте... Она пребывает в тревоге из-за сарыча, — говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей не удастся его выходить. По ее мнению, сарычу положено питаться падалью. Ну, ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем ниспровергнуть всю нашу систему в угоду сарычу.

Суббота. — Вчера она упала в озеро: гляделась, по своему обыкновению, в воду, и упала. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов, чему она, впрочем, не придает ни малейшего значения, так как что ни говори, а она все-таки просто-напросто дурочка. Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись, но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они холодные и скользкие, и оказывается, это не так уж приятно лежать среди них, особенно нагишом.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Вторник. — Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко.

Пятница. — Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится, — она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку, мне следовало быть осторожнее, — мое замечание только навело ее на мысль: она решила, что тогда ей легче будет выходить большого сарыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу.

Среда. — Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь — сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь другой

стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя, по обыкновению, друг с другом или просто грезя о чем-то, вдруг ни с того ни с сего все они начали издавать какой-то бешеный, ужасающий рев, в долине мгновенно воцарился хаос, и я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло: Ева вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть... Тигры съели мою лошадь, не обратив ни малейшего внимания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они съели бы и меня, замешкайся я там, но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился наутек... Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно, но она разыскала меня и тут. Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда, заявив, что это так выглядит. Правду сказать, я не огорчился, тогда увидел ее, потому что поживиться здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так голоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт... Она явилась задрапированная пучками веток и листьев, а когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швырнул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось видеть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. Невзирая на голод, я положил на землю надкушенное яблоко (оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда-либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел), собрал разбросанные листья в ветки и украсился ими, а затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав принести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличие и не выставлять себя подобным образом напоказ. Она сделала, как я ей сказал, после него мы пробрались в долину, где произошла битва зверей, раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них костюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не слишком удобно, но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только это и требуется... Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще одно: она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я.

Десять дней спустя. — Она обвиняет меня: говорит, что я виновник катастрофы! Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный плод — вовсе не яблоки, а лимоны! Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою невиновность, ибо я никогда не ел лимонов. Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет чисто иносказательный смысл, ибо под «лимонами» условно подразумевается все, что мгновенно набивает оскомину, как, например, плоские, избитые остроуты. При этих словах я побледнел, так как от нечего делать не раз позволял себе остроутить, и какая-нибудь из моих остроут действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевной считал их вполне острыми и свежими. Она спросила меня, не сострил ли я невзначай как раз накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное, хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал: «Какое удивительное зрелище являет собой вся эта масса воды, ниспровергающаяся сверху вниз!» И тотчас, подобно молнии, меня осенила блестящая остроута, и я позволил себе облечь ее мысленно в слова: «А ведь было бы еще удивительнее, если бы вся эта вода начала ниспровергаться снизу вверх!» Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха, — и в то же мгновение вся природа словно взбесилась, вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, спасая свою жизнь.

— Вот видишь! — сказала она с торжеством, — Так оно и есть. Именно подобные остроуты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон, потому что ими пользуются с сотворения мира.

Увы, по-видимому во всем виноват я! Лучше бы уж мне не обладать остроумием! Лучше бы уж эта блестящая остроута никогда не приходила мне в голову!

На следующий год. — Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, как я был в отлучке — расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырёх, — она сама нетвердо знает — где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по-моему, это заблуждение. Разница в размерах уже сама по себе служит доказательством того, что это какое-то новое существо, отличной от нас породы. Быть может, это рыба, хотя, когда я для проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила его, помешав мне, таким образом, довести эксперимент до конца и установить истину. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб, но ей, по-видимому, совершенно безразлично, что это такое, и она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор как у нас появилось это существо, ее словно подменили — с безрассудным упрямством она не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить — почему. Она повредила в уме — все признаки налицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает визг — просится, по-видимому, в воду. Она пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успокоить, и еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по-всякому ее жалеет, а из углублений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять начинает течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами, и это внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не лишились наших владений, она, случалось, таскала на руках маленьких тигрят и забавлялась с ними, но то была просто игра. Она никогда не принимала так близко к сердцу, если у тигрят после обеда делалось расстройство желудка.

Воскресенье. — По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыраться через нее, и это явно доставляет ей удовольствие. Она издает ртом какие-то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто кусает ее конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись.

Это наводит меня на размышления... Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. Нужно было бы устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь оказалось, что они наступают чрезвычайно вовремя.

Среда. — Нет, это не рыба. Я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем-нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз подирает по коже, а когда его убажуют — говорит «гу-гу». Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не птица, потому что не летает, и не лягушка, потому что не прыгает, и не змея, потому что не ползает, и я почти уверен, что это не рыба, хотя до сих пор не имел возможности установить, умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное вело себя подобным образом. Я сказал, что, по-моему, это какая-то загадка, но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, — совершенно не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое-то насекомое. Если оно подохнет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно поставлен в тупик.

Три месяца спустя. — Я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех ногах, ибо его передние ноги ненормально коротки, и от этого выдающаяся часть его туловища как-то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По своему сложению оно сильно напоминает нас, но его способ передвижения заставляет предполагать, что это существо не нашей породы. Длинные задние и короткие передние лапы указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых, но это, несомненно, совершенно особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают, а оно никогда этого не делает. В общем,

это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не был классифицирован. Поскольку он открыт мной, я считаю себя вправе приписать себе славу этого открытия, и наименовать его в мою честь — Кенгуру Адамовидное... Должно быть, оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто невероятно. Оно сейчас стало по крайней мере раз в пять крупнее, и если что-нибудь не по нем, производит раз в двадцать-тридцать больше шума, чем прежде. Применение силы не только не умиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отказаться от этой меры воздействия. Она успокаивает его с помощью убеждения или тем, что дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, меня не было дома, когда оно у нас появилось, и она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется неправдоподобным, чтобы это был один-единственный экземпляр на свете, но, по-видимому, это так. Я совершенно измучился — несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем поиграть (ведь тогда бы он наверняка немного угомонился и нам было бы легче его приручить), но так и не нашел ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, и что особенно странно — никаких следов. Оно не может не ходить по земле, хочет оно того или не хочет, как же тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без всякого толку. В них попались все как есть маленькие зверюшки, только не оно. И эти зверьки, как мне кажется, забирались в капканы просто из любопытства — поглядеть, для чего там поставлено молоко. Никто из них к нему и не притронулся.

Три месяца спустя. — Кенгуру все продолжает расти — это очень странно и внушает тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы, с той только разницей, что она гораздо тоньше и мягче и не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро сойду с ума от неслыханных, несуразных капризов и причуд этого не изученного наукой биологического уродца. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного, подобного ему... Но все напрасно. Это один-единственный экземпляр какой-то совершенно новой зоологической разновидности. Сомнения больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, полагая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые посочувствовали бы ему в его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его повадок и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей. Но это было ошибкой: он так испугался при виде кенгуру что с ним сделался припадок, и я понял — ему еще никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нечего и думать: чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ничтожный зверенок неистовствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом не хочет. По-моему, это очень жестоко и совсем непохоже на нее, — и все же, быть может, она права. Быть может, тогда это существо будет еще более одиноко, — ведь если уж я не мог найти другого, подобного ему, так разве ж оно найдет?

Пять месяцев спустя. — Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разновидность медведя, однако у него нет хвоста — пока во всяком случае — и нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти, и это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. Медведи теперь опасны (со времени катастрофы), и я бы не хотел, чтобы этот и впредь разгуливал где ему вздумается без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если она согласится выпустить медвежонка на волю, но ничего не вышло. Как видно, она хочет, чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем иной, пока не лишилась рассудка.

Две недели спустя. — Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен: у него только один зуб. И по-прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если у него будет полна пасть зубов, тогда — с хвостом или без хвоста — ему придется убраться отсюда восвояси. В конце концов медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы представлять опасность для окружающих.

Четыре месяца спустя. — Был в отлучке около месяца — ловил рыбу и охотился в местности, которую она, неизвестно почему, называет Бизон, — вероятнее всего, потому, что там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить: «паппа» и «мамма». Несомненно, это совершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, конечно, объясняться какой-то случайностью, и вполне допустимо, что они лишены всякого смысла и ровно ничего не обозначают, но тем не менее это все же нечто из ряда вон выходящее и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста — достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на Севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр, а тот, что у нас, несомненно будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе подобным. Решил отправиться не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник.

Три месяца спустя. — О, как утомительна была эта охота, а главное — как безрезультатна! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного! В жизни не видал, чтобы кому-нибудь так везло! А мне бы нипочем не заполнить этой твари, даже если бы я скитался по лесам еще лет сто.

На следующий день. — Я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но она по каким-то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет невознаградившей утратой для науки.

Старший стал более ручным теперь, научился смеяться и говорить, как попугай, — по видимому оттого, что он так много времени проводит в обществе попугая и к тому же обладает чрезвычайно развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в конечном счете окажется, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успело перебыть всем на свете, — всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает сырое мясо с каким-то серовато-желтоватым оттенком, а голова у него тоже необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель.

Десять лет спустя. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее — в Раю.

Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость нрава.

РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОДУШНЫХ ПОСТУПКАХ

Всю мою жизнь, начиная с детских лет, я имел обыкновение читать известного рода истории, написанные в своеобразной манере Премудрого Моралиста, ради их назидательности и удовольствия, которое мне доставляло это чтение. Истории эти всегда лежали у меня под рукой, и в те минуты, когда я думал о человечестве дурно, я обращался к ним, — и они разгоняли это чувство; в те минуты, когда я чувствовал себя бессердечным эгоистом, негодяем и подлецом, я обращался к ним, — и они говорили мне, как надо поступить, чтобы снова уважать себя. Много раз я жалел, что эти прелестные истории останавливались на счастливой развязке, и мечтал узнать продолжение увлекательной повести о благодетелях и облагодетельствованных. Это чувство росло в моей душе с такой настойчивостью и силой, что я, наконец, решился узнать сам, чем кончились эти истории. Я принялся за дело и после многих неусыпных трудов и кропотливых изысканий довел его до конца. Результаты я изложу перед вами, сопровождая каждую историю по очереди ее истинным продолжением, которое найдено и проверено мною...

БЛАГОДАРНЫЙ ПУДЕЛЬ

Сострадательный врач (который любил читать такие книжки), повстречав однажды бездомного пуделя со сломанной лапой, принес беднягу к себе домой, вправил и перевязал ему поврежденную лапу и, отпустив его на свободу, вскоре забыл о нем. Но каково же было его удивление, когда, отворив свою дверь в одно прекрасное утро, он нашел перед ней благодарного пуделя, терпеливо ожидавшего врача, в сопровождении другой бродячей собаки, у которой тоже была сломана лапа. Добрый врач немедленно оказал помощь несчастному животному, благоговейно преклоняясь перед неистощимой благостью и милосердием господина, который не пренебрег таким смиренным орудием, как бездомный пудель, для того чтобы укрепить... и т. д. и т. п.

Продолжение

На следующее утро сострадательный врач нашел у своих дверей двух собак, сияющих благодарностью, а с ними еще двух псов-калек. Калеки тут же были излечены, и все четыре отправились по своим делам, оставив сострадательного врача более чем когда-либо преисполненным благочестивого изумления. День миновал, наступило утро. Перед дверями сострадательного врача сидели теперь четыре побывавших в починке собаки, а с ними еще четыре, нуждавшиеся в починке. Прошел и этот день, наступило другое утро; теперь уже шестнадцать собак, из них восемь только что покалеченных, занимали тротуар, а прохожие обходили это место стороной. К полудню все сломанные лапы были перевязаны, но к благочестивому изумлению в сердце доброго врача невольно начали примешиваться кошунственные чувства. Еще раз взошло солнце и осветило тридцать две собаки, из них шестнадцать с переломленными лапами, занимавших весь тротуар и половину улицы; остальное место занимали зрители человеческой породы. Вой раненых собак, благодарный визг излеченных и комментарии зрителей производили большое, сильно действующее впечатление, но движение по этой улице прекратилось. Добрый врач послал заявление о выходе из числа прихожан своей церкви, чтобы ничто не мешало ему выражаться с той свободой, какая требовалась обстоятельствами. После этого он нанял двух хирургов себе в помощники и еще до темноты закончил свою благотворительную деятельность.

Но всему на свете есть предел. Когда еще раз блеснуло утро и добрый врач, выглянув на улицу, увидел несметное, необозримое множество воющих и просящих помощи собак, он сказал:

— Нечего делать, надо признаться, я был одурачен книжками; они рассказывают только лучшую половину истории и на этом ставят точку. Дайте-ка сюда ружье, дело зашло чересчур далеко.

Выйдя из дома с ружьем, он нечаянно наступил на хвост первому благодетельствованному пуделю, и тот немедленно укусил его за ногу. Надо сказать, что великое и доброе дело, которому посвятил себя этот пудель, пробудило в нем такой сильный и все растущий энтузиазм, что его слабая голова не выдержала и он взбесился. Через месяц, когда сострадательный врач в страшных мучениях погибал от водобоязни, он призвал к себе рыдающих друзей и сказал:

— Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории. Когда несчастный просит у вас помощи и вы сомневаетесь, к какому результату приведет ваша благотворительность, дайте волю вашим сомнениям и убедите просителя.

С этими словами он повернулся лицом к стене и отдал душу богу.

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Бедный и молодой начинающий литератор тщетно пытался пристроить куда-нибудь свои рукописи. Наконец, очутившись лицом к лицу со всеми ужасами голодной смерти, он рассказал свою печальную историю одному знаменитому писателю, прося у него совета и помощи. Этот великодушный человек немедленно отложил все свои дела и принялся за чтение одной из непринятых рукописей. Закончив это доброе дело, он сердечно пожал руку молодому человеку и сказал:

«Ваша рукопись не лишена интереса; зайдите ко мне в понедельник». В назначенное время знаменитый писатель с любезной улыбкой, но не говоря ни слова, развернул перед начинающим литератором еще влажный, только что вышедший из печати, номер журнала. Каково же было изумление бедного молодого человека, когда он увидел, что в журнале напечатано его собственное произведение.

— Как смогу я отблагодарить вас за этот благородный поступок! — произнес он, падая на колени и разражаясь слезами.

Знаменитый писатель был известный Снодграс; бедный начинающий литератор, таким образом спасенный от безвестности и голодной смерти, — не менее известный впоследствии Снэгсби. Пусть этот случай убедит нас благосклонно выслушивать всех начинающих, которые нуждаются в помощи.

Продолжение

На следующей неделе Снэгсби пришел с пятью отвергнутыми рукописями. Знаменитый писатель слегка удивился, так как в книгах он читал, что молодому гению помощь требуется обычно только один раз. Однако он перепахал и эти страницы, срывая по пути лишние цветы красноречия и расчищая заросли прилагательных, после чего ему удалось пристроить еще две рукописи.

Прошло около недели, и благодарный Снэгсби явился с новым грузом. Удружив на первый раз молодому страдальцу, знаменитый писатель чувствовал глубочайшее внутреннее удовлетворение, сравнивая себя с великодушными героями в книжках; однако он начинал подозревать, что наткнулся на что-то новенькое по части великодушных поступков. Его энтузиазм несколько поостыл. Все же он не в силах был оттолкнуть молодого автора, пробивающего себе дорогу, тем более что тот льнул к нему с такой наивной простотой и доверчивостью.

И вот дело кончилось тем, что молодой начинающий литератор скоро оседлал знаменитого писателя. Все его слабые попытки сбросить этот груз не приводили ни к чему. Он должен был ежедневно давать советы своему юному другу, ежедневно поощрять его; он должен был

пристраивать его рукописи в журналы, переписывая каждый раз все от слова до слова, чтобы предать вещи приличный вид. Когда наконец дебютант стал на ноги, он завоевал себе молниеносную славу, описав личную жизнь знаменитого писателя так саркастически и с такими язвительными подробностями, что книга разошлась во множестве экземпляров. И сердце знаменитого писателя не выдержало унижения. Испуская последний вздох, он сказал:

— Увы, книги обманули меня; они рассказывают не все. Берегитесь пробивающих себе дорогу литераторов, друзья мои. Кому бог уготовал голодную смерть, того да не спасет самонадеянно человек на свою же собственную погибель...

БЛАГОДАРНЫЙ СУПРУГ

Одна дама проезжала по главной улице большого города со своим маленьким сыном, как вдруг лошади испугались и бешено понесли, причем кучер был сброшен с козел, а седоки в коляске окаменели от страха. Но храбрый юноша, правивший бакалейным фургоном, бросился наперерез обезумевшим животным и остановил их на всем скаку, рискуя собственной жизнью*. Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героическом поступке своему мужу (который любил читать книжки), и он, проливая слезы, выслушал трогательный рассказ, а потом, возблагодарив совместно с дорогами его сердцу того, кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченным, послал за храбрым юношей и, вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал:

— Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюссон, и если вам понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макспадена бьется в груди благодарное сердце.

Пусть это научит нас, что благое дело всегда приносит пользу тому, кто его творит, какое бы скромное положение он ни занимал.

Продолжение

Уильям Фергюссон зашел через неделю и попросил мистера Макспадена воспользоваться своим влиянием и достать ему место получше, так как он чувствует себя способным на большее, чем править фургоном. Мистер Макспаден добыл ему место письмоводителя с хорошим жалованьем.

Вскоре заболела мать Уильяма Фергюссона, и Уильям... Ну, короче говоря, мистер Макспаден согласился взять ее к себе в дом. Прошло немного времени, и она стосковалась по своим младшим детям, так что Мэри и Джулию тоже взяли в дом, а также и Джимми, их маленького брата. У Джимми был перочинный ножичек, и в один прекрасный день он забрался в гостиную и менее чем в три четверти часа превратил мебель, стоившую десять тысяч долларов, в нечто, не имеющее определенной цены. Днем или двумя днями позже он упал с лестницы и сломал себе шею, и на похороны явилось человек семнадцать родственников. Так состоялось знакомство, и после этого кухня Макспаденов уже никогда не пустовала, а сами Макспаденны были заняты по горло, подыскивая им самые разнообразные занятия и опять подыскивая новые, когда эти им приедались. Старуха Фергюссон здорово пила и здорово ругалась, но благодарные Макспаденны знали, что должны терпеть и наставлять старуху, так как ее сын много для них сделал, и отдавали этому занятию все свои душевные силы. Уильям навещался частенько, получал деньги — раз от разу все меньше, и выпрашивал новые, более высокие и доходные должности, которые благодарный Макспаден старался ему выхлопотать как можно скорее. Макспаден согласился также, после некоторых колебаний, устроить Уильяма в колледж, но когда подошли первые вакации и наш герой попросил, чтобы его отправили в Европу для укрепления здоровья, затравленный Макспаден взбунтовался и восстал против своего тирана. Он отказал напрямик и наотрез. Мать Уильяма Фергюссона так изумилась, что выронила из

* Вероятно, опечатка. — М. Т.

рук бутылку с джином, и язык ее отказался сквернословить. Несколько оправившись, она произнесла задыхаясь:

— Так вот она какая, ваша благодарность? Где были бы ваша жена и ваш мальчик, если бы не мой сын? Уильям сказал:

— Так вот она какая ваша благодарность? Спас я вашу жену или нет? Скажите сами! Семеро родственников толпой ввалились из кухни, и каждый повторил:

— И это ваша благодарность?

Сестры Уильяма укоризненно глядели, говоря:

— И это его благ...

Но тут их прервала мать, которая воскликнула, разражаясь слезами:

— Подумать только, что мой невинный голубок Джимми погиб, оказывая услуги такой гадине!

Тогда мятежный Макспадден воспрянул духом и ответил, вспыхнув:

— Вон из моего дома, бродяги! Меня одурачили книги, но больше они меня не проведут — довольно и одного раза! — И, обернувшись к Уильяму, он воскликнул: — Да, вы спасли мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте!

Не будучи проповедником, я помещаю цитату в конце, а не в начале проповеди. Вот эта цитата из воспоминаний мистера Ноя Брукса о президенте Линкольне, напечатанных в «Скрибнерс монсли».

«Дж. Г. Гаккет в роли Фальстафа очень понравился м-ру Линкольну. Пожелав, как это было ему свойственно, выразить чувство признательности, Линкольн написал актеру очень сердечную записку, в которой сообщал о том удовольствии, с каким он смотрел спектакль. Гаккет послал в ответ какую-то книгу, возможно написанную им самим. Кроме того, он написал президенту несколько писем. Однажды вечером, довольно поздно, когда этот эпизод уже изгладился из моей памяти, я отправился по приглашению в Белый Дом. Проходя в кабинет президента я, к своему изумлению, заметил м-ра Гаккета, который сидел в приемной, очевидно ожидая аудиенции. Президент спросил меня, есть ли там кто-нибудь. Услышав ответ, он сказал довольно грустным тоном:

— О нет, я не могу его принять, не могу; я надеялся, что он уже ушел. — Потом он прибавил: — Это показывает, как трудно иметь добрых друзей и знакомых в моем положении. Вы знаете, мне очень нравился Гаккет как актер, и я написал ему об этом. В ответ он прислал мне книжку, и я думал, что этим все и кончится. Он как будто мастер своего дела и занимает в театре прочное положение. И вот, только потому, что между нами была дружеская переписка, какая возможна между любыми двумя людьми, он чего-то хочет просить у меня. Как вы думаете, что ему нужно?»

Я не мог угадать, и м-р Линкольн сказал:

— Он хочет быть консулом в Лондоне. О боже мой!..»

Скажу в заключение, что случай с Уильямом Фергюссоном действительно имел место и мне достоверно известен, хотя я изменил некоторые подробности, чтобы Уильям не был на меня в претензии.

Каждому читателю, я думаю, в какой-нибудь приятный и чувствительный час своей жизни случалось сыграть роль героя рассказов о великодушных поступках. Я хотел бы знать, многие ли из них согласились бы рассказать об этом эпизоде, и любят ли они, когда им напоминают о том, что из него воспоследовало.

ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА*

I

Следующую любопытную историю я услышал от одного случайного попутчика в поезде. Добродушная, кроткая физиономия и вдумчивая простая речь этого джентльмена, которому было за семьдесят, налагали печать непререкаемой истины на каждое слово, исходившее из его уст. Вот что он рассказал мне:

— Вам, наверное, известно, как почитают в Сиаме королевского белого слона. Вы знаете также, что владеть им может только король — это его священная собственность — и что в известной степени белый слон стоит выше короля, ибо мало того, что ему воздаются всяческие почести, — пред ним благоговеют. Так вот, пять лет тому назад между Великобританией и Сиамом возникли недоразумения по поводу пограничной линии, и, как сразу же выяснилось, Сиам был не прав. Англия немедленно получила следуемое ей удовлетворение, и ее представитель в Сиаме заявил, что, будучи вполне доволен исходом переговоров, он рекомендует предать недавние события забвению. Сиамский король облегченно вздохнул и, отчасти в знак признательности, а отчасти, может быть, для того, чтобы в Англии не осталось и тени недовольства им, решил преподнести королеве подарок, — ведь на Востоке не знают более верного способа умилостивить врага. Подарку надлежало быть поистине царским, а какое подношение более всего могло соответствовать этому требованию, как не белый слон? Я занимал тогда видный пост на гражданской службе в Индии и был сочтен наиболее достойным чести доставить этот дар ее величеству. Для меня самого и для моих слуг, для военной охраны и целого штата, приставленного к белому слону, снарядили корабль, и, прибыв в положенное время в Нью-Йоркскую гавань, я водворил своего подопечного вельможу в прекрасное помещение в Джерси-Сити. Эта остановка была необходима, ибо, прежде чем пускаться в дальнейший путь, слона следовало подлечить.

Первые две недели все шло прекрасно, а потом начались мои бедствия. Белого слона похитили! Глубокой ночью мне позвонили по телефону и сообщили об этом страшном событии. Несколько минут я был вне себя от волнения и ужаса, я чувствовал полную свою беспомощность; потом немного успокоился и собрался с мыслями. Мне стало ясно, что надо предпринять, и каждый разумный человек сделал бы на моем месте то же самое. Несмотря на поздний час, я немедленно выехал в Нью-Йорк и, обратившись к первому попавшемуся полисмену, попросил его проводить меня в главное управление сыскной полиции. К счастью, я поспел туда вовремя: начальник полиции, знаменитый инспектор Блант, уже собирался уходить домой. Инспектор оказался человеком среднего роста и плотного сложения; когда ему случалось задумываться над чем-нибудь, он хмурил брови и глубокомысленно постукивал себя указательным пальцем по лбу, и эта его привычка сразу же вселяла в вас уверенность, что вы имеете дело с незаурядной личностью. Только взглянув на него, я немедленно почувствовал к нему доверие и загорелся надеждой. Я изложил инспектору суть дела. Мои слова ни в коей мере не поколебали его железной выдержки — они произвели на него примерно такое же впечатление, как если бы я сообщил ему о пропаже собачки. Он знаком предложил мне сесть и сказал:

— Разрешите минутку подумать.

С этими словами инспектор сел за свой письменный стол и склонил голову на руки. В другом конце комнаты работали клерки; следующие шесть-семь минут я не слышал ничего,

* Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло подозрение, что некоторые подробности в рассказе преувеличены, а другие не верны. Я не успел доказать необоснованность этих обвинений, и книгу сдали в печать. — М. Т.

кроме скрипа их перьев. Инспектор сидел погруженный в глубокие думы. Наконец он поднял голову, и твердое, решительное выражение его лица сразу же показало мне, что мозг этого человека поработал не зря и что план действий уже составлен. Он начал негромким, но внушительным голосом:

— Да, это не совсем обычный случай. Надо действовать осмотрительно, надо быть уверенным в каждом своем шаге, прежде чем решаться на следующий. И тайна — глубочайшая, абсолютная тайна! Никому не рассказывайте о случившемся, даже репортерам. Предоставьте их мне. Они узнают только то, о чем я сочту нужным сообщить. — Он позвонил; появился молодой человек. — Элрик, пусть репортеры подождут. (Молодой человек удалился.) А теперь приступим к делу, и приступим методически. В нашем ремесле все построено на точности и скрупулезности метода.

Он взял перо и лист бумаги.

— Ну-с, так. Имя слона?

— Гассан-Бен-Али-Бен-Селим-Абдалла-Магомет-Моисей-Алхамалл-Джемсетдже-джибой-Дулип, султан Эбу-Будпур.

— Прекрасно. Уменьшительное?

— Джумбо.

— Прекрасно. Место рождения?

— Столица Сиама.

— Родители живы?

— Нет, умерли.

— Другие отпрыски имеются?

— Нет, он был единственным ребенком.

— Прекрасно. По этим пунктам сведений достаточно. Теперь будьте добры описать внешность слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначительной, — то есть незначительной с вашей точки зрения. Для человека моей профессии незначительных подробностей не существует.

Я исполнил просьбу инспектора; он записал все с моих слов. Когда я кончил, он сказал:

— Теперь слушайте. Если тут допущена малейшая неточность, поправьте меня. — И прочел следующее: — «Рост — девятнадцать футов; длина от темени до основания хвоста — двадцать шесть футов; длина хобота — шестнадцать футов; длина хвоста — шесть футов; общая длина, включая хобот и хвост, — сорок восемь футов; длина клыков — девять с половиной фунтов; уши — в соответствии с общими размерами; отпечаток ноги похож на след от бочонка, если его поставить стоймя в снег; цвет слона — грязно-белый; в каждом ухе — дырка для украшений размером с блюдце; слон обладает привычкой поливать зрителей водой, а также колотить хоботом не только знакомых, но и незнакомых; слегка прихрамывает на правую заднюю ногу; с левой стороны под мышкой у него небольшой рубец — след зажившего нарыва; в момент похищения на спине у слона была башня с сидячими местами на пятнадцать персон и чепрак из золотой парчи величиной с ковер средних размеров».

Никаких неточностей я не обнаружил. Инспектор позвонил, отдал это описание Элрику и сказал:

— Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземпляров и разослать во все имеющиеся в стране сыскные отделения и ссудные кассы.

Элрик удалился.

— Ну-с, так. Пока все идет прекрасно. Теперь мне нужен фотографический снимок вашей подвижности.

Я дал ему фотографию. Он посмотрел на нее критическим оком и сказал:

— Если лучшей нет, сойдет и эта. Только тут он подогнул хобот и забрал его в рот. Очень жаль! Это рассчитано на то, чтобы сбить с толку. Ведь вряд ли ваш слон всегда держит хобот в

таком положении. — Он позвонил. — Элрик, размножить этот снимок в пятидесяти тысячах экземплярах и разослать завтра с утра вместе с описанием примет.

Элрик удалился выполнять приказ. Инспектор сказал:

— Теперь, как водится, надо назначить вознаграждение. Ну-с, назовите сумму.

— А сколько вы посоветуете?

— Я бы начал... ну, скажем, с двадцати пяти тысяч долларов. Дело крайне трудное и запутанное. Воры найдут множество способов скрыться и спрятать покражу. У них повсюду есть соучастники и подручные.

— Боже милостивый! Так вы их знаете?

Настороженное выражение лица этого человека, привыкшего таить свои мысли и чувства, ничего не сказало мне, равно как и его спокойный ответ:

— Это не важно. Может быть, знаю, а может быть, и нет. Наши подозрения обычно строятся на данных о манере работы грабителя и о размерах его поживы. Можно твердо сказать, что на сей раз мы имеем дело не с карманником и вообще не с мелким воришкой. Тут орудовал не новичок. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное и учитывая предстоящие большие разезды и тщательность, с которой воры будут замечать свои следы, двадцати пяти тысяч, пожалуй, окажется маловато. Впрочем, думаю, что для начала хватит.

Итак, мы решили начать с двадцати пяти тысяч. Потом этот человек, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь, если она хоть в какой-то мере могла служить ключом к разгадке преступления, сказал:

— История сыска знает немало таких случаев, когда преступника изобличал его же собственный аппетит. Теперь расскажите мне, что ваш слон ест и в каком количестве.

— Ну, если говорить о том, что он ест, так он ест решительно все. Он способен сожрать человека, сожрать библию. Одним словом, он ест все, начиная с человека и кончая библией.

— Хорошо, превосходно. Но это слишком общее указание. Мне нужны подробности — в нашем ремесле больше всего ценятся подробности. Вы говорите, он любит человечину; так вот, сколько человек он может съесть за один присест или, если угодно, за один день? Я имею в виду — в свежем виде.

— А ему все равно, в каком они будут виде — в свежем или несвежем. За один присест он может съесть пять человек среднего роста.

— Прекрасно! Пять человек — так и запишем. Какие национальности ему больше по вкусу?

— Любые, он непривередливый. Предпочитает знакомых, но не брезгует и посторонними людьми.

— Прекрасно! Теперь перейдем к библиям. Сколько библий он может съесть за один присест?

— Весь тираж целиком.

— Это слишком неопределенно. Какое издание вы имеете в виду — обычное, in octavo, или иллюстрированное, для семейного чтения?

— По-моему, он равнодушен к иллюстрациям, то есть ему все равно что картинка, что текст.

— Нет, вы меня не так поняли. Я интересуюсь размерами. Обычное издание, in octavo, весит около двух с половиной фунтов, а большое, in quarto, с иллюстрациями — от десяти до двенадцати. Сколько библий с иллюстрациями Дорэ он съедает за один присест?

— Если б вы знали этого слона лично, вам бы не пришло в голову об этом спрашивать. Ему только дай — он все сожрет.

— Тогда переведем на доллары и центы. Этот вопрос надо уточнить. Библия с иллюстрациями Дорэ, в сафьяновом переплете и с серебряными наугольниками, стоит около ста долларов.

— Таких он съест тысяч на пятьдесят, то есть тираж в пятьсот экземпляров.

— Ну вот, это уже более или менее определено. Сейчас запишем. Прекрасно! Любит человечину и библии. Так. Что он еще ест? Я должен знать все до последней мелочи.

— Наевшись библий, он перейдет к кирпичам; наевшись кирпичей, он перейдет к бутылкам; наевшись бутылок, перейдет к тряпкам; наевшись тряпок, перейдет к кошкам; наевшись кошек, перейдет к устрицам; наевшись устриц, перейдет к ветчине; наевшись ветчины, перейдет к сахару; наевшись сахару, перейдет к пирогам; наевшись пирогов, перейдет к картошке; наевшись картошки, перейдет к отрубям; наевшись отрубей, перейдет к сену; наевшись сена, перейдет к овсу; наевшись овса, перейдет к рису — рисом его выкармливали с детских лет. Точнее говоря, нет такой вещи в мире, которую он бы не отведал, за исключением сливочного масла, — по той причине, что его в Сиаме не производят.

— Прекрасно. Общее количество потребляемого за один присест-приблизительно?..

— От двух с половиной центнеров до полутонны.

— А пьет он?

— Любое жидкое тело: молоко, воду, виски, патоку, касторку, скипидар, карболовую кислоту. Дальнейшее уточнение, по-моему, излишне. Можете внести в список любую жидкость, какая вам придет в голову. Он пьет все, что подходит под это определение, кроме европейского кофе, которого в Сиаме нет.

— Прекрасно! В количестве?..

— Пишите: от пяти до пятнадцати бочек — в зависимости от степени жажды. Что касается аппетита, то он неизменен.

— Случай действительно не совсем обычный. Тем легче будет выследить вашего слона. Он позвонил.

— Элрик, вызовите ко мне капитана Бэрнса. Вскоре появился Бэрнс. Инспектор Блант изложил ему дело во всех подробностях. Потом сказал голосом ясным и твердым, как и подобает человеку, который пришел к определенному решению и который привык распоряжаться:

— Капитан Бэрнс, командуйте сыщиков Джонса, Дэвиса, Хэлси, Бэйтса и Хеккета на розыски слона.

— Слушаю, сэр.

— Командуйте сыщиков Мозеса, Дэкина, Мэрфи, Роджерса, Таппера, Хиггинса и Бартоломью на розыски воров.

— Слушаю, сэр.

— В то помещение, откуда слон был похищен, поставьте сильную охрану из тридцати самых надежных агентов и выделите им на смену еще тридцать человек. Пусть несут караул день и ночь; без моего письменного разрешения никого туда не пускать, кроме репортеров.

— Слушаю, сэр.

— Вышлите сыщиков в штатском на все железнодорожные и речные вокзалы, паромы и шоссе-ные дороги, идущие от Джерси-Сити. Всех подозрительных лиц подвергать обыску.

— Слушаю, сэр.

— Раздайте сыщикам фотографии с подробным описанием слона и распорядитесь, чтобы они производили обыск в каждом поезде, на каждом пароме и на всех судах.

— Слушаю, сэр.

— Если слон будет обнаружен, пусть схватят его и дадут мне знать об этом телеграммой.

— Слушаю, сэр.

— Если кто-нибудь из них обнаружит ключ к разгадке преступления — следы животного или что-нибудь в этом роде, — пусть известит меня немедленно.

— Слушаю, сэр.

— Распорядитесь, чтобы отряды полиции патрулировали все набережные.

— Слушаю, сэр.

— Разошлите сыщиков в штатском по всем железнодорожным линиям: к северу — до Канады, к западу — до Огайо, к югу — до Вашингтона.

— Слушаю, сэр.

— Посадите наших агентов во все телеграфные конторы, пусть перлюстрируют каждую телеграмму и требуют расшифровки всех шифрованных депеш.

— Слушаю, сэр.

— Все эти мероприятия должны производиться в тайне; подчеркиваю: в строжайшей тайне.

— Слушаю, сэр.

— С рапортом являйтесь прямо ко мне в обычное время.

— Слушаю, сэр.

— Ступайте!

— Слушаю, сэр.

Он вышел.

Минуту инспектор Блант задумчиво молчал, и огонь, горевший в его глазах, потускнел и погас. Потом он повернулся ко мне и сказал спокойным, ровным голосом:

— Хвалиться я не люблю, это не в моих привычках, но слона мы найдем.

Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его, поблагодарил от всего сердца. Чем дальше, тем все больше и больше нравился мне этот человек и тем сильнее я дивился тайнам и чудесам его профессии. Расставшись с ним, я отправился к себе в гостиницу, и сердце у меня билось гораздо спокойнее, чем в те минуты, когда я шел в сыскное отделение.

II

На следующее утро все газеты были полны подробнейших описаний моего дела. Не было недостатка и в некоторых дополнительных материалах, а именно в изложении «версий» сыщиков, имярек, касательно того, при каких обстоятельствах произошла кража, кто были воры и куда они скрылись со своей добычей. Таких версий насчитывалось одиннадцать, и они предусматривали все возможные варианты похищения, что свидетельствовало о выдающейся оригинальности мышления сыщиков. Среди всех этих версий нельзя было найти даже двух схожих между собой; их объединяла лишь одна любопытная деталь, относительно которой все одиннадцать сыщиков придерживались одного мнения: они утверждали, что хотя задняя стена сарая была проломлена, а единственная его дверь так и осталась на запоре, все же слона вывели из сарая не через пролом, а через какое-то другое (не обнаруженное) отверстие. Воры проломили стену для того, чтобы направить сыщиков по ложному следу. Мне и другим непосвященным эта мысль никогда не пришла бы в голову, но сыщики не дали провести себя. Таким образом, в единственном пункте, который, на мой взгляд, был ясен и прост, я больше всего отклонялся от истины. Авторы одиннадцати версий называли предполагаемых воров, но среди названных имен не было и двух одинаковых; общее количество лиц, взятых на подозрение, равнялось тридцати семи. Газетные отчеты заканчивались суждением, самым веским из всех предыдущих. Оно принадлежало старшему инспектору Бланту. Привожу выдержку:

«Старший инспектор знает, что главарями этой шайки были Молодчик Даффи и Рыжий Мак-Фадден. О готовящемся покушении ему стало известно за десять дней, и он начал слежку за этими двумя известными преступниками.

К сожалению, в последующую ночь следы их были утеряны, и птичка, то есть слон, упорхнула. Даффи и Мак-Фадден славятся своей дерзостью. У инспектора есть все основания предполагать, что год назад именно они похитили в холодную зимнюю ночь печку из сыскного управления, вследствие чего и сам инспектор и все сыщики очутились к утру в приемном покое, кто с обмороженными руками, кто с обмороженными ногами, ушами, пальцами и тому подобное».

Прочтя первую половину сообщения инспектора Бланта, я еще сильнее, чем прежде, был поражен непостижимой мудростью этого загадочного человека. Он не только ясно читал в настоящем, но и проникал взглядом в будущее. Я немедленно отправился к нему в кабинет и сказал, что, по-моему, следовало бы арестовать этих людей заранее, не дожидаясь, когда они причинят столько хлопот и убытков. Но ответ инспектора был настолько прост, что я ничего не мог возразить ему:

— В наши обязанности не входит предупреждать преступление, мы наказываем за содеянное. Ты сначала соверши, а тогда мы тебя за руку схватим.

Я высказал далее сожаление, что тайна, которой мы с самого же начала окружили свои действия, сведена на нет газетами: они предали гласности не только факты, но и все наши планы и намерения и даже назвали по именам всех заподозренных лиц, которые теперь, без сомнения, примут меры, чтоб остаться неузнанными, или же постараются скрыться.

— Пусть! Когда ударит час, моя рука, как рука самой судьбы, настигнет их, где бы они ни прятались. Скоро им придется убедиться в этом. Что касается газет, то мы должны поддерживать с ними связь. Известность, слава, постоянное упоминание наших имен в печати — хлеб насущный для нас, сыщиков. Мы должны давать прессе фактический материал, иначе подумают, что у нас его нет; мы должны публиковать свои версии преступления, ибо на свете нет ничего более поразительного, чем домыслы сыщика, — ничто другое не вызывает к нему такого интереса и уважения. Мы должны сообщать в прессу о своих планах, ибо газеты настаивают на этом, а отказать — значит, обидеть. Читающая публика должна знать, что мы действуем, иначе у нее создается впечатление, что мы сидим сложа руки. Гораздо приятнее прочесть в газете: «Остроумная и неожиданная версия, выдвинутая инспектором Блантом, заключается в следующем», чем давать повод для неприятных или, что еще хуже, саркастических замечаний по нашему адресу.

— Ваши доводы вполне убедительны. Но, читая сегодняшние газеты, я заметил, что по одному, правда второстепенному, пункту вы отказались высказаться.

— Да, мы всегда так делаем. Это производит хорошее впечатление. Кроме того, я еще не составил мнения по этому пункту.

Я вручил инспектору солидную сумму денег на текущие расходы и стал ждать сообщений о розысках. По нашим расчетам, первые телеграммы должны были поступить с минуты на минуту. Чтобы не терять даром времени, я снова перечитал газеты, а также описание слона и на этот раз заметил, что вознаграждение в двадцать пять тысяч долларов предлагалось только сыщикам. Я сказал инспектору, что награду следовало бы предложить любому, кто найдет слона. Инспектор ответил:

— Слона найдут сыщики, поэтому вознаграждение достанется тому, кому следует. Если же ваше животное обнаружат посторонние, значит они подглядывали за нашими агентами и воспользовались имевшимися у них в руках путеводными нитями и уликами, а это опять-таки дает право на получение денег только сыщикам. Система наград существует для поощрения наших работников, которые отдают делу сыска все свое время и все свои знания, а не для того, чтобы одарять не по трудам и не по заслугам случайных лиц.

Его рассуждения показались мне довольно разумными. В эту минуту застучал телеграфный аппарат, стоявший в углу кабинета, и мы прочли следующую телеграмму:

«Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 7 ч. 30 м.

Напал на след. Обнаружил глубокие отпечатки ног на дворе фермы. Шел по ним две мили к востоку. Безрезультатно. Думаю, слон повернул к западу. Буду выслеживать его в этом направлении.

Сыщик Дарли».

— Дарли — один из наших лучших агентов, — сказал инспектор. — Подождите, скоро он опять даст о себе знать.

Пришла телеграмма № 2:

«Баркер, штат Нью-Джерси, 7 ч. 40 м.

Только что прибыл. Ночью разграблен стеклянный завод, похищено восемьсот бутылок. Единственный большой водный резервуар находится в пяти милях от поселка. Направляюсь туда. Слону захочется пить.

Бутылки были пустые.

Сыщик Бейкер».

— Многообещающее начало! — сказал инспектор. — Я же вам говорил, что аппетиты вашего слона дадут нам кое-какой материал в руки.

Телеграмма № 3:

«Тэйлорвилл, Лонг-Айленд, 5 ч. 15 м.

За ночь исчез стог сена. Возможно, съеден. Напал на след, действую.

Сыщик Хабард.»

— Какой он приткий, ваш слон! — сказал инспектор. — Я знал, что нам предстоит нелегкая работа, но мы его все-таки поймаем!

«Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 9 ч.

Прошел к западу три мили. Следы большие, глубокие, неровные по краям. Встретил фермера; утверждает, что это не слон. Говорит, что ямы остались с прошлой зимы, когда он выкапывал в мерзлом грунте молодые деревца. Жду дальнейших распоряжений.

Сыщик Дарли».

— Ага! Соучастник грабителей! Становится жарко, — сказал инспектор.

Он продиктовал следующую телеграмму на имя Дарли:

«Арестуйте фермера, заставьте его выдать сообщников.

Продолжайте идти по следам, если понадобится, до Тихого океана.

Старший инспектор Блант».

Следующая телеграмма:

«Кони-Пойнт, штат Пенсильвания, 8 ч. 45 м.

Ночью ограблена контора газового завода, похищены неоплаченные счета за три месяца. Напал на след, иду дальше.

Сыщик Мэрфи».

— Силы небесные! — воскликнул инспектор. — Неужели он станет есть счета за газ?

— Только по неосведомленности. Они совершенно непитательны.

Вслед за этим пришла еще одна ошеломляющая телеграмма:

«Айронвилл, штат Нью-Йорк, 9 ч. 30 м.

Только что прибыл. В поселке паника. В пять часов утра здесь появился слон. Одни утверждают, что он отправился дальше к востоку, другие — что к западу, третьи — к северу, четвертые — к югу. Установить точное направление не удалось, не было времени. Слон убил лошадь. Кусок лошади представляю в качестве вещественного доказательства. Животное убито при помощи хобота; судя по результатам, удар был нанесен слева направо. По положению трупа полагаю, что слон пошел дальше к северу, на Беркли, вдоль полотна железной дороги. У него четыре с половиной часа феры. Отправляюсь по следам немедленно.

Сыщик Хоуз».

Я радостно вскрикнул. Инспектор сидел невозмутимый, как идол. Он спокойно дотронулся до звонка,

— Элрик, вызовите капитана Бэрнса. Бэрнс явился.

— Сколько у вас человек наготове?

— Девяносто шесть, сэр.

— Немедленно пошлите их к Айронвиллу. Пусть станут вдоль железнодорожной линии на Беркли. К северу от города.

— Слушаю, сэр.

— Внушите им, что их передвижение должно сохраняться в строжайшей тайне. Освободившихся от дежурств не отпускайте, пусть ждут распоряжений.

— Слушаю, сэр.

— Можете идти.

— Слушаю, сэр.

Поступила еще одна телеграмма:

«Сейдж-Норнерс, штат Нью-Йорк, 10 ч. 30 м.

Только что прибыл. Слон появился здесь в 8.15. Всем удалось покинуть город, кроме постового полисмена. Слон, по-видимому, метил не в него, а в фонарный столб. Погибли оба. Кусок полисмена представляю в качестве вещественного доказательства.

Сыщик Стамм».

— Итак, слон повернул в западном направлении, — сказал инспектор. — Но ускользнуть ему не удастся: мои агенты расставлены в этом районе повсюду.

Следующая телеграмма гласила:

«Гловер, 11 ч. 15 м.

Только что прибыл. Поселок обезлюдел. Остались одни больные и старики. Слон появился здесь три четверти часа назад, как раз во время заседания Лиги противников трезвости. Просунул хобот в окно и залил помещение водой, набранной в цистерне. Некоторые наглотались — исход смертельный; есть утонувшие. Сыщики Кроз и О'Шонесси проследовали через поселок в южном направлении, почему и разминулись со слоном. Весь район на много миль в окружности повергнут в панику, люди покидают дома. Но слон настигает их всюду. Много убитых.

Сыщик Брент».

Я готов был зарыдать, так меня расстроили эти бедствия. Но инспектор ограничился следующими словами:

— Вот видите, мы его окружаем. Он это почувствовал и опять свернул на восток.

Однако это грустное сообщение было не последним. Скоро телеграф принес следующую весть:

«Хогенспорт, 12 ч. 19 м.

Только что прибыл. Слон прошел здесь полчаса назад, сея повсеместно ужас и смятение. Свиристествовал на улицах; из двух попавшихся ему водопроводчиков один убит, другой спасся. Всеобщее сожаление.

Сыщик О'Флаэрти».

— Его окружили со всех сторон, — сказал инспектор. — Теперь ему ничто не поможет.

Вслед за этим поступили телеграммы от сыщиков, которые, рассыпавшись по штатам Нью-Джерси и Пенсильвания, полные надежды и даже уверенности в успехе, рыскали по следам слона — то есть обследовали разрушенные сараи, фабрики и библиотеки воскресных школ. Прочитав эти телеграммы, инспектор сказал:

— Самое лучшее было бы снестись с ними и послать их дальше, но это невозможно. Сыщик заходит на телеграф только для того, чтобы отправить свое донесение, а потом его не доищешься. Мы прочли еще одну телеграмму:

«Бриджпорт, штат Коннектикут, 12 ч. 15 м.

Барнум предлагает 4000 долларов в год за право использования слона в качестве подвижной рекламы до тех пор, пока он не будет изловлен сыщиками. Намерен оклеить его цирковыми афишами. Просит ответить без промедления.

Сыщик Богз».

— Какая нелепость! — воскликнул я.

— Вы совершенно правы, — сказал инспектор. — По-видимому, этот мистер Барнум считает себя большим хитрецом, но он плохо знает меня. Зато я его хорошо знаю.

И он продиктовал ответ на эту телеграмму:

«Барнуму отказать. 7000 — или ничего.

Старший инспектор Блант».

— Вот так. Ответа долго ждать не придется. Мистер Барнум сидит сейчас не у себя дома, а на телеграфе. Это его обычная манера, когда предвидится какое-нибудь выгодное дельце. Ровно через три...

«Согласен. П. Т. Барнум».

Таким известием прервал нашу беседу телеграфный аппарат. Я только собирался высказать свое мнение по поводу этого странного эпизода, как следующая телеграмма направила мои мысли по совершенно новому и весьма грустному пути.

«Боливия, штат Нью-Йорк, 12 ч. 50 м.

Слон появился здесь с южной стороны в 11 ч. 50 м., проследовал к лесу, разогнав попавшуюся навстречу похоронную процессию и уменьшив количество провожавших на две персоны. Местные жители дали по нему несколько залпов из мелкокалиберной пушки и ударились в бегство. Сыщик Берк и нижеподписавшийся прибыли сюда с северной стороны с опозданием на десять минут и, приняв глубокие ямы в земле «за отпечатки ног животного, потеряли много драгоценного времени. Однако нам удалось напасть на его следы, которые вели к лесу. Мы стали на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, чтобы не потерять следа, добрались до кустов. Берк полз первым. К несчастью, животное остановилось в кустах на отдых, и Берк, поглощенный рассматриванием следов, ткнулся головой прямо в задние ноги слона, не подозревая, что тот находится так близко. Впрочем, он сейчас же вскочил, ухватил животное за хвост и воскликнул ликующим голосом:

«Вознаграждение за мн...» Но кончить ему не удалось, ибо слону было достаточно одного удара хоботом, чтобы отправить храбреца на тот свет. Я побежал назад, но слон повернулся и с невероятной быстротой погнал меня к опушке леса. Моя гибель была неизбежна, но, к счастью, на дороге опять появились остатки разогнанной похоронной процессии, которые и отвлекли его внимание. Только что узнал, что от покойника ничего не осталось. Потеря небольшая, ибо сейчас этого добра здесь более чем достаточно. Слон снова исчез.

Сыщик Малруни».

Некоторое время мы не получали никаких новых известий, если не считать донесений усердных и обстоятельных сыщиков, действовавших в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Виргинии и то и дело натывавшихся на свежие и бесспорные следы. А потом, в начале третьего часа, поступила следующая телеграмма:

«Банстер-Сентр, 2 ч. 15 м.

Слон появился здесь, оклеенный цирковыми афишами, и, прорвавшись на молитвенное собрание, покалечил многих верующих, готовившихся приобщиться благодати. Граждане загнали его в загон и выставили стражу. Приехав вскоре после этого, мы с сыщиком Брауном прошли за ограду и приступили к опознанию слона, пользуясь фотографическими снимками и описанием его примет. Все совпало в точности, если не считать рубца под мышкой, которого нам так я не удалось обнаружить. Сыщик Браун подлез под слона, желая проверить наличие рубца, и немедленно остался без головы — черепок вдребезги, мозги не обнаружены. Все бросились наутек, в том числе и слон, раздававший меткие удары направо и налево. Ему удалось скрыться, но кровь, льющаяся из ран, полученных им в результате попаданий пушечных ядер, указывает его путь. Обнаружим в ближайшее время. Он ушел к югу, продираясь сквозь густую лесную чащу.

Сыщик Брант».

Эта телеграмма была последней. А к ночи на землю спустился такой туман, что на расстоянии трех футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туман продержался всю ночь. Движение паромов и даже омнибусов было приостановлено.

III

На следующее утро газеты опять были полны версий различных знатоков сыска. Уже известные нам трагические факты излагались со всеми подробностями, а кроме того, приводилось и много других сведений, полученных по телеграфу от специальных корреспондентов. Броские заголовки занимали примерно треть каждой колонки, и когда я читал их, у меня холодела кровь. Общий тон был таков:

«БЕЛЫЙ СЛОН НА СВОБОДЕ. ОН СОВЕРШАЕТ СВОЙ ГУБИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ. ПОСЕЛКИ ОБЕЗЛЮДЕЛИ, НАСЕЛЕНИЕ В УЖАСЕ ПОКИДАЕТ ДОМА! ЛЕДЯНОЙ СТРАХ ПРЕДШЕСТВУЕТ ЕМУ! СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ! СЫЩИКИ В АРЬБЕРГАРДЕ. РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА. РУИНЫ ФАБРИК, ЗАГУБЛЕННЫЙ УРОЖАИ, РАЗОГНАННЫЕ ЛЮДСКИЕ ТОЛПЫ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЮ КРОВАВЫЕ СЦЕНЫ! ЧТО ДУМАЮТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЯ СЫСКА! ЧТО ДУМАЕТ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР БЛАНТ!»

— Вот видите! — торжествуя сказал инспектор Блант, изменяя своему обычному спокойствию. — Блестяще! Такой удачей не может похвалиться никакое другое агентство в мире. Слава о нас разойдется по всем уголкам земного шара, выдержит любое испытание временем, и мое имя пребудет в веках!

Но я не мог радоваться вместе с ним. Мне казалось, что кровавые преступления слона ложатся на мою совесть, что он только слепое орудие во всех этих злодеяниях. А как вырос их список! В одном городке он «нарушил ход выборов и уложил на месте пятерых подставных избирателей». Вслед за этим «смерть настигла еще двух несчастных, по фамилии О’Данахью и Мак-Фланниган, которые только накануне обрели пристанище в тихой гавани угнетенных всего мира и были повержены беспощадной дланью сиамского чудовища как раз в ту минуту, когда они, впервые воспользовавшись благородным правом американских граждан, подходили к избирательным урнам». В другом месте «он встретил иступленного проповедника, готовившегося к своим очередным нападкам на танцы, театр и другие развлечения, которые можно хулить, не опасаясь пощечин с их стороны, и наступил на него». Еще где-то «он убил агента по распространению громootводов». Таков был список его преступлений, который с каждым часом становился все более кровавым и разрывал мне сердце. Шестьдесят человек убитых, двести сорок раненых! Все сообщения свидетельствовали о неутомимой энергии сыщиков и беззаветной преданности их своему делу, и все они заканчивались так: «Этого страшного зверя видели собственными глазами триста тысяч граждан и четыре сыщика, из которых двое убиты».

Я с ужасом ждал, не застучит ли снова телеграфный аппарат. И действительно, вскоре начали поступать новые сообщения, но я был приятно разочарован ими. Мало-помалу выяснилось, что слон исчез бесследно. Воспользовавшись туманом, он, по-видимому, скрылся от преследования и нашел себе надежное пристанище. В телеграммах, поступавших из самых неожиданных и отдаленных пунктов, говорилось, что там-то и там-то, в таком-то часу видели сквозь густой туман огромную махину, и это, «вне всякого сомнения, был слон».

Эта огромная, еле различимая сквозь туман махина появлялась в Нью-Хейвене, в Нью-Джерси, в Пенсильвании, в штате Нью-Йорк и даже в самом Нью-Йорке, в Бруклине — и быстро исчезала, не оставляя после себя никаких следов. Сыщики, откомандированные во все концы страны, ежечасно присылали отчеты, и у каждого из них имелась своя путеводная нить к разгадке преступления, и у каждого дело было на мази, и каждый был близок к поимке слона. Но этот день не принес ничего нового. Следующий тоже. Прошел и третий день.

Газетные отчеты становились бледными. Сообщаемые ими факты ничего не давали, путеводные нити никуда не приводили, а очередные версии преступления уже были лишены тех элементов новизны, которые поражают, восхищают и ошеломляют читающую публику.

По совету инспектора, я увеличил обещанное вознаграждение вдвое.

Прошло еще четыре томительных дня. И вдруг бедные самоотверженные сыщики получили тяжелый удар: редакторы газет отказались печатать их материалы и холодно заявили: «Дайте передохнуть».

Через две недели после пропажи слона я, по совету инспектора, увеличил вознаграждение до семидесяти пяти тысяч долларов. Это была очень большая сумма, но я предпочитал пожертвовать всем своим состоянием, чем потерять доверие правительства. Теперь, когда сыщики очутились в таком незавидном положении, газеты ополчились на них и принялись осыпать несчастных ядовитейшими насмешками. Это подхватили бродячие театрики, и актеры, одетые сыщиками, вытворяли бог знает что, носясь по сцене в поисках слона. На карикатурах сыщики обшаривали поля и леса, вооружившись подзорными трубами, а слон преспокойно воровал у них яблоки из карманов. А как издевались карикатуристы над полицейским значком! Вам, вероятно, приходилось видеть этот значок, исполненный золотым тиснением на обложках детективных романов. На нем изображен глаз, под которым стоит подпись: «Недремлющее око». Если сыщику случалось зайти в бар, то хозяин бара, якобы в виде милой шутки, задавал ему вопрос, в свое время ходкий среди завсегдатаев таких мест: «Что прикажете подать, чтобы око продрать?» Сыщикам буквально не давали прохода подобными насмешками.

И только один человек продолжал хранить в такой обстановке спокойствие, невозмутимость и выдержку: это был непоколебимый инспектор Блант. Он ни перед кем не опуская глаз, его безмятежная уверенность в себе оставалась неизменной. Он повторял:

— Пусть беснуются. Смеется тот, кто смеется последним!

Мое восхищение этим человеком граничило с каким-то благоговейным чувством. Я не отходил от него ни на шаг. Пребывание в его кабинете стало угнетать меня и становилось тягостнее день ото дня. Но я считал, что если он выносит все это, то мне тоже не следует сдаваться, во всяком случае до тех пор, пока не иссякнут силы. И я приходил туда ежедневно и был единственным посторонним человеком, которого хватало на такой подвиг. Все удивлялись мне, и я сам частенько подумывал, не удрать ли отсюда, но одного взгляда на это спокойное и, по-видимому, не омраченное тяжелой думой чело было достаточно, чтобы снова набраться стойкости.

Однажды утром, недели через три после пропажи слона, когда я уже собирался сказать, что мне придется покинуть свой пост и удалиться восвояси, великий сыщик, словно прочитав мою мысль, предложил еще один блистательный, мастерский ход.

В нем предусматривалось соглашение с преступниками. Изобретательность этого человека превзошла все, что я знал до сих пор, хотя мне и приходилось сталкиваться с самыми изощренными умами вашего века, Инспектор заявил: чтобы достигнуть соглашения с преступниками, ста тысяч долларов будет вполне достаточно, и слон найдется. Я ответил, что попытаюсь наскрести эту сумму, но как быть с несчастными сыщиками, которые трудились с такой беззаветной преданностью своему делу? Инспектор сказал:

— В таких случаях они всегда получают половину.

Мое единственное возражение было снято. Инспектор написал две записки следующего содержания:

«Сударыня!

Ваш супруг сможет заработать солидную сумму денег (с полной гарантией, что закон не посягнет на его личность), если он согласится на немедленную встречу со мной.

Старший инспектор Блант».

Одна из этих записок была отправлена с доверенным лицом особе, которая считалась женой Молодчика Даффи. Другая — особе, которая считалась женой Рыжего Мак-Фаддена.

Через час пришли два весьма оскорбительных ответа:

«Старый дурень! Молодчик Даффи два года как помер.

Бриджет Магони».

«Старый тюфяк! Рыжего Мак-Фаддена давно вздернули, он уж полтора года как в раю. Это каждому ослу известно, только не сыщикам.

Мэри О'Хулиген».

— Я давно это подозревал, — сказал инспектор. — Вот вам еще одно доказательство безошибочности моего инстинкта.

Если какой-нибудь из планов рушился, этот человек был готов немедленно заменить его другим. Он сейчас же составил объявление в утренние газеты, копия которого у меня сохранилась:

«А-квбл. 242. Н. Тнд.-фз 328 вмлг. ОЗПО — ; 2 м! огв. Тс-с!»

— Если вор жив и здоров, — пояснил мне инспектор, — он обязательно явится в условленное место встречи, где обычно заключаются все сделки между сыщиками и преступниками. Встреча должна состояться завтра, в двенадцать часов ночи.

Никаких других дел больше не предвиделось, и я, не теряя времени, с чувством громадного облегчения покинул кабинет инспектора.

Я пришел туда на следующий день в одиннадцать часов вечера, имея при себе сто тысяч долларов наличными. Они были немедленно вручены инспектору Бланту, который вскоре удалился, все с той же отвагой и уверенностью во взоре. Невыносимо долгий час уже подходил к концу, когда я вдруг услышал желанные шаги и, задыхаясь, неверными шагами двинулся навстречу инспектору. Каким торжеством сияли его прекрасные глаза! Он сказал:

— Сделка состоялась! Завтра критиканы запоют другую песенку! Следуйте за мной!

Он взял зажженную свечу и спустился вниз, в огромное сводчатое подземелье, где обычно спали шестьдесят сыщиков, а сейчас человек двадцать коротали время, играя в карты. Я шел за ним по пятам. Инспектор быстро направился в дальний полутемный конец подземелья; и как раз в ту минуту, когда я, задыхаясь от невыносимой вони, уже терял сознание, он споткнулся о какую-то необъятную тушу и повалился на пол со следующими словами:

— Наша благородная профессия восстановила свою поруганную честь! Вот он, ваш слон!

Меня внесли в кабинет инспектора Бланта на руках и привели в чувство карболовой кислотой. Явились сыщики в полном составе, и тут началось такое бурное ликование, равного которому мне никогда не приходилось видеть. Вызвали репортеров, откупорили шампанское, стали провозглашать тосты, обмениваться рукопожатиями, поздравлениями. Героем дня, разумеется, считался старший инспектор, и его счастье было так полно и так честно заслужено, что даже я радовался вместе со всеми, — я, который стоял там как бездомный нищий и знал, что мой драгоценный подопечный мертв, что моя репутация загублена, ибо я не сумел выполнить порученной мне высокой миссии. Не один красноречивый взор говорил о преклонении сыщиков перед своим шефом, не один голос шептал: «Посмотрите на него. Ведь это король сыска! Дайте ему путеводную нить, и от него ничто не скроется!»

Распределение пятидесяти тысяч долларов прошло с большим подъемом. Засовывая в карман свою долю, старший инспектор произнес коротенькую речь. Вот что он сказал:

— Друзья мои, вы заслужили свою награду. Больше того — благодаря вам наша профессия покрыла себя неувядаемой славой.

Как раз в эту минуту ему подали телеграмму, в которой было написано следующее:

«Монро, штат Мичиган, 22 ч.

Впервые за несколько недель попал на телеграф. Ехал по следам верхом тысячу миль сквозь густой лес. С каждым днем следы становятся все явственнее, глубже и свежее. Не беспокойтесь, еще неделя, и слон будет найден. Это наверняка.

Сыщик Дарли».

Старший инспектор предложил крикнуть трехкратное «гип-гип-ура» в честь Дарли, «одного из самых блестящих наших агентов», и затем приказал вызвать его телеграммой обратно для получения причитающейся ему доли.

Так закончилась эта эпопея с похищением слона. На следующий день все газеты, за исключением одной, рассыпались в похвалах сыщикам. А тот презренный листок разразился следующей тирадой:

«Славны дела твои, о сыщик! Ты, правда, не всегда проявляешь достаточную расторопность при розыске таких мелочей, как затерявшийся слон, ты гоняешься за ним день-деньской, а ночью в течение трех недель спишь по соседству с его разлагающейся тушей, но в конце концов ты обнаружишь пропажу, если тот человек, который затащил слона в твой дом, приведет тебя туда и ткнет в него пальцем».

Бедный Гассан был потерян для меня навеки. Ранения от пушечных ядер оказались смертельными. Он пробрался в мрачное подземелье под прикрытием тумана и там, окруженный врагами, подвергаясь постоянной опасности быть обнаруженным, угасал от голода и страданий и, наконец, нашел успокоение в смерти.

Сделка с преступниками обошлась мне в сто тысяч долларов, расходы по розыскам — еще в сорок две тысячи. Я не осмеливался просить у правительства какой-нибудь должности. Я стал банкротом, бездомным странником. Но мое преклонение перед этим человеком, перед величайшим сыщиком, которого когда-либо знал мир, не увядает до сего времени и пребудет во мне до конца дней моих.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ КАСАТЕЛЬНО НЕДАВНЕГО КАРНАВАЛА ЗЛОДЕЯНИЙ В КОННЕКТИКУТЕ

Настроение было превосходное, я почти ликовал. Я поднёс спичку к сигаре, и в этот момент мне вручили утреннюю почту. Первый адрес, на который упал мой взгляд, был написан от руки, от чего весь я был охвачен приятным трепетом. Это был почерк тётушки Мэри, человека, которого я любил и уважал больше всех на свете, после своей семьи. Она была кумиром моего детства; зрелый возраст, обычно несущий конец обаянию, не смог сместить её с этого пьедестала; нет, он лишь подтвердил её право находиться там, и её смещение отодвинулось за пределы возможного. Чтобы продемонстрировать, насколько сильно было её влияние на меня, я лишь замечу, что уже спустя долгое время после того, как неизменное «бросай курить» всех окружающих перестало производить какой-либо эффект, тётушке Мэри всё же удавалось привести в чувства мою отмершую сознательность, когда она бралась за дело. Но у всего в этом мире есть свой предел. Наконец настал тот прекрасный день, когда даже слова тётушки Мэри не смогли на меня подействовать. Я не просто был рад приближению этого дня; я был более чем рад — я был ему просто признателен; ибо лишь только зарделся его рассвет, ничто уже не могло омрачить удовольствия, получаемого в обществе моей тётушки. Остаток её пребывания с нами той зимой был просто наслаждением во всех отношениях. Конечно же, она умоляла меня, так же настоятельно, как и всегда, и после того благословенного дня, бросить эту вредную привычку, но это было тщетно; как только она затрагивала эту тему, я становился абсолютно, непреклонно равнодушным — спокойным, мирным, удовлетворённым, но равнодушным. Таким образом, последние недели того знаменательного визита пролетели, как в приятном сне — настолько они были наполнены, для меня, мирным удовлетворением. Даже если бы моя нежная мучительница сама была курильщицей и ярой сторонницей этой привычки, и то не смог бы я получить большего наслаждения от моего излюбленного порока. И вот, при одном только виде её почерка я понял, насколько я жаждал снова её увидеть. О содержании её письма мне было не трудно догадаться. Я открыл его. Отлично! как я и предполагал; она приезжает! Причём приезжает сегодня же, утренним поездом; она могла прибыть в любой момент.

Я сказал себе: «Теперь я весьма счастлив и доволен. Появись передо мной мой самый беспощадный враг, я бы оправдал любое зло, которое смог бы причинить ему».

В этот момент открылась дверь, и внутрь вошёл жалкий, сморщенный карлик. Он был не более двух футов роста. На вид ему было лет сорок. Форма каждого его органа, и каждого отдельного дюйма его тела была искажена вовсе несильно; и, хотя, нельзя было указать пальцем на какую-либо конкретную его часть и сказать: «Это явное уродство», этот человек был уродством в целом — расплывчатым, общим, равномерно распределённым, хорошо составленным уродством. В его лице и острых глазках виделась лисинья хитрость, а также озабоченность и злоба. И всё же, этот отвратительный представитель отбросов человеческого общества, казалось, имел некое отдалённое и неясно очертанное сходство со мной! Оно смутно ощущалось и в жалком виде, и в выражении лица, и даже в одежде, жестах, поведении этого существа. Это была какая-то отделённая, туманная версия пародии на меня, моя карикатура в миниатюре. Но одно поразило меня в нём особенно сильно, и наиболее неприятно: он весь был покрыт мохнатой зеленоватой плесенью, такой, какая бывает на залежавшемся хлебе. От вида её становилось дурно.

Он беспардонно шагнул вовнутрь и плюхнулся на кукольный стульчик, не дожидаясь приглашения. Он швырнул шляпу в мусорную корзину. Он подобрал с пола мою старую курительную трубку, протёр её ствол раза два-три о колено, набил её табаком из лежащей рядом табакерки, и сказал мне дерзким командным тоном:

«Дай мне спичку!»

Я налился кровью до корня волос; отчасти от негодования, но ещё и оттого, что всё это представление чем-то напоминало мне перегибы в поведении, виной которым был я при общении со своими близкими друзьями — но никогда, никогда с незнакомыми мне людьми, — заметил я себе. Мне захотелось швырнуть этого пигмея в огонь, но какое-то неосознанное чувство того, что я законно нахожусь в его власти, заставило меня послушаться его приказа. Он поднёс спичку к трубке, задумчиво затянулся разок-другой и заметил, в раздражающе-знакомой форме:

«Мне кажется, чертовски странная погода для этого времени года».

Я снова вскипел, от злости и унижения, как и перед этим, так как язык его не сильно отличался от того, которым говорил я в своё время, и, более того, произнесено это было противным протяжным тоном, в котором звучала преднамеренная пародия на мою речь. Теперь меня ничто так не раздражает, как подражание неуверенному колебанию моего голоса. Резким голосом я ответил ему:

«Слушай ты, кот помойный! Тебе придётся получше следить за своими манерами, или я вышвырну тебя из окна!»

Карлик улыбнулся зловещей самоуверенной улыбкой, выпустил в меня с презрением клубок дыма, и сказал, с ещё более подчёркнутой протяжностью:

«Ну-ка, помягче; не стоит строить из себя слишком важную персону».

Такое дерзкое презрение полностью вывело меня из себя, но вместе с тем на какой-то момент оно, казалось, и подчинило меня. Карлик рассматривал меня несколько секунд своими мышиными глазами, а потом сказал с ещё большим презрением.

«Ты захлопнул дверь перед нищим сегодня утром».

Я раздражённо ответил:

«Может и да, а может и нет. А тебе откуда известно?»

«Знаю, и всё. И совсем не важно, откуда я знаю».

«Прекрасно. Предположим, я действительно захлопнул дверь перед нищим — ну и что?»

«Нет, ничего; ничего особенного. Только вот ты ему солгал».

«Ничего подобного! То есть, я...»

«Да, именно, ты ему солгал».

Я почувствовал угрызения совести — по сути, я успел почувствовать их сорок раз ещё прежде, чем нищий успел отдалиться на квартал от моего дома, но всё же я решил сделать вид, что чувствую себя оклеветанным, и поэтому сказал:

«Это безосновательная клевета. Я сказал нищему...»

«Стоп. Ты снова чуть не солгал. Я знаю, что ты ему сказал. Ты сказал, что кухарка уехала в город, и от завтрака ничего не осталось. Две лжи. Ты знал, что кухарка была за дверью, а за ней — полно еды.

Такая потрясающая точность ошеломила меня; кроме того, она навела меня на вопрос, как вся эта информация попала к этому щенку. Конечно, он мог завести беседу с нищим, но к каким чарам он прибегнул, чтобы прозвать о «скрытой» кухарке? И тут карлик заговорил снова:

«Это было так низко, так ничтожно с твоей стороны отказаться прочитать рукопись той девушки на днях, и поделиться с ней своим мнением по поводу её литературной ценности; а ведь она добиралась в такую даль, и так надеялась. Разве не так?»

Я почувствовал себя последней свиньёй. И, должен признаться, чувствовал себя так каждый раз, когда вспоминал об этом. Я вскипел и сказал:

«Послушай, тебе больше нечего делать, кроме как рыскать повсюду и совать нос в чужие дела? Ты разговаривал с той девушкой?»

«Не важно, разговаривал, или нет. Важно то, что ты совершил низкий поступок. И тебе стало стыдно за него впоследствии. Ага! тебе стыдно за него и сейчас!»

Это было уже нечто вроде ликования дьявола. Я ответил ему с пламенной ревностью:

«Я объяснил этой девушке в наиболее вежливой и мягкой форме, что не могу позволить себе дать оценку этой рукописи, потому как личное мнение ничего не стоит. Можно недооценить работу высокого уровня, и для мира она будет потеряна, или переоценить какую-нибудь ерунду, и, таким образом, обречу мир на её дурное воздействие. Я сказал ей, что широкая публика — единственный судья, который компетентен выносить решения о литературных попытках, и, следовательно, лучше всего было бы вначале предоставить рукопись этому суду, ведь в итоге ей так или иначе придётся выжить или пасть по решению этого большого суда».

«Да, ты сказал всё это. Именно так ты и сделал, ушлый, малодушный пройдоха! И всё же, когда последние следы счастливого оптимизма исчезли с лица этой бедной девушки, когда ты увидел, как она украдкой сунула под свою шаль рукопись, над которой она так честно и терпеливо трудилась — так она стыдилась её теперь, а ведь так была горда когда-то — когда ты увидел, как её глаза покидает радость, а вместо неё появляются слёзы, когда она ушла такая подавленная, после того, как пришла такая...»

«О, тише! тише! тише! Типун тебе на твой безжалостный язык, да разве все эти мысли не мучали меня достаточно без того, чтобы ты пришёл, и вызвал их снова!»

О эти угрызения совести! Казалось, они выедают самое моё сердце! А этот маленький изверг только уселся, глядя на меня со злорадством и презрением, мирно хихикая. Вскоре он заговорил снова. Каждое предложение было обвинением, и каждое обвинение — правдой. Каждое высказывание было полно сарказма и насмешки, каждое отчеканенное слово горело, как купорос. Карлик напомнил мне, как я обрушивался на своих детей и наказывал их за провинности, минимальное разбирательство в которых показало бы мне, что их совершили другие, а не они. Он напомнил мне, как я предательски позволил, чтобы моих старых друзей оклеветали в моём присутствии, и был слишком труслив, чтобы сказать слово в их защиту. Он напомнил мне о многих бесчестных вещах, которые я совершил; о многих, которые я добился, чтобы совершили дети или другие люди, не несущие ответственности; о многих, которые я планировал, обдумывал, и страстно желал совершить, и от совершения которых меня удерживал только страх последствий. С изысканной жестокостью он возвращал в моей памяти, одно за другим, несправедливости, обиды и унижения, которые я причинил своим друзьям при их смерти: «которые, быть может, умирали, думая об этих обидах, и горевали из-за них,» — добавил он будто яду на остриё ножа.

«Например, — сказал он, — возьми случай с твоим младшим братом, когда вы оба были ещё детьми, много лет тому назад. Он всегда относился к тебе с такой любовью и преданностью, и этого не могло сломить ни одно твоё предательство. Он ходил за тобой попятам, как собака, готовый выдержать обиду и несправедливость, чтобы только быть с тобой; он терпел все эти обиды так долго, ведь они наносились твоей рукой. Его образ, в полном здравии, запечатлённый у тебя в памяти, наверное, так утешает тебя! Ты поклялся своей честью, что если он позволит тебе завязать ему глаза, ничего дурного из этого не выйдет; а потом, давясь от хохота над этой редкой шуткой, ты подвёл его к ручью, покрытому тонкой коркой льда, и толкнул туда; и как ты смеялся! Дружище, тебе никогда не забыть тот кроткий, укоризненный взгляд, которым он смотрел на тебя, барахтаясь, даже если проживёшь тысячу лет. Ага! ты видишь его сейчас! ты видишь его *сейчас!*»

«Тварь, я видел его уже миллион раз, и увижу ещё миллион! Да чтоб тебе подышать медленно и страдать так, как я до Дня Страшного Суда за то, что вернул мне всё это снова!»

Карлик довольно усмехнулся, и продолжил свою обвинительную историю моей карьеры. Я впал в унылое, мстительное настроение и тихо страдал под безжалостной критикой. Наконец, следующее его замечание заставило меня резко подскочить.

«Два месяца назад, во вторник, ты проснулся посреди ночи, и начал раздумывать с угрызениями совести об особенно низком, ничтожном своём поступке по отношению к примитивному индейцу в дебрях Роки Маунтинз зимой тысяча восемьсот...»

«Остановись на секунду, дьявол! Остановись! Ты хочешь сказать, что даже сами мои мысли не скрытаны от тебя?»

«Похоже на то. Разве у тебя не было мыслей, которые я сейчас упомянул?»

«Да не жить мне больше на этом свете, если не было! Послушай, дружок, посмотри мне прямо в глаза. *Кто ты?*»

«Ну, а ты как думаешь?»

«Я думаю, что ты сам Сатана. Я думаю, ты дьявол».

«Нет».

«Нет? Кем же ты тогда можешь быть?»

«Ты в самом деле хочешь знать?»

«Я в самом деле хотел бы».

«Ну тогда, я — твоя *Сознательность!*»

Через секунду я уже был охвачен приступом радости и ликования. Я бросился на это создание с рёвом:

«Будь ты проклята! Я сотни миллионов раз желал, чтобы ты стала осязаемой, и чтобы я когда-нибудь смог взять тебя руками за глотку! О, но теперь кровавая месть...»

Не тут-то было! Молния не движется с такой скоростью, как моя Сознательность! Человечек так резко взметнулся вверх, что в тот момент, когда мои пальцы схватили пустой воздух, он уже успел взгромоздиться на вершину книжного шкафа, приставив большой палец к носу в знак насмешки. Я запустил в него кочергой и промахнулся. Я метнул сапожным клином. Не видя ничего вокруг, я стал метаться с места на место, хватать и швырять в него все «снаряды», что попадались под руку; град из книг, чернильниц и кусков угля наполнил воздух и безустанно бил по убежищу карлика, но всё безрезультатно; проворная фигурка увёртывалась от каждого снаряда; более того, он разразился хохотом, полным сарказма и триумфа, когда я сел, наконец, истощённый. Пока я переводил дыхание от усталости и возбуждения, моя Сознательность наставляла меня:

«Мой покорный слуга, ты необычайно слабоумен — хотя нет, это всё же характерно. По правде говоря, ты всегда последователен, всегда спокоен и всегда — осёл. Иначе, если бы совершили эту попытку убийства с грустью на сердце и обременённой совестью, я бы тотчас согнулся бы под такой тяжестью. Глупец, я бы тогда весил тонну и не смог бы оторваться от пола; но вместо этого ты так взволнован и воодушевлён задачей убить меня, что твоя

сознательность легка, как пёрышко. И вот, я здесь, наверху, вне твоей досягаемости. Я могу почти испытывать уважение к обычному, заурядному типу дураков; но ты — у-у-у!»

Я был готов отдать тогда что угодно, чтобы обременить свою совесть, и тогда спустить отсюда этого типа, и отнять у него жизнь. Но моя совесть не могла быть отяжелённой по поводу такого желания более, чем я мог быть опечален его исполнением. Я мог лишь хищнически смотреть на своего властелина и проклинать злую судьбу, отказавшуюся обременить моё сознание в единственный раз, когда мне этого захотелось. Я стал размышлять о странном приключении, происшедшем за последний час, и во мне сыграло обычное человеческое любопытство. В голове вырисовывались вопросы, на которые мог ответить этот изверг. В этот момент зашёл один из моих сыновей, оставив дверь раскрытой, и воскликнул:

«Господи! Что здесь *произошло*? Весь книжный шкаф забросан...»

Я подскочил в ужасе и закричал:

«Уходи отсюда! Живо! Бегом! Молнией! Закрой дверь! Быстрее, а не то моя Сознательность уйдёт!»

Дверь за ним захлопнулась, и я запер её. Я взглянул наверх и был обрадован до глубины души, увидев, что мой хозяин всё ещё был у меня в плену. Я сказал:

«Чёрт тебя подери, я чуть было тебя не потерял! Эти дети — самые безголовые существа. Но послушай-ка, дружище, ребёнок, кажется, и вовсе тебя не заметил; это как же может быть?»

«По очень простой причине. Я невидим для всех, кроме тебя».

Я отметил себе в уме эту информацию со значительным удовлетворением. Я могу убить сейчас этого негодяя, если удастся, и никто об этом и не узнает. Но одна эта мысль придала мне столько беспечности, что моя Сознательность едва удержалась на месте. Она чуть было не вспорхнула вверх, к потолку, как воздушный шарик. При этом я сказал:

«Послушай, моя Сознательность, будем друзьями. Воздвигнем на время знамя перемирия. Мне не терпится задать тебе несколько вопросов».

«Прекрасно. Начинай».

«Ну, тогда, прежде всего, почему ты раньше никогда не становился для меня видимым?»

«Потому что раньше ты никогда не желал меня увидеть; то есть, ты никогда не просил об этом раньше в нужной форме и в подходящем настроении. А в этот раз у тебя именно и было подходящее настроение, и когда ты призвал своего самого беспощадного врага, я и оказался таковым, в большинстве своём, хотя ты об этом и не подозревал».

«Так что, эта моя мысль превратила тебя в плоть и кровь?»

«Нет. Она лишь сделала меня видимым для тебя. Я бестелесен, как и другие духи».

Это замечание остро кольнуло меня дурным предчувствием. Если он бестелесен, как же я убью его? Но об этом я умолчал, и убедительным тоном сказал следующее:

«Сознательность, нельзя быть настроенным на общение на таком расстоянии. Спускайся перекурить».

В ответ на это последовал взгляд, полный насмешки, а затем — следующая реплика:

«Спуститься туда, где ты сможешь поймать и убить меня? Приглашение отклоняется с благодарностью».

«Хорошо, — сказал я сам себе, — значит, по всему видимому, духа всё же можно убить; сейчас одним духом в этом мире станет меньше, или иначе я упусти своего гостя».

После я произнёс вслух:

«Друг...»

«Ну-ка стой. Я тебе не друг, я твой враг; я тебе не равный, я твой хозяин. Попрошу тебя называть меня «мой господин». Ты слишком фамильярничаешь».

«Мне не нравятся такие титулы. Мне хотелось бы называть Вас «сэр». Это ввиду того, что...»

«Мы не будем об этом спорить. Просто подчиняйся; вот и всё. Продолжай свою болтовню».

«Прекрасно, мой господин — поскольку ничего другое, кроме «мой господин» Вам не подходит — я хотел спросить у Вас, как долго Вы будете видимым для меня?»

«Всегда!»

Я вскипел от негодования:

«Это просто возмутительно. Вот что я об этом думаю. Вы только и делали, что преследовали меня все дни моей жизни, будучи невидимым. Это было довольно низко; теперь же иметь столь выразительную особу, как Вы, следующую за мной по пятам весь остаток моих дней, словно новая тень, — это нестерпимая перспектива. Теперь Вы знаете моё мнение, мой господин; относитесь к нему, как хотите.

«Мой мальчик, на свете не было ещё более довольной сознательности, чем я в тот момент, когда ты сделал меня видимым. Это наделяет меня просто невообразимым преимуществом. *Теперь* я могу смотреть тебе прямо в глаза, и называть тебя как угодно, и насмехаться над тобой, и глумиться, и дерзить тебе. *А ты-то* ведь знаешь, какое значение имеют визуальная жестикуляция и выразительность, в особенности, если эффект усиливается устной речью. Отныне я всегда буду обращаться к тебе твоим же п-р-о-т-я-ж-н-ы-м у-н-ы-л-ы-м т-о-н-о-м — детка!»

Я запустил в него угольным ведёрком. Безрезультатно. Мой господин сказал:

«Ну-ка, ну-ка! Вспомни о знамени перемирия!»

«А, я и забыл об этом. Я постараюсь быть мирным; да и *Вы* постарайтесь, для разнообразия. Само понятие *мирной* сознательности! Хорошая шутка, отличная шутка. Все типы сознательностей, о которых мне только приходилось слышать, были придирчивыми, затравливающими, отталкивающими и жестокими созданиями! Да, и вечное напряжение из-за того или иного незначительного пустяка — гори они все огнём, по моему мнению! Свою я бы променял на оспу и семь видов туберкулёза в придачу, и ещё бы обрадовался такому шансу. Теперь скажите мне, *отчего это* сознательность не может дать человеку один раз нагоняй за его проступок, а потом оставить его в покое? Почему она именно хочет продолжать держать его на мушке, днём и ночью, ночью и днём, непрерывно и беспрестанно, вечно и неизменно, за те же самые старые дела? В этом нет никакого смысла, и нет этому никакой причины. Я считаю, что сознательность, действующая таким образом, ниже самой грязи».

«Ну, *нам* это нравится; это приносит нам удовлетворение».

«И вы делаете это с искренним намерением исправить человека?»

Этому вопросу последовала саркастическая улыбка и следующий ответ:

«Нет, сэр. Прошу прощения. Мы делаем это только потому, что это наш «бизнес». Это наше занятие. *Цель* этого — *действительно* исправить человека, но *мы* лишь агенты с нейтральной стороны. Мы назначены свыше, и не можем ничего добавить от себя в этом деле. Мы подчиняемся приказам, и не вмешиваемся в обстоятельства. Но с чем я полностью хочу согласиться: мы немного *преувеличиваем* указы, как только появляется такая возможность, а она есть почти всегда. Мы получаем от этого наслаждение. Нам приказано напоминать человеку несколько раз о его ошибке; и я не отрицаю, что мы стараемся исполнить это с большим усердием. А если уж мы ухватимся за человека особо чувствительной природы, то мы просто издеваемся над ним! Я знал сознательностей, которые специально проделали путь из Китая и России, чтобы посмотреть, как «прощупывают» одного такого типа по особому поводу. А вот, знал я одного такого человека, который покалечил случайно ребёнка-мулата; эта весть распространилась за границу, и чтоб тебе не согрешить ни разу, если сознательности со всего мира не съехались тогда, чтобы поразвлечься и помочь его хозяину поиспытывать его. Этот человек ходил, мучась, взад-вперёд сорок восемь часов без еды и сна, а потом сошёл с ума. Ребёнок же полностью поправился через три недели».

«Да, вы замечательная команда, мягко говоря. Мне кажется, теперь я начинаю понимать, почему Вы были всегда слегка непоследовательны со мной. В своём страстном стремлении выжать из греха все соки, вы заставляете человека тремя-четырьмя разными путями раскаяться в нём. К примеру, Вы обнаружили за мной провинность в том, что я солгал нищему, и я страдал от этого. Но именно вчера я сказал нищему чистую правду, а именно то, что поскольку поощрение

бродяжничества может рассчитываться как проявление гражданской несознательности, то я не дам ему ничего. Что Вы сделали *тогда*? Вы заставили меня сказать самому себе: “Ах, было бы гораздо доброжелательнее и безобиднее облегчить его участь небольшой красивой ложью, и отправить его с чувством, что, если уж он не получит хлеба, то, по крайней мере, он может быть благодарным за мягкое обращение.” И страдал из-за *этого* целый день! За три дня до этого я накормил нищего, причём накормил до отвала, считая это добродетельным поступком. И тут же Вы говорите: “Бессознательный гражданин — накормил нищего!” И я страдал, как обычно. Я дал нищему работу; Вы возражали этому — после заключения контракта, конечно же; ведь Вы же никогда не высказываетесь до того. Затем, я отказал нищему в работе; вы возражали и этому. Затем, я предложил убить нищего; Вы не давали мне спать всю ночь, выдавливая из меня чувства жалости через все поры. На *этот* раз я уж несомненно должен был быть прав, я отправил нищего с благословением; и чтоб Вам прожить так долго, как мне, если Вы не заставили меня страдать всю ночь из-за того, что я не убил его. Есть ли *какой-нибудь* способ удовлетворить это зловерное изобретение, именуемое сознательностью?»

«Ха, ха! превосходно! Продолжай!»

«Но пойте, ответьте мне всё же на этот вопрос. Есть способ?»

«По меньшей мере, в мои намерения не входит рассказывать *тебе* о нём, сын мой. Осёл! Да мне не важно, за какие дела ты возьмёшься, я тут же шепну тебе на ушко одно слово и заставлю тебя думать, что ты совершил ужасную подлость. Это мой *бизнес* — и моё удовольствие — заставляя тебя раскаиваться во всём, что ты делаешь. Если я и упустил какую-то возможность, это было непреднамеренно; я искренне уверяю тебя, что это было непреднамеренно!»

«Не волнуйтесь; Вы не пропустили ни одного из известных мне поступков. Я не совершил ни одной вещи в своей жизни, добродетельной, или наоборот, в которой я бы не раскаялся в течение двадцати четырёх часов. Прошлым воскресеньем я слушал в церкви проповедь о благотворительности. Мой первый порыв был дать триста пятьдесят долларов; затем я передумал, и сократил сумму на сотню; передумал, и сократил ещё на сотню; передумал, и сократил ещё на сотню; передумал, и сократил оставшиеся пятьдесят до двадцати пяти; передумал, и снизил их до пятнадцати; передумал, и понизил до двух с половиной долларов; когда же тарелка дошла, наконец до меня, я снова передумал, и пожертвовал десять центов. Ну, а когда я добрался домой, мне искренне хотелось вернуть себе свои десять центов! Вы никогда не давали мне побывать на церемониях пожертвований без того, чтобы о чём-то не переживать».

«И никогда не позволю, никогда. Можешь на меня положиться».

«По-видимому, так. Сколько бессонных ночей мне хотелось схватить Вас за шею. Если бы я только мог добраться до Вас сейчас!»

«Да, вне всяких сомнений. Но я не осёл, я только ослиное седло. Но продолжайте же, продолжайте. Вы забавляете меня больше, чем мне хотелось бы в этом признаться».

«Меня это радует. (Не возражаете, если я не много привру, дабы не изменять своей привычке.) Так вот, не примите это слишком лично, но я считаю, что Вы самая низкая и самая презренная мелкая сморщенная рептилия, которую можно только себе вообразить. Я прямо-таки счастлив, что вы невидимы для других людей, а не то я бы умер от стыда, если бы был увиден в компании сознательности в виде такой заплесневелой обезьяны, как *Вы*. Были бы Вы, скажем, футов пять-шесть в высоту, и...

«Так-так! а кто тому виной?»

«Я не знаю».

«Ты же, и не кто иной».

«Да чёрт Вас подери, я не был осведомлён о Вашей внешности».

«А меня это не волнует, ты всё же над ней хорошо потрудились. Когда тебе было лет восемь или девять, я был семь футов в высоту, и прелестен, как на картинке».

«Да лучше бы вы умерли молодым! Вы ведь выросли не правильно, не так ли?»

«Некоторые из нас растут одним образом, некоторые — другим. Когда-то у тебя была большая сознательность; было бы у тебя есть сейчас хотя бы малость от неё. Я полагаю, на то есть свои причины. Винить в этом, тем не менее, нужно нас обоих, тебя и меня. Видишь ли, ты когда-то относился сознательно к чрезвычайно многим вещам; это было прямо-таки ненормально, я бы сказал. Это было много лет тому назад. Сейчас ты уже этого не помнишь. Я так наслаждался теми страданиями, которые причиняли тебе некоторые твои любимые прегрешения, что продолжал атаковать тебя, пока не перестарался. Ты начал сопротивляться. Я, конечно же, начал тогда отступать и слегка сморщиваться — уменьшаться в фигуре, плесневеть и непропорционально расти. Чем больше я слабел, тем упорнее ты привязывался к тем самым грехам; пока, наконец, места на моём теле, отображающие эти пороки, не огрубели, как акулья кожа. Возьми, на пример, курение. Я пускал в ход эту карту слишком долго, и проиграл. Когда люди умоляют тебя и в эти дни расстаться с этой привычкой, то старое огрубевшее место, кажется, увеличивается и покрывает меня всего, словно кольчуга. Это производит сверхъестественный, удушающий эффект; а теперь я, твой верный ненавистник, твоя преданная Сознательность, отправляюсь в глубокий сон. Глубокий? Да это не то слово. У тебя ведь есть ещё несколько других пороков — этак восемьдесят или девяносто — которые действуют на меня точно таким же образом».

«Вы мне льстите. Вы, должно быть, спите большую часть всего времени».

«Да, в последние годы. Мне следовало бы спать *всё* время, но я встаю для того, чтобы получить помощь».

«Кто же Вам помогает?»

«Другие сознательности. Каждый раз, когда человек, с сознательностью которого я знаком, пытается уговорить тебя бросить пороки, к которым ты безразличен, я прошу у своего друга напустить на его клиента угрызения совести по поводу какой-нибудь его собственной подлости, это прекратит его вмешательство, и направит его на поиски своего личного утешения. Моё поле деятельности сократилось до нищих, подающих надежды писательниц, и вещей такого сорта; но ты не волнуйся — я тебя ещё *ими* измотаю, пока они живы! Доверься мне».

«Думаю, что можно. Но если бы Вы были достаточно любезны упомянуть обо всех этих фактах лет этак тридцать назад, Вы бы у меня не спали беспробудно на длинном списке человеческих пороков, а уменьшились бы до размера гомеопатической пилюли. Вот тип сознательности, которого я жажду. Если бы я только смог уменьшить Вас до размера пилюли, и схватить Вас в свои руки, стал бы я помещать Вас в стеклянную коробочку в качестве сувенира? Нет, сэр. Я бы отдал бы Вас какому-нибудь мерзавцу! Именно у него *Вам* и место — Вам и всему вашему племени. Вам не надлежит находиться в обществе, по моему мнению. Теперь другой вопрос. Вы знаете много других сознательностей в нашем квартале?»

«Да полно».

«Я бы отдал всё, чтобы увидеть некоторых из них! Вы не могли бы привести их сюда? А для меня они будут видимы?»

«Конечно нет».

«Я должен был понять это из без вопроса, я полагаю. Но ничего, Вы ведь можете описать их. Расскажите мне, пожалуйста, о сознательности соседа Томпсона».

«Прекрасно. Я очень близко знаком с ним; знаю его уже много лет. Я знал его ещё когда он был одиннадцать футов в высоту и имел безупречную фигуру. Но теперь он безнадежно заржавел и деформировался, и его уже мало что интересует. А что касается его нынешнего размера — так он спит в коробке из-под сигарет».

«Довольно типично. Есть в нашем районе и несколько людей поменьше, попроще, чем Хью Томпсон. Знакомы ли Вы с сознательностью Робинсона?»

«Да. Это дух высотой чуть меньше четырёх с половиной футов; когда-то был блондином; сейчас брюнет, но всё ещё хорошо сложен и миловиден».

«Да, Робинсон славный парень. Вы знакомы с сознательностью Тома Смита?»

«Я знаю его с детства. Он был тринадцать дюймов в высоту, довольно инертный, когда ему было два года — как и почти все мы в этом возрасте. Теперь он тридцать семь футов в высоту, самая статная фигура в Америке. Он всё ещё мучается от боли в ногах из-за усталости, но тем не менее он наслаждается жизнью. Никогда не спит. Он самый активный и энергичный член Клуба Сознательностей Новой Англии; он же его президент. Днём и ночью можно увидеть его упорно корпящим над Смитом, переводящим с трудом дыхание, с закатанными рукавами и лицом, светящимся от удовольствия. Теперь ему удалось хорошенько прижать свою жертву. Он может заставить бедного Смита посчитать самый безобидный и мелкий его поступок за наиболее тягостный грех; а затем он принимается за работу и выматывает у него душу из-за этого».

«Смит — самый уважаемый человек в этом квартале, и самый безупречный. И всё же он постоянно мучается, потому что никак не может стать хорошим! Только сознательность может получать удовольствие от наведения агонии на такую чистую душу. Вы знакомы с сознательностью моей тётушки Мэри?»

«Мне доводилось видеть её издали, но лично с ней я не знаком. Она живёт на открытом воздухе, потому как ни в одну дверь ей не войти».

«В это легко поверить. Дайте-ка подумать. Вы знакомы с сознательностью того издателя, который как-то украл несколько моих скетчей для серии своих, после чего мне пришлось оплачивать судебные издержки, чтобы заставить его отказаться от этого намерения?»

«Да. У него большая слава. Он был выставлен на показ месяц назад вместе с некоторыми другими античностью, в пользу новой сознательности Члена Кабинета, умиравшей в изгнании. Билеты и проезд были очень дорогими, но мне проезд обошёлся бесплатно, так как я выдал себя за сознательность редактора, а вошёл за полцены под видом сознательности священника. Тем не менее, сознательность издателя, которая должна была быть главной достопримечательностью, потерпела провал — как экспонат. Он был там, но что с того? Администрация предоставила микроскоп с увеличительной силой всего лишь в тридцать тысяч диаметров, так что в итоге никому не удалось увидеть его. Конечно же, чувствовалось всеобщее неудовлетворение, но...»

В этот момент послышались энергичные шаги на лестнице; я открыл дверь, и моя тётушка Мэри влетела в комнату. Встреча была радостной, и за ней последовал обстрел вопросами и ответами о семейных делах. Затем моя тётушка сказала:

«Но я должна тебя теперь немного поругать. Ты пообещал мне, когда мы виделись с тобой в последний раз, что будешь заботиться о нуждах той бедной семьи за углом так же преданно, как я делала это сама. И я случайно обнаружила, что ты нарушил своё обещание. *Это правда?*»

По правде говоря, я и не вспомнил ни разу о той семье. А теперь такое острое чувство вины пронзало меня насквозь! Я посмотрел на свою Сознательность. Очевидно, моё отягощённое сердце повлияло на него. Всё его тело склонилось вперёд; казалось, он вот-вот упадёт со шкафа. Тётушка продолжала:

«А подумай как ты проигнорировал мою бедную подопечную в приюте, дорогой ты мой, бессердечный нарушитель обещаний!»

И меня бросило в краску, язык присох к нёбу. По мере того, как росло и обострялось во мне чувство вины за свою халатность, моя Сознательность всё больше раскачивалась взад и вперёд, а когда моя тётушка после небольшой паузы сказала упавшим голосом: «Поскольку ты итак ни разу не ходил навещать её, то, может быть, тебя не шокирует известие о том, что эта несчастная девочка умерла много месяцев назад, абсолютно одинокая и покинутая всеми!», моя Сознательность уже не могла удержаться под тяжестью моих страданий, и грохнулась плашмя со своего высокого насеста на пол с сильным, глухим стуком. Карлик лежал на полу, корчась от боли и дрожа от мрачного предчувствия, но напрягал все мускулы в неистовых усилиях подняться. Напрягшись до предела в ожидании, я прыгнул к двери, запер её, прижал её спиной, и стал бдительно следить за своим хозяином готовящимся к борьбе. У меня уже чесались руки начать свою кровавую работу.

«О, что это может *значить!*» — воскликнула тётушка, отпрянув от меня, и следя испуганными глазами в моём направлении. Моё дыхание было теперь весьма прерывисто, и волнение почти вышло из-под контроля. Тётушка закричала: «О, не смотри так! Ты меня пугаешь! Что же это может означать? Что ты видишь? На что ты так уставился? Что это ты вот так делаешь пальцами?»

«Спокойно, женщина!» — сказал я надрывным шёпотом. — «Смотри в другую сторону; не обращай на меня внимания; это всё ничего — ничего. У меня это часто бывает. Через секунду пройдёт. Это от чрезмерного курения».

Мой пострадавший властелин поднялся, с дикими от ужаса глазами, и заковылял по направлению к двери. Я едва дышал — таково было нервное напряжение. Тётушка заломила руки и сказала:

«О, я знала, чем это обернётся; я знала, что в итоге всё этим и закончится! О, я умоляю тебя подавить в себе эту пагубную привычку, пока ещё, быть может, не поздно! Ты больше не должен, не можешь быть глух к моим мольбам!» Моя борящаяся Сознательность неожиданно начала подавать признаки утомления! «О, пообещай мне, что ты избавишься от этой ненавистной порабощённости табаком!» Моя сознательность начало вяло пошатываться и хватать руками воздух — очаровательное зрелище! «Я прошу, я умоляю тебя! Ты теряешь рассудок! В твоих глазах сверкает безумие! Они пылают в бешенстве! О, послушай меня, послушай же меня, и спасись! Вот, смотри, я умоляю тебя, стоя на коленях!» Когда она опустилась предо мной на колени, моя Сознательность снова зашаталась, а потом рухнула на пол, потяжелевшими глазами умоляя меня в последний раз о пощаде. «О, пообещай же, иначе — ты потерян! Пообещай же — и будешь избавлен! Пообещай! Пообещай и будешь жить!» С глубоким вздохом моя побеждённая Сознательность закрыла глаза и заснула глубоким сном!

С криком ликования я прыгнул мимо своей тётушки, и через мгновение уже держал врага всей своей жизни за глотку. После столь долгих лет ожиданий он, наконец-то, был моим. Я изорвал его на куски и клочья. Клочья я изорвал на мелкие частицы, и вдохнул носом благовония от моей сгоревшей жертвы. Наконец-то, и на веки-вечные моя Сознательность была мертва!

Я был свободным человеком! Я подскочил к своей бедной тётушке, почти оцепеневшей от ужаса, и закричал:

«Прочь отсюда со своими нищими, милосердием, реформами и назойливыми моральями! Ты видишь пред собой человека, чей жизненный конфликт завершён, чья душа спокойна; человек, чьё сердце не способно печалиться, страдать, раскаиваться; человек БЕЗ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ! На радостях я пощажу тебя, хотя мог бы задушить, и никогда не почувствовать угрызений совести! Беги!»

Она бежала. С того дня моя жизнь стала блаженством. Блаженством, полным блаженством. Ничто в мире не смогло бы меня убедить снова занять сознательность. Я привёл в порядок все свои неуплаченные счета, и перестроил для себя мир заново. Я убил тридцать восемь человек за первые две недели — всех из-за старых счетов. Я сжёг дом, который портил мне вид. Я выдурил у вдовы с несколькими сиротами их последнюю корову, очень хорошую, хотя, по-моему, и не чистой породы. Я совершил также десятки разных преступлений, и чрезвычайно наслаждался своей работой, в то время как раньше, вне всякого сомнения, у меня от этого разрывалось бы сердце и поседел бы волосы.

В заключение, я хочу заявить, на правах рекламы, что медицинские колледжи, которым нужны отобранные нищие для научных целей, на развес или на объём, смогут найти что-либо подходящее у меня в погребе, прежде чем покупать в каком-нибудь другом месте, так как этих я отбирал и готовил сам, и их можно приобрести по низкой цене, потому что я хочу очистить свой склад и готовиться к весеннему торговому сезону.

ЖАЛОБА НА КОРРЕСПОНДЕНТОВ, НАПИСАННАЯ В САН-ФРАНЦИСКО

Послушайте, за кого вы принимаете нас, живущих по эту сторону материка? Я обращаю этот прямой и решительный вопрос ко всем мужчинам, женщинам и детям, обитающим к востоку от Скалистых гор. Не считаете ли вы нас идиотами, что шлете нам эти чудовищные письма, этот бессмысленный, тупой, никчемный вздор? Вы жалуетесь, что стоит человеку прожить на Тихоокеанском побережье полгода, как он теряет интерес ко всему, что оставил на далеком Востоке, и перестает отвечать на письма друзей, даже на письма родных. Только по вашей вине! Сейчас я прочитаю небольшую лекцию на эту тему, — она пойдет вам на пользу.

Существует одно-единственное правило, как писать письма. Либо вы его не знаете, либо настолько глупы, что не считаетесь с ним. Это простое и ясное правило: пишите лишь о том, что интересно вашему адресату.

Неужели так трудно запомнить это правило и держаться его? Если вы издавна в дружбе с тем, кому шлете письмо, неужели вы не в силах рассказать ему хотя бы об общих знакомых? Можно ли сомневаться, что человек, уехавший на край света, примет с благодарностью даже самые тривиальные сообщения такого рода? А что пишете вы, по крайней мере, большинство из вас? Вы забываете нам голову бессовестной галиматьей о людях, о которых мы не имеем ни малейшего представления, о происшествиях, которых мы не знаем, и знать не хотим. Есть ли в этом хоть доля смысла? Разрешите мне представить вам образчик вашего эпистолярного стиля. Вот отрывок из последнего письма моей тети Нэнси, которое я получил четыре года тому назад и на которое не отвечаю уже четыре года.

«Сент-Луис, 1862.

Дорогой Марк! Вчера мы премило провели вечер, у нас был в гостях преподобный доктор Мэклин с супругой из Пеории. Он смиренно трудится на своей ниве. Он пьет очень крепкий кофе, он страдает невралгией, точнее — невралгическими головными болями. Какой непритязательный и богомольный человек! Как мало таких на этом свете! К обеду у нас был суп; хотя, ты знаешь, я супа не люблю. Ах, Марк, если бы ты взял себя в руки и вступил на стезю добродетели! Прошу тебя, почитай из Второй книги Царств от второй главы и по двадцать четвертую включительно. Я была бы так счастлива, если бы это обратило тебя на праведный путь. Миссис Габрик умерла, бедняжка. Ты ее не знал. Под конец у нее были очень сильные припадки. 14 числа наша армия начала наступление на...»

Дойдя до этих строк, я обычно бросаю письмо, так как знаю наверняка, что дальше пойдет сухой и монотонный перечень военных событий. Мне так и не удалось вбить в башку этим тупицам, что обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, мы узнаем здесь, в Сан-Франциско, по телеграфу на следующий же день, и что Пони-Экспресс привозит нам все мельчайшие подробности военных событий на добрые две недели раньше, чем мы получаем письма. Вот почему я раз и навсегда отказываюсь от этих замшелых военных отчетов, даже с риском, что упущу совет прочитать ту или иную главу священного писания. Письма нашпигованы подобными советами, и зазевавшийся грешник может в любую минуту угодить в капкан.

Теперь я спрошу вас, что мне до преподобного Мэклина? Какое мне дело до того, что он «смиренно трудится на своей ниве», что он «пьет крепкий кофе», что он «непритязателен», что он «богомолен», что он «страдает невралгией»? Допустим, что это прихотливое сочетание

добродетелей приведет меня в восторг, но интереса к преподобному Мэклину все равно не прибавит. Сообщения о том, что таких, как он, мало и что к обеду был суп, меня радуют, — я готов честно признать это. Требование прочитать двадцать две главы из Второй книги Царств, адресованное человеку, который ни секунды не помышляет стать священником, я рассматриваю как грубое вторжение на территорию нейтральной державы. Информация о кончине «бедняжки миссис Габрик» почти не обрадовала меня, должно быть потому, что я не знал покойную лично. Впрочем, было приятно узнать, что под конец у нее были сильные припадки.

Ну что, ясно вам теперь? Ясно вам, что во всем письме нет двух слов, способных пробудить во мне хоть искру интереса? Ваши военные новости я уже знаю. Если я захочу прослушать проповедь — рядом есть церковь, где их читают гораздо лучше. Я не желаю ничего знать о бедняжке Габрик, которую не видел ни разу в жизни. Я не желаю ничего знать о преподобном Мэклине, которого тоже никогда не видел. Я спрашиваю вас: почему здесь нет ничего о Мэри Энн Смит (о, как я жажду узнать хоть что-нибудь о ней!), ни слова о Джорджиане Браун, о Зебе Левенворте, о Сэме Бауэне, о Стротере Уилли, — ни о ком, чья судьба волнует меня? И так как приведенное письмо похоже на все предыдущие как две капли воды, я не ответил на него, — на что мне эта переписка?

Моя почтенная матушка недурной корреспондент, ее письма, во всяком случае, своеобразны. Она надевает очки, берет ножницы и принимается вырезать из газет всякую всячину — передовицы, списки постояльцев в гостиницах, вирши, официальные сообщения, объявления, рассказы, старые анекдоты, рецепты «от печени», кулинарные советы, — все, что подвернется под руку (она лишена предвзятости, содержание не волнует ее); потом, взявши вырезки, она читает их, глядя поверх очков (очки не годятся, старые гораздо лучше, но она предпочитает эти потому, что они в золотой оправе), и говорит: «Уж не знаю, как быть, во всяком случае — это из сент-луисской газеты!» — и запихивает вырезки в конверт вместе с письмом. В письме она сообщает мне обо всех, кого я когда-либо знал, но, к сожалению, в такой своеобразной форме:

«Ж. Б. умер», или: «В. Л. выходит замуж за Т. Д.», или: «Б. К. и Р. М. вместе с Л. А. Ж. уехали в Новый Орлеан». Она упускает из виду, что когда-то отлично знакомые имена стерлись за эти годы в моей памяти и восстановить их теперь по инициалам для меня непосильная задача. Она никогда не пишет имени полностью, я никогда не знаю, о ком она рассказывает, и принимаю решение наугад. Помню, как я оплакивал кончину Билла Криббена, — а ведь должен был ликовать, что Бен Кенфурон наконец сыграл в ящик: я ошибся, расшифровывая инициалы.

Самые интересные и содержательные письма из дома мы получаем от детей семи-восьми лет от роду. Это проверено на тысяче примеров. По счастью, им не о чем писать, кроме как о домашних новостях и о том, что происходит по соседству (взрослые считают эти новости слишком ничтожными для письма, отправляемого за несколько тысяч миль). Они выражаются просто и непринужденно и не пытаются сразить вас изяществом слога. Они сообщают то, что им доподлинно известно, и ставят точку. Они редко трактуют о высоких материях и не читают лекций на моральные темы. Их послания кратки, но всегда занимательны, поскольку речь в них идет о людях и событиях, вам знакомых. Итак, если вы желаете совершенствоваться в эпистолярном искусстве, учитесь у детей. Я храню письмо от восьмилетней девочки, храню его как достопримечательность, потому что это единственное письмо за все годы моего отсутствия, которое я прочел с непритворным интересом. Вот это письмо:

«Сент-Луис, 1865.

Дядя Марк! Жаль, что тебя нет. Я могла бы тебе рассказать наизусть, как младенца Моисея нашли в тростниках. Мистер Сауэрби свалился с лошади и сломал ногу, потому что ездил верхом в воскресный день. Маргарет, наша служанка, вынесла из твоей комнаты все плевательницы, помойные ведра и старые бутылки. Она говорит: раз тебя так долго нет, наверно ты уже не приедешь совсем. Мама Сисси Макэлрой завела нового ребеночка. Они у нее не переводятся. У ребеночка синие глазки,

как у их жильца мистера Свимли, и вообще он похож на этого жильца. Мне подарили новую куклу, но Джонни Андерсон оторвал у нее ногу. Сегодня у нас была мисс Дузенбарри, я хотела дать ей твою фотографию, но она не взяла. У моей кошки снова котята — целая куча котят! Ты просто не поверишь — вдвое больше, чем у кошки Лотти Белден! Одного из них, короткохвостого, я назвала в твою честь, — такой славный котеночек. Сейчас я уже всем придумала имена: генерал Грант, генерал Галлек, пророк Моисей, Маргарет; Второзаконие, капитан Семмс, Исход, Левит, Хорэс Грили. Десятый без имени, я держу его про запас, потому что тот, которого я назвала в твою честь, хворает и, наверно, помрет. (Боюсь, что с короткохвостым сыграли дурную шутку, назвав его в мою честь. Что-то будет со следующим кандидатом?) Дядя Марк, я хочу тебе сказать, что ты очень нравишься Хэтти Колдуэлл. Она считает тебя красавцем. Вчера я сама слышала, как она сказала маме, что твоей красоте ничто не грозит, даже если ты заболеешь оспой и сделаешься рябым, — хуже, чем был, не станешь. Мама говорит, что она очень остроумная девушка (очень!). Я кончаю письмо, потому что генерал Грант сцепился с пророком Моисеем.

Энни.»

Девочка без всякого стеснения наступает мне на мозоль почти в каждой фразе своего письма, но в простоте душевной не ведает об этом.

Я считаю ее письмо образцовым. Это отлично написанное, увлекательное письмо, и, как я уже сказал, в нем больше полезных и интересных для меня сведений, чем во всех остальных письмах, полученных мною с Востока, вместе взятых. Мне гораздо приятнее узнать, как живут наши кошки и познакомиться с их незаурядными именами, чем читать про неведомых мне людей или штудировать «Прискорбную повесть о вреде горячительных напитков», на обложке которой изображен оборванный бродяга, замахивающийся на кого-то из своих ближайших родственников пустой бутылкой из-под пива.

КОГДА Я СЛУЖИЛ СЕКРЕТАРЕМ

Я уже больше не личный секретарь сенатора. В течение двух месяцев я с удовольствием занимал это теплое местечко и уверенно глядел в будущее, но, как сказано в писании про хлеб, отпущенный по водам: «по прошествии многих дней опять найдешь его», — так мои творения вернулась ко мне, и все обнаружилось. Я счел за благо подать в отставку. Расскажу, как все это произошло. Однажды мой сенатор вызвал меня в довольно ранний час, и, вписав тайком еще две-три головоломки в его новую гениальную речь по вопросам финансов, я пошел к нему. Вид у сенатора был зловещий: галстук развязан, волосы растрепаны, на лице признаки надвигающейся бури. Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что пришла почта с Тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.

— Я считал вас достойным доверия, — заговорил сенатор.

— Так точно, сэр.

— Я передал вам письмо, — продолжал сенатор, — от нескольких моих избирателей из штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин-рэнче. Я велел вам составить ответ половчее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей, что почтовая контора им не нужна.

У меня отлегло от сердца. Я сказал:

— И только, сэр? Это я выполнил.

— Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько пристыдить!

«ГОСПОДАМ СМИТУ, ДЖОНСУ И ДРУГИМ.

Вашингтон, 24 ноября.

Джентльмены! На кой черт сдалась вам почтовая контора в Болдвин-рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со вложением денег, то легко догадаться, где будут застревать эти деньги! Все мы тогда не оберемся неприятностей. Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже ваших интересов и считаю, что ваша затея — просто чепуха с бантиками. Что вам действительно необходимо — так это удобная тюрьма, удобная, вместительная тюрьма; и еще — бесплатная начальная школа. От них вам и впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие меры приму незамедлительно.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.»

— Вот что вы ответили моим избирателям! Теперь они грозят меня повесить, если я когда-нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что сии свое слово сдержат!

— Да, сэр, но ведь я не знал, что мое письмо принесет вам ущерб. Я только хотел их убедить!

— Убедили, нечего сказать! А вот еще образчик вашего творчества. Я передал вам прошение, подписанное группой лиц из Невады, — они хотели, чтоб я провел через конгресс США закон об учреждении в их штате церковной корпорации методистской епископальной церкви. Я поручил вам ответить, что такими делами, как издание закона об учреждении подобных корпораций, занимаются законодательные органы штата. Я также просил вас попытаться объяснить этим людям, что, ввиду того что религиозные ростки еще слабы в нашем новом штате Невада, едва ли есть вообще необходимость создавать церковную корпорацию. Что же вы им написали?

«ЕГО ПРЕПОДОБИЮ ДЖОНУ ГАЛИФАКСУ И ПРОЧИМ.

Вашингтон, 24 ноября.

Джентльмены!

По поводу затеянной вами спекуляции обратитесь в законодательное собрание штата, ибо конгресс Соединенных Штатов никакого отношения к религии не имеет. Впрочем, и туда не спешите: вы задумали невыгодное дело, точнее сказать — смехотворное дело. Ну чего стоят сторонники религии, от имени которых вы выступаете? Это же суициде недоноски в интеллектуальном, нравственном, религиозном, да и в других отношениях! Бросьте стараться, ничего из этой затеи не выйдет. Ведь корпорация такого типа не имеет права выпускать акции, а дай вам эту возможность, так вы никогда из беды не выпутаетесь! Другие церкви и секты станут поносить вас, играть «на понижение», сбивать цены и разорят вас вконец. Они поступят так же, как принято поступать в ваших краях с серебряными рудниками: прокричат на весь мир, что ваша корпорация «липа». Нет, напрасно вы затеяли дело, прямо рассчитанное на посрамление святой церкви. Постыдились бы! В конце вашего прошения стоят слова: «И мы будем вечно молиться!» Вот это да, это вам действительно полезно.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.»

— Это блестящее послание навеки поссорило меня со всеми моими избирателями, кому дорога религия. Но свою подготовку к политическому самоубийству я на этом не кончил. Черт меня дернул передать вам письмо от старейших членов муниципального управления города

Сан-Франциско. Эти уважаемые джентльмены обратились ко мне с просьбой провести через конгресс закон о закреплении за их городом каких-то прибрежных участков. Я сказал вам, что в эту историю вмешиваться опасно. Я велел ответить этим старцам в неопределенном духе, обходя, насколько возможно, вопрос о прибрежных участках. Я вам сейчас прочитаю, что вы написали, якобы по моему приказу, и если у вас сохранилась хоть капля совести, вас должен наконец пронять стыд!

«ПОЧТЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО.

Вашингтон, 37 ноября

Джентльмены!

Джордж Вашингтон, возлюбленный отец американского народа, лежит в могиле.

Его долгий славный жизненный путь прервался — увы! — навсегда. Вашингтона почитали в наших краях, и его безвременная кончина повергла в скорбь все население. Джордж Вашингтон скончался 14 декабря 1799 года, тихо покинув мир, где так прославился и столь много совершил, где был любим и оплакан, как никто другой из почивших героев. И в такое время у вас на уме судьба каких-то земельных участков! А судьба бедного Вашингтона вас не волнует?!

Что есть слава? Порождение случая! Сэр Исаак Ньютон открыл, что яблоки падают на землю, — честное слово, такие пустяковые открытия делали до него миллионы людей. Но у Ньютона были влиятельные родители, и они раздули этот банальный случай в чрезвычайное событие, а простаки подхватили их крик. И вот в одно мгновение Ньютон стал знаменит. Советую вам это крепко запомнить.

Поэта сладостная лира приносит много счастья миру!

У девочки Мэри живет барашек, белый и нежный, точно пушок.

Как только Мэри выходит за двери, барашек за ней сразу — скок!

Джек и Джил несли вдвоем Воду из колодца.

Джек скатился кувырком, Джил над ним смеется.

По простоте, изяществу слога, а также полному отсутствию безнравственных тенденций я считаю эти два стихотворения шедеврами. Они годятся для людей самых различных умственных способностей, их можно читать всюду: в поле, в детской, в мастерской ремесленника. И уж разумеется — ни одно муниципальное управление не должно пройти мимо них.

Почтенные ископаемые! Жду от вас дальнейших писем. Ничто так благотворно не влияет на человека, как дружеская переписка. Пишите еще, и если в вашей петиции имелся какой-нибудь смысл, то, не стесняясь, разъясните, в чем дело. Всегда будем рады послушать ваше чириканье.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.»

— Чудовищное, вопиющее послание. Ужас!

— Мне очень жаль, сэр, что оно вам не нравится, но все же... по-моему, я обошел вопрос о прибрежных участках.

— Обошел!.. И еще как! Ну да ладно, все равно я пропал! Коль погибать, так уж совсем погибать! Сейчас я прочту последнее ваше сочинение, в нем моя гибель! Я конченный человек. Я предчувствовал, что не надо поручать вам ответ на письмо из Гумбольдта, в котором меня просили, чтобы часть почтового тракта Индейский овраг — Шекспирово ущелье была перенесена на старую Мормонскую тропу. Но ведь я тогда еще сказал вам, что это очень тонкий вопрос, я предупредил, чтобы вы действовали искусно и осторожно, чтобы выразались

несколько туманно и не все договаривали до конца. А вы что сочинили? Куда вас завел ваш безнадежный идиотизм? Если чувство стыда вам не совсем изменило, наверно вам сейчас захочется заткнуть уши!

«ГОСПОДАМ ПЕРКИНСУ, ВАГНЕРУ И ДРУГИМ.

Вашингтон, 30 ноября.

Джентльмены!

Вопрос об Индейском тракте — это очень тонкий вопрос, но если подойти к нему искусно и осторожно, то, я не сомневаюсь, мы чего-нибудь добьемся, потому что место, где дорога сворачивает с Лассенского луга, того самого, где в прошлом году были скальпированы вожди племени шоуни Дряхлый Мститель и Пожиратель Облаков, является излюбленным маршрутом для некоторых людей, в то время как другие, по этой самой причине, предпочитают иной путь: выехать по Мормонской тропе из Мосби в три часа утра, пересечь Равнину Челюсти по направлению к Блюхеру, затем спуститься по Кувшинной Ручке; тогда дорога окажется у них справа и дальше, конечно, пойдет правой стороной, а Доусон будет с левой стороны; а от Доусона к Томагавку дорога пойдет уже влево, — таким образом, этот путь дешевле и к нему легче добраться тем, кто в состоянии до него добраться; и, учитывая все положительные стороны, предпочитаемые другими, и тем обеспечивая наибольшее благо для наибольшего числа людей, я имею основания надеяться, что нам это удастся. Тем не менее я и впредь буду с радостью информировать вас время от времени по данному вопросу, если вы пожелаете; при условии, что почтовое ведомство предоставит мне нужные сведения.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.»

— Ну, каково ваше мнение об этом послании?

— Не знаю, сэр, что и сказать. Мне кажется, что это был достаточно туманный ответ.

— Тум... Вон из моего дома! Я погиб, эти дикари из Гумбольдта никогда мне не простят, что я заморочил их таким дурацким письмом. Я потерял уважение епископальной церкви, муниципалитета Сан-Франциско...

— Да, генерал, тут мне нечего сказать. Может быть, я не совсем попал в точку в этих двух случаях, но зато уж ваших корреспондентов из Болдвин-ренча я наверняка обвел вокруг пальца!

— Убирайтесь вон! Чтобы вашей ноги здесь больше не было!

Я принял эти слова как скрытый намек на то, что в моих услугах не нуждаются, и подал в отставку. Я никогда больше не пойду служить личным секретарем сенатора. Разве таким людям угодишь? Они невежественны и грубы. Они не умеют ценить чужой труд.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

Глава I. Вена, 1899

Прошлым летом когда я возвращался из горного санатория в Вену после курса восстановления аппетита, я оступился в потемках и упал со скалы, и переломал руки, ноги и все остальное, что только можно было сломать, и, к счастью, меня подобрала крестьяне, которые искали осла, и они перенесли меня в ближайшее жилище — один из тех больших приземистых деревенских домов, крытых соломой, с комнатами для всей семьи в мансарде и славным маленьким балкончиком под нависшей крышей, который украшают яркие цветы в ящиках и кошки; в нижнем этаже помещается просторная и светлая гостиная, отделенная перегородкой

от коровника, а во дворе перед окнами величественно и эффектно высится гордость и богатство дома — навозная куча. Вы, вероятно, заметили, что это типичная немецкая фраза, она говорит о том, что я успешно овладеваю механикой и духом этого языка и уже могу, раз оседлав одну фразу, ехать на ней, не слезая, целый день.

В миле от моего пристанища в деревне жил коновал, но хирурга там не оказалось. Это сулило неважную перспективу — мой случай был явно хирургический.

Тут вспомнили, что в деревне проводит лето некая леди из Бостона, эта леди проповедует Христианскую Науку и может лечить все что угодно. Послали за ней. Она не решилась выйти из дому на ночь глядя, но велела передать на словах, что это не важно, что никакой спешки нет, что сейчас она применит «заочное лечение», а сама придет утром; пока же она просит меня успокоиться, расположиться поудобнее и, главное, помнить, что со мной ровно ничего не случилось. Я подумал, что здесь какое-то недоразумение.

— Вы ей скажам, что я сверзился со скалы высотой в семьдесят пять футов?

— Да.

— И стукнулся о камень на дне пропасти и отскочил?

— Да.

— И стукнулся о другой камень и опять отскочил?

— Да.

— И стукнулся о третий камень и снова, еще раз отскочил?

— Да.

— И переколол все камни?

— Да.

— Теперь понятно, в чем дело: она думает только о камнях. Почему же вы ей не сказали, что я сам тоже расшибся?

— Я сказала ей все слово в слово, как вы велели: что сейчас от вихра на макушке и до пяток вы представляете собой причудливую цепь из сложных переломов и что раздробленные кости, которые торчат из вас во все стороны, сделали вас похожим на вешалку для шляп.

— И после этого она пожелала мне помнить, что со мной ровным счетом ничего не случилось?

— Да, так она сказала.

— Ничего не понимаю. Мне кажется, что она недостаточно вдумчиво диагностировала мой случай. Как она выглядела? Как человек, который витает в сфере чистой теории, или же как человек, которому самому случалось падать в пропасть и который в помощь абстрактной науке привлекает доказательства из собственного опыта?

— Bitte?*

Понять эту фразу для Stubenmddchen** оказалось непосильной задачей: она перед ней спасовала. Продолжать разговор не имело смысла, и я попросил чего-нибудь поесть, и сигару, и выпить чего-нибудь горячего, и корзину, чтобы сложить туда свои ноги, — но на все это получил отказ.

— Почему же?

— Она сказала, что вам ничего не понадобится.

— Но я голоден, я хочу пить, и меня мучает отчаянная боль.

— Она сказала, что у вас будут эти иллюзии, но вы не должны обращать на них никакого внимания. И она особенно просит вас помнить, что таких вещей, как голод, жажда и боль, не существует.

— В самом деле, она об этом просит?

— Так она сказала.

— И при этом она производила впечатление особы вполне контролирующей работу своего умственного механизма?

* Как вы сказали? (нем.).

** Служанка (нем.).

- Bitte?
- Ее оставили резвиться на свободе или связали?
- Связали? Ее?
- Ладно, спокойной ночи, можете идти; вы славная девушка, но для легкой остроумной беседы ваша мозговая Geschirг*** непригодна. Оставьте меня с моими иллюзиями.

Глава II

Разумеется, всю ночь я жестоко страдал, по крайней мере я мог об этом догадываться, судя по всем симптомам, но наконец эта ночь миновала, а проповедница Христианской Науки явилась, и я воспрянул духом. Она была средних лет, крупная и костлявая, и прямая, как доска, и у нее было суровое лицо, и решительная челюсть, и римский клюв, и она была вдовой в третьей степени, и ее звали Фуллер. Мне не терпелось приступить к делу и получить облегчение, но она была раздражающе медлительна. Она вытащила булавки, расстегнула крючки, кнопки и пуговицы и совлекла с себя все свои накидки одну за другой; взмахом руки расправила складки и аккуратно развесила все вещи, стянула с рук перчатки, достала из сумки книжку, потом придвинула к кровати стул, не спеша опустилась на него, и я высунул язык. Она сказала снисходительно, но с ледяным спокойствием:

— Верните его туда, где ему надлежит быть. Нас интересует только дух, а не его немые слуги.

Я не мог предложить ей свой пульс, потому что сустав был сломан, но она предупредила мои извинения и отрицательно мотнула головой, давая понять, что пульс — это еще один немой слуга, в котором она не нуждается. Тогда я подумал, что надо бы рассказать ей о моих симптомах и самочувствии, чтобы она поставила диагноз, но опять я сунулся невпопад, все это было ей глубоко безразлично, — более того, самое упоминание о том, как я себя чувствую, оказалось оскорблением языка, нелепым термином.

— Никто не чувствует, — объяснила она, — чувства вообще нет, поэтому говорить о несуществующем как о существующем, значит впасть в противоречие. Материя не имеет существования; существует только Дух; дух не может чувствовать боли, он может только ее вообразить.

— А если все-таки больно?..

— Этого не может быть. То, что нереально, не может выполнять функций, свойственных реальному. Боль нереальна, следовательно больно быть не может.

Широко взмахнув рукой, чтобы подтвердить акт изгнания иллюзии боли, она напоролась на булавку, торчавшую в ее платье, вскрикнула «ой!» и спокойно продолжала свою беседу:

— Никогда не позволяйте себе говорить о том, как вы себя чувствуете, и не разрешайте другим спрашивать вас о том, как вы себя чувствуете; никогда не признавайте, что вы больны, и не разрешайте другим говорить в вашем присутствии о недугах, или боли, или смерти, или о подобных несуществующих вещах. Такие разговоры только потворствуют духу в его бессмысленных фантазиях.

В этот момент Stubenmädchen наступила кошке на хвост, и кошка завизжала самым нечестивым образом.

Я осторожно спросил:

— А мнение кошки о боли имеет ценность?

— Кошка не имеет мнения; мнения порождаются только духом; низшие животные осуждены на вечную брэнность и не одарены духом; вне духа мнение невозможно.

— Значит, эта кошка просто вообразила, что ей больно?

— Она не может вообразить боль, потому что воображать свойственно только духу; без духа нет воображения. Кошка не имеет воображения.

*** Оснастка (нем.).

— Тогда она испытала реальную боль?

— Я уже сказала вам, что такой вещи, как боль, не существует.

— Это очень странно и любопытно. Хотел бы я знать, что же все-таки произошло с кошкой.

Ведь если реальной боли не существует, а кошка лишена способности вообразить воображаемую боль, то, по-видимому, бог в своей милосердии компенсировал кошке, наделив ее какой-то непостижимой эмоцией, которая проявляется всякий раз, когда кошке наступают на хвост, и в этот миг объединяет кошку и христианина в одно общее братство...

Она раздраженно оборвала меня:

— Замолчите! Кошка не чувствует ничего, христианин не чувствует ничего. Ваши бессмысленные и глупые фантазии — профанация и богохульство и могут причинить вам вред. Разумнее, лучше и благочестивее допустить и признать, что таких вещей, как болезнь, или боль, или смерть, не существует.

— Я весь — воображаемые живые мучения, но не думаю, что мне было бы хоть на йоту хуже, будь они реальными. Что мне сделать, чтобы избавиться от них?

— Нет необходимости от них избавляться — они не существуют... Они — иллюзии, порожденные материей, а материя не имеет существования; такой вещи, как материя, не существует.

— Все это звучит как будто правильно и ясно, но сути я все же как-то не улавливаю. Кажется, вот-вот схвачу ее, а она уже ускользнула.

— Объяснитесь.

— Ну, например, если материи не существует, то как может материя что-нибудь породить?

Ей стало меня так жалко, что она даже чуть не улыбнулась. То есть она непременно улыбнулась бы, если бы существовала такая вещь, как улыбка.

— Ничего нет проще, — сказала она. — Основные принципы Христианской Науки это объясняют, их суть изложена в четырех следующих изречениях, которые говорят сами за себя. Первое: Бог есть все сущее. Второе: Бог есть добро. Добро есть Дух. Третье: Бог, Дух есть все, материя есть ничто. Четвертое: Жизнь, Бог, всемогущее Добро отрицают смерть, зло, грех, болезнь. Вот, теперь вы убедились?

Объяснение показалось мне туманным; оно как-то не разрешало моего затруднения с материей, которая не существует и, однако, порождает иллюзии. Поколебавшись, я спросил:

— Разве... разве это что-нибудь объясняет?

— А разве нет? Даже если прочитать с конца, и тогда объясняет.

Во мне затеплилась искра надежды, и я попросил ее прочитать с конца.

— Прекрасно. Болезнь грех зло смерть отрицают Добро всемогущее Бог жизнь ничто есть материя все есть Дух Бог Дух есть Добро. Добро есть Бог сущее все есть Бог. Ну вот... теперь-то вы понимаете?

— Теперь... теперь, пожалуй, яснее, чем раньше, но все же...

— Ну?

— Нельзя ли прочитать это как-нибудь иначе, другим способом?

— Любим, как вам угодно. Смысл всегда получится один и тот же. Переставляйте слова, как хотите, все равно они будут означать точно то же самое, как если бы они были расположены в любом другом порядке. Ибо это совершенство. Вы можете просто все перетасовать — никакой разницы не будет: все равно выйдет так, как было раньше. Это прозрение гениального ума. Как мыслительный *tour de force***** оно не имеет себе равных, оно выходит за пределы как простого, конкретного, так и тайного, сокровенного.

— Вот так штука!

Я сконфузился: слово вырвалось прежде, чем я успел его удержать.

— Что??

**** Фокус (франц.).

— ...Изумительное построение... сочетание, так сказать, глубочайших мыслей... возвышенных... потря...

— Совершенно верно. Читаете ли вы с конца, или с начала, или перпендикулярно, или под любым заданным углом — эти четыре изречения всегда согласуются по содержанию и всегда одинаково доказательны.

— Да, да... доказательны... Вот теперь мы ближе к делу. По содержанию они действительно согласуются; они согласуются с... с... так или иначе, согласуются; я это заметил. Но что именно они доказывают... я понимаю — в частности?

Это же абсолютно ясно! Они доказывают: первое: Бог — Начало Начал, Жизнь, Истина, Любовь, Душа, Дух, Разум. Это вы понимаете?

— Мм... кажется, да. Продолжайте, пожалуйста.

— Второе: Человек — божественная универсальная идея, индивидуум, совершенный, бессмертный. Это вам ясно?

— Как будто. Что же дальше?

Третье: Идея — образ в душе; непосредственный объект постижения. И вот она перед вами — божественная тайна Христианской Науки в двух словах. Вы находите в ней хоть одно слабое место?

— Не сказал бы; она кажется неуязвимой.

— Прекрасно. Но это еще не все. Эти три положения образуют научное определение Бессмертного Духа. Дальше мы имеем научное определение Смертной Души. Вот оно. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: Греховность. Первое: Физическое — страсти и вожделения, страх, порочная воля, гордость, зависть, обман, ненависть, месть, грех, болезнь, смерть.

— Все это нереальные категории, миссис Фуллер, иллюзии, насколько я понимаю?

— Все до единой. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: Зло исчезает. Первое: Этическое — честность, привязанность, сострадание, надежда, вера, кротость, воздержание. Это ясно?

— Как божий день.

— ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: Духовное Спасение. Первое: Духовное — вера, мудрость, сила, непорочность, прозрение, здоровье, любовь. Вы видите, как все это тщательно продумано и согласовано, как взаимосвязано и антропоморфично. На последней, Третьей Ступени, как мы знаем из откровений Христианской Науки, смертная душа исчезает.

— А не раньше?

— Нет, ни в коем случае, — только тогда, когда будут завершены воспитание и подготовка, необходимые для Третьей Ступени.

— И только тогда, значит, возможно успешно овладеть Христианской Наукой, сознательно к ней приобщиться и возлюбить ее, — так я вас понимаю? Иначе говоря, этого нельзя достичь в течение процессов, происходящих на Второй Ступени, потому что там все еще удерживаются остатки души, а значит — и разума, и поэтому... Но я вас прервал. Вы собирались разъяснить, какие получаются прекрасные результаты, когда Третья Ступень разрушает и развеивает эти остатки. Это очень интересно; пожалуйста, продолжайте.

— Так вот, как я уже говорила, на этой Третьей Ступени смертная душа исчезает. Наука так переворачивает все воспринимаемое телесными чувствами, что мы искренне принимаем в сердца свои евангельское пророчество: «первые будут последними, последние — первыми», и постигаем, что Бог и Его идея могут стать для нас всеобъемлющими, — чем божественное действительно является и по необходимости должно быть...

— Это великолепно. И как старательно и искусно вы подобрали и расположили слова, чтобы подтвердить и обосновать все сказанное вами о могуществе и функциях Третьей Ступени. Вторая, очевидно, могла бы вызвать лишь временную потерю разума, но только Третья способна сделать его отсутствие постоянным. Фраза, построенная под эгидой Второй Ступени, возможно еще заключала бы в себе что-то вроде смысла, — вернее, обманчивое подобие смысла; тогда как волшебная сила Третьей Ступени — и только она! — устраняет этот дефект. Кроме того, несомненно: именно Третья Ступень наделяет Христианскую Науку еще одним замечательным

свойством, — я имею в виду ее язык, легкий и плавный, богатый, ритмичный и свободный. Вероятно, на то есть особая причина?

— О да! Бог — Дух, Дух — Бог, почки, печень, разум, ум.

— Теперь мне все понятно.

— В Христианской Науке нет ничего непонятного; потому что Бог — един, Время — едино, Индивидуум — един и может быть одним из себе подобных — одним из многих, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; в то время как Бог — един, не один из многих, но один-единственный и не имеющий себе равных.

— Это благородные мысли. Я просто горю желанием узнать больше. Скажите, как Христианская Наука объясняет духовное отношение постоянной двойственности к случайному отклонению?

— Христианская Наука переворачивает кажущееся отношение Души и тела, — как астрономия переворачивает человеческое восприятие солнечной системы, — и подчиняет тело Духу. Как земля вращается вокруг неподвижного солнца, хотя этому трудно верить, когда мы смотрим на восходящее светило, точно так же и тело — это всего лишь смиренный слуга покоящегося Духа, хотя нашему ограниченному разуму представляется обратное. Но мы этого никогда не поймем, если допустим, что Душа находится в теле или Дух в материи и что человек — часть неодухотворенного мира. Душа есть Бог, неизменный и вечный, а человек сосуществует с Душой и отражает ее, потому что Начало Начал есть Все Сущее, а Все Сущее обнимает Душу — Дух, Дух — Душу, любовь, разум, кости, печень, одного из себе подобных, единственного и не имеющего равных.

— Откуда взялась Христианская Наука? Это божий дар или она появилась невзначай, сама собой?

— В некотором смысле она — божий дар. То есть ее могущество исходит от Бога, но честь открытия этого могущества и его предназначения принадлежит одной американской леди.

— Вот как? Когда же это случилось?

— В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Это незабвенная дата, когда боль, недуги и смерть навеки исчезли с лица земли. То есть исчезли те иллюзии, которые обозначаются этими словами. Сами же эти вещи вообще никогда не существовали; поэтому, как только было обнаружено, что их нет, они были легко устранены. История этого открытия и его сущность описаны вот в этой книжке, и...

— Книгу написала эта леди?

— Да, книгу написала она сама — всю, от начала до конца. Название книги — «Наука и здоровье, с толкованием библии», потому что леди разъясняет Библию; раньше никто ее не понимал. Даже двенадцать апостолов. Я вам прочитаю начало.

Но оказалось, что она забыла очки.

— Ничего, это не важно, — сказала она. — Я помню слова, — ведь все мы, проповедники Христианской Науки, знаем книгу наизусть; в нашей практике это необходимо. Иначе бы мы совершали ошибки и причиняли зло. Итак, слушайте: «В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году я открыла Науку метафизического врачевания и назвала ее «Христианской Наукой». Дальше она говорит — и я считаю, что это сказано великолепно: «Посредством Христианской Науки религия и медицина одухотворяются новой божественной природой и сутью, вера и понимание обретают крылья, а мысли общаются непосредственно с Богом», — это ее слова в точности.

— Очень изящно сказано. И кроме того, это блестящая идея — обручить бога с медициной, а не медицину с гробовщиком, как было раньше; ведь бог и медицина, собственно, уже принадлежат друг другу, будучи основой нашего духовного и физического здоровья. Какие лекарства вы даете при обычных болезнях, например...

— Мы никогда не даем лекарств, ни при каких обстоятельствах! Мы...

— Но, миссис Фуллер, ведь там сказано...

— Меня это совершенно не интересует, и я не хочу об этом говорить.

— Я очень сожалею, если чем-то вас задел, но ваша реплика как будто противоречит...

— В Христианской Науке нет никаких противоречий. Они невозможны, так как наука абсолютна. Иначе и не может быть, ибо ее непосредственный источник — Начало Начал, Всеобъемлющий, а также Душа — один из многих, единственный и не имеющий себе равных. Это одухотворенная математика, очищенная от материального шлама.

— Это я понимаю, но...

— Она зиждется на несокрушимой основе Аподиктического Принципа.

Слово расплющилось о мой череп, пытаюсь пробиться сквозь него, и оглушило меня, но прежде чем я успел задать вопрос о том, какое оно имеет отношение к делу, она уже разъяснила:

— Аподиктический Принцип — это абсолютный принцип Научного Врачевания Духом, верховное Всемогущество, избавляющее сынов и дочерей человеческих от всякого зла, которому подвержена плоть.

— Но, конечно, не от всякого зла, не от всякого разрушения?

— От любого, без исключений; такой вещи, как разрушение, нет. Оно нереально; оно не существует.

— Но без очков ваше слабеющее зрение не позволяет вам...

— Мое зрение не может слабеть; ничто не может слабеть; Дух — владыка, а Дух не допускает упадка.

Она вещала под наитием Третьей Ступени, поэтому возражать не имело смысла. Я переменял тему и стал опять расспрашивать о Первооткрывательнице.

— Открытие произошло внезапно, как это случилось с Клондайком, или оно долгое время готовилось и обдумывалось, как было с Америкой?

— Ваши сравнения кощунственны — они относятся к низменным вещам... но оставим это. Я отвечу словами самой Первооткрывательницы: «Бог в своей милосердии много лет готовил меня к тому, чтобы я приняла ниспосланное свыше откровение — абсолютный принцип Научного Врачевания Духом».

— Вот как, много лет? Сколько же?

— Тысячу восемьсот!

— Бог — Дух, Дух — бог, Бог — добро, истина, кости, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — это потрясающе!

— У вас есть все основания удивляться, сэр. И однако это чистая правда. В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясное упоминание об этой американской леди, нашей уважаемой и святой Основательнице, и там же есть пророчество о ее приходе; святой Иоанн не мог яснее на нее указать, разве что назвав ее имя.

— Как это невероятно, как удивительно!

— Я приведу ее собственные слова из «Толкования библии»: «В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясный намек, касающийся нашего, девятнадцатого века». Вот — заметили? Запомните хорошенько.

— Но что это значит?

— Слушайте, и вы узнаете. Я опять приведу ее вдохновенные слова: «В откровении святого Иоанна, там, где говорится о снятии Шестой Печати, что произошло через шесть тысяч лет после Адама, есть одна знаменательная подробность, имеющая особое отношение к нашему веку». Вот она:

«Глава XII, 1. — И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд».

Это наш Вождь, наша Мать, наша Первооткрывательница Христианской Науки, — что может быть яснее, что может быть несомненнее! И еще обратите внимание на следующее:

«Глава XII, 6. — А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от бога».

— Это Бостон. Я узнаю его. Это грандиозно! Я потрясен! Раньше я совершенно не понимал этих мест; пожалуйста, продолжайте ваши... ваши... доказательства.

— Прекрасно. Слушайте дальше:

«И видел я другого Ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над его головою была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая».

Раскрытая книжка... Просто книжка... что может быть скромнее? Но значение ее так громадно! Вы, вероятно, догадались, что это была за книжка?

— Неужели?..

— Я держу ее в руках — Христианская Наука!

— Любовь, печень, свет, кости, вера, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — я не могу прийти в себя от изумления!

— Внимайте красноречивым словам нашей Основательницы: «И тогда голос с неба воззвал: «Пойди возьми раскрытую книжку; возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». Смертный, склонись перед святым глаголом. Приступи к Божественной Науке. Прочитай ее с начала, и до конца. Изучи ее, размышляй над ней. Пригуби ее, она действительно будет сладка на вкус и исцелит тебя, но когда ты переваришь ее и ощутишь горечь, то не ропщи против Истины». Теперь вы знаете историю нашей несравненной и Божественной Святой Науки, сэр, и знаете, что на нашей земле она была только открыта, но происхождение ее божественное. А теперь я оставлю вам книгу и уйду, но вы ни о чем не тревожьтесь, — я буду пользоваться вас заочно до тех пор, пока не отойду ко сну.

Глава III

Под магическим воздействием заочного и очного врачевания вместе взятых мои кости стали медленно втягиваться внутрь и пропадать из виду. Это благое дело началось в бодром темпе и шло полным ходом. Мое тело усердно растягивалось и всячески выгибалось, чтобы облегчить восстановительный процесс, и через каждую минуту-две я слышал негромкий щелчок где-то у себя внутри, — и мне было понятно, что в этот миг два конца сломанной кости успешно соединились. Приглушенное пощелкивание, и поскрипывание, и скрежетание, и постукивание не прекращалось в течение последующих трех часов; затем все стихло — сломанные кости срослись, все до одной. Остались только вывихи, их было семь, не больше, — вывихи бедер, плечей, колен и шеи, — так что с ними скоро было покончено; один за другим они скользнули в свои суставы с тупым звуком — как будто где-то хлопнула пробка, и я вскочил на ноги весь как новенький, без единого изъяна, если говорить о скелете, и послал за коновалом.

Мне пришлось это сделать из-за насморка и болей в желудке: я не собирался снова доверить их женщине, которой я не знал и в чьей способности лечить простые болезни окончательно разочаровался. У меня были на то веские основания — ведь насморк и боли в желудке были ей вверены с самого начала, так же как и переломы, и она ничуть их не облегчила, — напротив, желудок болел все сильнее и сильнее, все резче и невыносимей, — теперь, пожалуй, из-за того, что я уже много часов ничего не ел и не пил.

Пришел коновал, очень милый человек, полный рвения и профессионального интереса к больному. Что же касается запаха, который от него исходил, то он был довольно-таки пронзительный: откровенно говоря, от него несло конюшной, и я попробовал тут же договориться с ним о заочном лечении, но это было не по его части, и поэтому из деликатности я не стал настаивать. Он осмотрел мои зубы, прощупал бабки и заявил, что мой возраст и общее состояние позволяют ему прибегнуть к энергичным мерам, поэтому он даст мне кое-что, чтобы превратить боль в желудке в ящур, а насморк в вертячку, тогда он окажется в своей стихии и; ему будет проще простого меня вылечить. Он намешал в бадейке пошла из отрубей и

сказал, что полный ковш через каждые два часа вперемежку с микстурой, приготовленной из скипидара с колесной мазью, либо вышибет из меня мои недуги в двадцать четыре часа, либо вызовет разнообразные ощущения другого порядка, которые заставят меня позабыть о своих болезнях. Первую дозу он дал мне сам, а потом ушел, сказав на прощанье, что мне можно есть и пить все, чего мне только ни захочется, в любых количествах. Но я уже больше не был голоден, и пища меня не интересовала.

Я взял книгу о Христианской Науке, оставленную миссис Фуллер, и прочитал половину. Потом выпил полный ковш микстуры и дочитал до конца. Пережитое мною после этого было очень интересно и полно неожиданных открытий. Пока во мне совершался процесс перехода болей в ящур, а насморк в вертячку, сквозь бурчанье, шипенье, сотрясения и бульканье, сопровождавшие его, я все время ощущал интенсивную борьбу за первенство между пойлом, микстурой и литературой, причем часто я не мог точно определить, которая одерживает верх, и легко мог отличить литературу от двух других, только когда те были порознь, а не смешаны, потому что смесь пойла из отрубей с эклектической микстурой как две капли воды похожа на разбушевавшийся Аподиктический Принцип, и никто на свете не отличил бы их друг от друга. Наконец дело подошло к финишу, все эволюции завершались с полным успехом, но я думаю, что результат мог быть достигнут и при меньшей затрате материалов. Пойло, вероятно, было необходимо, чтобы превратить желудочные боли в ящур, но я уверен, что вертячку ничего не стоило получить от одной только литературы и что вертячка, добытая таким путем, была бы лучшего качества и более стойкая, чем любая выведенная искусственными методами коновала.

Потому что среди всех странных, безумных, непонятных и необъяснимых книг, созданных воображением человека, пальма первенства несомненно принадлежит этой. Она написана в духе безграничной самоуверенности и самодовольства, а ее напор, ее пыл, ее непробиваемая серьезность часто создают иллюзию красноречия, даже когда в словах вы не улавливаете и тени смысла. Существует множество людей, которые воображают, что эта книга им понятна: я это знаю потому, что беседовал с ними; но во всех случаях эти же люди воображали, что болей, недугов и смерти не существует в природе и что в мире вообще нет реальных вещей — фактически не существует ничего, кроме Духа. Это обстоятельство несколько снижает ценность их мнения. Когда эти люди говорят о Христианской Науке, они поступают так, как миссис Фуллер: они выражаются не своими словами, а языком книги; они обрушивают вам на голову эффектную чепуху, и вы только позднее обнаруживаете, что все это не выдумано ими, а просто процитировано; кажется, они знают этот томик наизусть и благоговеют перед ним, как перед святыней, — мне следовало бы сказать: как перед второй библией. Эта книга была явно написана на стадии умственного опустошения, причиненного Третьей Ступенью, и я уверен, что никто, кроме пребывающих на этой Ступени, не мог бы обнаружить в ней хоть каплю смысла. Когда вы читаете ее, вам кажется, что вы слышите бурную, сокрушительную, пророческую речь на непонятном языке, вы постигаете ее дух, но не то, о чем в ней говорится. Или еще так: вам кажется, что вы слушаете какой-то мощный духовой инструмент — он ревет, полагая, что это мелодия, а те, кто не играет в оркестре, слышат просто воинственный трубный звук, — этот призыв только возбуждает душу, но ничего ей не говорит.

Невозможное самодовольство, которым пропитана эта книга, как будто бы отдает божественным происхождением, — оно не сродни ничему земному. Простому смертному несвойственна такая непоколебимая уверенность во всем, чувство такого безграничного превосходства, такое бездумное любованье собой. Никогда не предъясняя ничего такого, что можно было бы по праву назвать веским словом «доказательство», а порой даже вовсе ни на что не ссылаясь и ни на чем не основывая свои выводы, она громогласно вещает: Я ДОКАЗАЛА то-то и то-то. Чтобы установить и разъяснить смысл какого-нибудь одного-единственного, еще не растолкованного отрывка из библии, нужен авторитет папы и всех столпов его церкви, нужна огромная затрата времени, труда и размышлений, но автор выше всего этого: она видит всю библию в девственном состоянии и при ничтожной затрате времени и без всякой затраты

умственных усилий толкует ее от корки до корки, изменяет и исправляет значения, а затем авторитетно разъясняет их, манипулируя формулами такого же порядка, как «Да будет свет! И стал свет». Впервые с сотворения мира над долами, водами и весями прогромыхал такой невозмутимо самодовольный, беззастенчивый и безапелляционный голос*****.

Глава IV

Никто не сомневается в том, что дух оказывает на тело громадное влияние; я тоже в этом уверен. С давних времен колдун, толкователь снов, гадалка, знахарь, шарлатан, лекарь-самоучка, образованный врач, месмерист и гипнотизер в своей практике использовали воображение клиента. Все они признавали наличие и могущество этой силы. Врачи исцеляют многих больных хлебными пилюлями: они знают, что там, где болезнь порождена фантазией, вера пациента в доктора придаст и хлебным пилюлям целительное свойство.

Вера в доктора. Пожалуй, все дело именно в этом. Да, похоже, что так. Некогда монарх исцелял язвы одним прикосновением царственной руки. Часто он совершал поразительные исцеления. Мог ли сделать то же самое его лакей? Нет, в своем платье не мог. А переодетый королем, мог ли он это сделать? Я думаю, нам не приходится в этом сомневаться. Я думаю, мы можем быть совершенно уверены в том, что в любом случае исцеляло не прикосновение руки короля, а вера больного в чудодейственность этого прикосновения. Подлинные и замечательные исцеления совершались возле святых мощей. Разве нельзя допустить, что любые другие кости подействовали бы на больного точно так же, если бы от него скрыли подмену? Когда я был мальчишкой, в пяти милях от нашего городка жила фермерша, которая прославилась как

***** Январь, 1903. Любая книга с новой и необычной терминологией при первом чтении почти наверняка оставляет читателя в смятенном и саркастическом состоянии духа. Но теперь, когда за последние два месяца я прилежно изучил специальный словарь «Науки и здоровья», я уже больше не считаю суть этой книги трудной для понимания. — М. Т.

P. S. Мудрость, которую я извлек из вышеизложенного, уже оказала мне услугу и в одном случае избавила от неприятностей. Около месяца тому назад я получил из одного университета труд доктора Эдварда Энтони Шпитцка — «Анатомия мозга у различных рас». Я решил, что университету желательно получить мой отзыв об этом труде, был очень польщен оказанным мне вниманием и ответил, что представлю его в ближайшее время. В тот же вечер я бросил изнурительные блуждания в дебрях Христианской Науки и взялся за дело. Я написал одну взволнованную главу и решил кончить отзыв на следующий день, но тут мне пришлось отлучиться на неделю, и скоро меня увлекли совсем другие интересы. И только сегодня, после почти месячного промежутка, я снова вернулся к своей главе о мозге. За это время я обрел новую мудрость и перечитал все написанное мною с великим стыдом. Я понял, что начал эту работу совсем не в том настроении, в каком следовало, — далеко не в том спокойном и беспристрастном состоянии духа, которого она вполне заслуживала. На затравку я взял для разбора следующий абзац:

«Борозды париетальных и окципитальных долей мозга (латеральная поверхность). — Постцентральный комплекс. — В полушарии постцентральная и субцентральная борозды соединяются, чтобы образовать непрерывную борозду, достигающего 8,5 см длины. Дорсально борозда раздваивается, образуя гиреу, обозначенный каудальным концом парацентральной борозды. К каудальному концу парацентральной борозды подходит транспариетальная извилина. Всего от объединенной борозды отходит пять ответвлений. Вадум отделяет ее от париетальной; другой вадум — от центральной».

Каким жалким я чувствую себя сейчас, когда вижу, как я тогда распалился на этот абзац и с каким презрением о нем писал. Я писал, что стиль автора ужасный — тяжеловесный, хаотический, временами безудержный; что вопрос трактуется запутанно и неверно, а это может только поставить читателя в тупик; что недостаток простоты усугубляется бедностью словаря; что автор не знает меры в выражении своих чувств; что если бы у меня был пес, который пришел бы в такое возбужденное и сумбурное состояние по поводу столь спокойного предмета, как анатомия головного мозга, я бы перестал платить за него налог; и тут я сам разволновался и наговорил кучу резкостей по поводу всей этой собачьей чуши и заявил, что с таким же успехом можно пытаться понять «Науку и здоровье».

Теперь-то я знаю, что меня подвело, и радуюсь тому перерыву, который помешал мне послать отзыв в университет. Я холодею при одной мысли о том, что бы обо мне там подумали. — М.Т.

врачевательница верой, — так она себя называла. Страждущие стекались к ней со всей округи, она возлагала на них руку и говорила: «Веруй; это все, что тебе нужно»; и они уходили, забыв о своей хвори. Она не была религиозной женщиной и не претендовала на обладание какой-то сверхъестественной целительной силой. Она признавала, что исцеления совершает вера больного в нее. Несколько раз она при мне мгновенно излечивала от жестоких зубных болей, — пациенткой была моя мать. В Австрии есть один крестьянин, который на этом ремесле основал целое коммерческое дело и лечит и простых и знатных. Время от времени его сажают в тюрьму за то, что он практикует, не имея диплома, но когда он оттуда выходит, его дело по-прежнему процветает, потому что лечит он бесспорно успешно, и репутация его ущерба не несет. В Баварии есть человек, который совершил так много исцелений, что ему пришлось бросить свою профессию театрального плотника, чтобы удовлетворить спрос постоянно растущей массы клиентов. Год за годом он творит свои чудеса и уже разбогател. Он не делает вида, что ему помогает религия или какие-то потусторонние силы, — просто, как он считает, в нем есть что-то, что вызывает у пациентов доверие; все дело в этом доверии, а совсем не в какой-то таинственной силе, исходящей от него*****.

За последнюю четверть века в Америке появилось несколько врачующих сект под различными названиями, и все они значительно преуспели в лечении недугов без применения лекарств. Среди них есть Врачевание Духом, Врачевание Верой, Врачевание Молитвой, Врачевание Психической Наукой и Врачевание Христианской Наукой. И совершенно несомненно, что все они совершают чудеса при помощи того же старого, всемогущего орудия — воображения больного. Названия разные, хотя в способе лечения никакой разницы нет. Но секты не воздают должного этому орудию: каждая заявляет, что ее метод лечения разнится от методов всех других.

Все они могут похвастаться случаями исцелений, с этим не приходится спорить; Врачевание Верой и Врачевание Молитвой, когда они не приносят пользы, пожалуй не приносят и вреда, потому что они не запрещают больному прибегать к помощи лекарств, если он того пожелает; другие же запрещают лекарства и заявляют, что они способны вылечить любую болезнь человека, какая только существует на земле, применяя одни духовные средства. Здесь, мне кажется, есть элемент опасности. Я думаю, что они слишком много на себя берут. Доверие публики, пожалуй, повысилось бы, если бы они меньше на себя брали.

Проповедница Христианской Науки не смогла вылечить меня от болей в желудке и насморка, но коновалу это удалось. Это убеждает меня в том, что Христианская Наука слишком много на себя берет. Я думаю, что ей следовало бы оставить внутренние болезни в покое и ограничиться хирургией. Здесь она могла бы развернуться, действуя своими методами.

Коновал потребовал с меня тридцать крейцеров, и я ему заплатил; мало того, я удвоил эту сумму и дал ему шиллинг. Миссис Фуллер прислала длинный счет за ящик костей, починенных в двухстах тридцати четырех местах — один доллар за каждый перелом.

— Кроме Духа, ничего не существует?

— Ничего, — ответила она. — Все остальное несубстанциально, все остальное — воображаемое.

Я дал ей воображаемый чек, а теперь она преследует меня по суду, требуя субстанциальных долларов. Где же тут логика?

Перевод Т. Рузской

***** Январь, 1903. Мне самому хорошо известно одно «чудесное» исцеление от паралича, который целых два года держал больную в постели, несмотря на все старания лучших нью-йоркских врачей. Странствующий «шарлатан» (так его называли) заходил к ней всего два раза по утрам, он поднял больную с постели и сказал: «Иди!» — И больная пошла. Тем дело и кончилось. Это было сорок два года тому назад. И с тех пор больная ходит. — М. Т.

МОИ ЧАСЫ

(Поучительный рассказик)

Мои прекрасные новые часы полтора года шли не отставая и не спеша. Они ни разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величайшим авторитетом по части указания времени и рассматривал их анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но в конце концов я как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия.

На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой паузы он сказал: «Часы опаздывают на четыре минуты — надо передвинуть регулятор». Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, этот капустный кочан не желал ничего слушать, он видел только одно — что мои часы опаздывают на четыре минуты и, следовательно, надо передвинуть регулятор; и вот, пока я в тревоге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них доходил до ста пятидесяти в тени. Через два месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе и дней на тринадцать с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом денег за квартиру, с уплатой по счетам; и это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда-нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью, он набросился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из-под игральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходил не вовремя к обеду; три дня отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один-одинешенек болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое-то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус «вспучило». Он сказал, что в три дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично но только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса; и пока этот шум не прекращался ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую половину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, которые были ими оставлены позади теперь догоняли их, И к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад, я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан.

Он починил шкворень, но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то шли, то останавливались и стояли или шли сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское ружье. Я подложил на грудь ваты, но в конце концов не выдержал и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на части и стал рассматривать их бранные останки в лупу, потом сказал, что, кажется, что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в механизме нужно поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и мои часы шли ничего себе, только время от времени внутри механизма что-то вдруг приходило в неистовое движение и начинало жужжать, как пчела, причем стрелки вращались с такой быстротой, что очертания их тускнели и циферблат был виден словно сквозь паутину. Весь суточный оборот они совершали минут в шесть или семь, потом со щелканьем останавливались. Как ни тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили двести долларов, починка обошлась мне тысячи в две-три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем старого знакомого — парходного механика, да и механика-то не из важных. Он внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь как делали другие часовщики, и так же уверенно произнес свой приговор. Он сказал:

— Придется спустить в них пары: надо бы навинтить еще одну гайку на предохранительный клапан!

Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. Мой дядя Уильям (теперь, увы, покойный) говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил удила, а хорошие часы — пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы, но никто так и не мог ему этого объяснить.

Перевод Н. Дарузес

МАК-ВИЛЬЯМСЫ И КРУП

(Рассказано автору мистером Мак-Вильямсом, симпатичным джентльменом из Нью-Йорка, с которым автор случайно познакомился в дороге)

— Ну-с, так вот, чтобы вернуться к нашему разговору... — я отклонился в сторону, рассказывая вам, как в нашем городе свирепствовала эта ужасная и неизлечимая болезнь круп и как все матери сходили с ума от страха, — я как-то обратил внимание миссис Мак-Вильямс на маленькую Пенелопу и сказал:

— Милочка, на твоём месте я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку.

— Милый, ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ребенка-щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание; я хочу сказать: замужние женщины.

Я ответил:

— Дорогая, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребенок.

Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороге и опять легла на колени. Миссис Мак-Вильямс сдержалась (это было заметно) и сказала:

— Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь: все доктора как один говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике.

— Ах, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник и что наш домашний врач посоветовал...

— А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник?

— Дорогая, ты сама мне подала эту мысль.

— Ничего подобного! Никогда я этой мысли не подавала!

— Ну что ты, милая! И двух минут не прошло, как ты сказала...

— Ничего я не говорила! Да все равно, если даже и сказала!

Девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь. И она будет жевать сколько захочет. Да, будет!

— Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу два-три воза самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда я...

— Ах, ступай, ради бога, в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем споришь и что говоришь.

— Очень хорошо, пусть будет по-твоему. Но я не вижу логики в твоём последнем замечании, оно...

Я не успел еще договорить, как миссис Мак-Вильямс демонстративно поднялась с места и вышла, уводя с собою ребенка. Когда я вернулся домой к обеду, она встретила меня белая, как полотно.

— Мортимер, еще один случай! Заболел Джорджи Гордон.

— Круп?

— Круп!

— Есть еще надежда на спасение?

— Никакой надежды. О, что теперь с нами будет! Скоро нянька привела нашу Пенелопу попрощаться на ночь и, как всегда, прочитает молитву, стоя на коленях рядом с матерью.

Не дочитав и до половины, девочка вдруг слегка закашлялась. Моя жена вздрогнула, словно пораженная насмерть. Но тут же оправилась и проявила ту кипучую энергию, какую обыкновенно внушает неминуемая опасность.

Она велела перенести кроватку ребенка из детской в нашу спальню и сама пошла проверить, как выполняют ее приказание. Меня она, конечно, тоже взяла с собой. Все было устроено в два счета. Для няньки поставили раскладную кровать в туалетной. Но тут миссис Мак-Вильямс сказала, что теперь мы будем слишком далеко от второго ребенка: а вдруг и у него появятся ночью симптомы? И она опять вся побелела, бедняжка.

Тогда мы водворили кроватку и няньку обратно в детскую и поставили кровать для себя в соседней комнате.

Однако миссис Мак-Вильямс довольно скоро высказала новое предположение: а что, если малютка заразится от Пенелопы? Эта мысль опять повергла в отчаяние ее материнское сердце, и хотя мы все вместе старались вынести кроватку из детской как можно скорее, ей казалось, что мы копаемся, несмотря на то, что она сама помогала нам и второпях чуть не поломала кроватку.

Мы перебрались вниз, но там решительно некуда было девать няньку, между тем миссис Мак-Вильямс сказала, что ее опыт для нас просто неоценим. Поэтому мы опять вернулись со всеми пожитками в нашу собственную спальню, чувствуя великую радость, как птицы, после бури вернувшиеся в свое гнездо.

Миссис Мак-Вильямс побежала в детскую — посмотреть, что там делается. Через минуту она вернулась, гонимая новыми страхами. Она сказала:

- Отчего это малютка так крепко спит? Я ответил:
- Что ты, милочка, он всегда спит как каменный.
- Знаю. Я знаю. Но сейчас он спит как-то особенно. Он отчего-то дышит так... так ровно...

Это ужасно!

— Но, дорогая, он всегда дышит ровно.

— Да, я знаю, но сейчас мне что-то страшно. Его няня слишком молода и неопытна. Пусть с ней останется Мария, чтобы быть под рукой на всякий случай.

— Мысль хорошая, но кто же будет помогать тебе?

— Мне pomoжешь ты. А впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время, я все сделаю сама.

Я сказал, что с моей стороны было бы низостью лечь в постель и спать, когда она, не смыкая глаз, будет всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Но она уговорила меня лечь. Старуха Мария ушла на свое прежнее место, в детскую.

Пенелопа во сне кашлянула два раза.

— О боже мой, почему не идет доктор! Мортимер, в комнате слишком жарко. Выключи отопление, скорее!

Я выключил отопление и посмотрел на градусник, удивляясь про себя: неужели двадцать градусов слишком жарко для больного ребенка?

Из города вернулся кучер и сообщил, что наш доктор болен и не встает с постели. Миссис Мак-Вильямс взглянула на меня безжизненными глазами и сказала безжизненным голосом:

— Это рука провидения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жили не так, как надо, Мортимер. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь, вот результаты. Наша девочка не поправится. Хорошо, если ты сможешь простить себе; я же себе никогда не прощу.

Я сказал, не намереваясь ее обидеть, но, быть может, не совсем осторожно выбирая слова, что не вижу, чем же мы плохо жили.

— Мортимер! Ты и на малютку хочешь навлечь кару Божию!

И тут она начала плакать, но потом воскликнула:

— Но ведь доктор должен был прислать лекарства! Я сказал:

— Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты мне позволишь сказать хоть слово.

— Хорошо, подай их мне! Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда?

Впрочем, какой смысл посылать лекарства, ведь он же знает, что болезнь неизлечима!

Я сказал, что, пока ребенок жив, есть еще надежда.

— Надежда! Мортимер, ты говоришь, а сам ничего не смыслишь, хуже новорожденного младенца. Если бы ты... Боже мой, в рецепте сказано — давать по чайной ложечке через час! Через час — как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка! Мортимер, скорее, пожалуйста! Дай нашей умирающей бедняжке столовую ложку лекарства, ради бога скорее.

— Что ты, дорогая, от столовой ложки ей может...

— Не своди меня с ума... Ну, ну, ну, мое сокровище, моя деточка, лекарство гадкое, горькое, но от него Нелли поправится... поправится мамина деточка, сокровище, будет совсем здоровенькая... Вот, вот так, положи головку маме на грудь и усни, и скоро, скоро... Боже мой, я чувствую, она не доживет до утра! Мортимер, если давать столовую ложку каждые полчаса, тогда... Ей нужно давать белладонну, я знаю, что нужно, и аконит тоже. Достань и то и другое, Мортимер. Нет уж, позволь мне делать по-своему. Ты ничего в этом не понимаешь.

Мы легли, поставив кровать как можно ближе к изголовью жены. Вся эта суматоха утомила меня, и минуты через две я уже спал как убитый.

Меня разбудила миссис Мак-Вильямс:

— Милый, отопление включено?

— Нет.

— Я так и думала. Пожалуйста, включи поскорее. В комнате страшно холодно.

Я повернул кран и опять уснул. Она опять разбудила меня.

— Милый, не передвинешь ли ты кровать поближе к себе? Так будет ближе к отоплению.

Я передвинул кровать, но задел при этом за ковер и разбудил девочку. Пока моя жена утешала страдалицу, я опять уснул. Однако через некоторое время сквозь пелену сна до меня дошли следующие слова:

— Мортимер, хорошо бы гусяного сала... Не можешь ли ты позвонить?

Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, которая ответила громким воплем и получила бы за это пинок, если бы он не достался стулу.

— Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка!

— Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся.

— Кстати уж посмотри, цел ли стул... По-моему, сломался. Несчастливая кошка, а вдруг ты ее...

— Что «вдруг я ее...»? Не говори ты мне про эту кошку. Если бы Мария осталась тут помогать тебе, все было бы в порядке. Кстати, это скорей ее обязанность, чем моя.

— Мортимер, как ты можешь так говорить? Ты не хочешь сделать для меня пустяка в такое ужасное время, когда наш ребенок...

— Ну, ну, будет, я сделаю все что нужно. Но я никого не могу дозваться. Все спят! Где у нас гусяное сало?

— На камине в детской. Пойди туда и спроси у Марии.

Я сходил за гусяным салом и опять лег. Меня опять позвали:

— Мортимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только поднести спичку.

Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии.

— Не сиди так, Мортимер, ты простудишься насмерть, ложись в постель.

Я хотел было лечь, но тут она сказала:

— Погоди минутку. Сначала дай ребенку еще лекарства.

Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и натерла с ног до головы гусяным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз.

— Мортимер, в комнате сквозняк. Очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кровать к камину.

Я придвинул, опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис Мак-Вильямс вскочила с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я опять уснул ненадолго, потом встал, по ее просьбе, и приготовил припарку из льняного семени. Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительное действие.

Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двадцать минут мне приходилось вставать, поправлять огонь в камине и подкладывать дров, и это дало миссис Мак-Вильямс возможность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило большое облегчение. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчичники и разные другие снадобья вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и жена послала меня в подвал за новой порцией.

Я сказал:

— Дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке, должно быть, и без того тепло, она накрыта двумя одеялами. Может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок?

Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, как только может храпеть человек, измаявшись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечо; это привело меня в сознание. Жена смотрела на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказала:

— Все кончено, Мортимер! Все кончено! Ребенок вспотел! Что теперь делать?

— Боже мой, как ты меня испугала! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вынести на сквозняк?..

— Ты идиот! Нельзя терять ни минуты! Поезжай немедленно к доктору. Поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать живой или мертвый.

Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор сказал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он дал ей чего-то, она закатилась кашлем и наконец выплюнула маленькую щепочку.

— Никакого крупа у ребенка нет, — сказал он. — Девочка жевала сосновую щепку или что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно.

— Да, — сказал я, — конечно не вредно, я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам это подтвердить.

Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты, — и это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо.

(Таким испытаниям, как мистер Мак-Вильямс, подвергались лишь очень немногие женатые люди. И потому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес для читателя.)

РАЗГОВОР С ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Вертлявый, франтоватый и развязный юнец, сев на стул, который я предложил ему, сказал, что он прислан от «Ежедневной Грозы», и прибавил:

— Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас интервью?

— Приехали для чего?

— Взять интервью.

— Ага, понимаю. Да, да. Гм! Да, да.

Я неважно себя чувствовал в то утро. Действительно, голова у меня что-то не варилась. Все-таки я подошел к книжному шкафу, но, порывшись в нем минут шесть-семь, принужден был обратиться к молодому человеку. Я спросил:

— Как это слово пишется?

— Какое слово?

— Интервью.

— О, боже мой! Зачем вам это знать?

— Я хотел посмотреть в словаре, что оно значит.

— Гм! Это удивительно, просто удивительно. Я могу вам сказать, что оно значит, если вы... если вы...

— Ну что ж, пожалуйста! Буду очень вам обязан.

— И-н, ин, т-е-р, тер, интер...

— Так, по-вашему, оно пишется через «и»?

— Ну конечно!

— Ах, вот почему мне так долго пришлось искать.

— Ну а по-вашему, уважаемый сэр, как же надо писать это слово?

— Я... я, право, не знаю. Я взял полный словарь и полистал в конце, не попадетсЯ ли оно где-нибудь среди картинок. Только издание у меня очень старое.

— Но, друг мой, такой картинки не может быть. Даже в самом последнем изд... Простите меня, я не хочу вас обидеть, но вы не кажетесь таким... таким просвещенным человеком, каким я себе вас представлял. Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть.

— О, не стоит извиняться! Я часто слышал и от таких людей, которые мне не станут льстить и которым нет нужды мне льстить, что в этом отношении я перехожу всякие границы. Да, да, это их всегда приводит в восторг.

— Могу себе представить. Но вернемся к нашему интервью. Вы знаете, теперь принято интервьюировать каждого, кто добился известности.

— Вот как, в первый раз слышу. Это, должно быть, очень интересно. И чем же вы действуете?

— Ну, знаете... просто в отчаяние можно прийти. В некоторых случаях следовало бы действовать дубиной, но обыкновенно интервьюер задает человеку вопросы, а тот отвечает. Теперь это как раз в большой моде. Вы разрешите задать вам несколько вопросов для уяснения наиболее важных пунктов вашей общественной деятельности и личной жизни?

— О пожалуйста, пожалуйста. Память у меня очень неважная, но, я надеюсь, вы меня извините. То есть она какая-то недисциплинированная, даже до странности. То скачет галопом, а то за две недели никак не может доползти куда требуется. Меня это очень огорчает.

— Не беда, вы все-таки постарайтесь припомнить, что можете.

— Постараюсь. Приложу все усилия.

— Благодарю вас. Вы готовы? Можно начать?

— Да, я готов.

— Сколько вам лет?

— В июне будет девятнадцать.

— Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. Где вы родились?

— В штате Миссури.

— Когда вы начали писать?

— В тысяча восемьсот тридцать шестом году.

— Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет?

— Не знаю. Действительно, что-то странно.

— Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы встречались?

— Аарона Барра.

— Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет.

— Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы познакомились с Барром?

— Это вышло случайно, на его похоронах: он попросил меня поменьше шуметь и...

— Силы небесные! Ведь если вы были на его похоронах, значит он умер, а если он умер, не все ли ему было равно, шумите вы или нет.

— Не знаю. Он всегда был на этот счет очень привередлив.

— Все-таки я не совсем понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и что он умер?

— Я не говорил, что он умер.

— Но ведь он умер?

— Ну, одни говорили, что умер, а другие, что нет.

— А вы сами как думаете?

— Мне какое дело? Хоронили-то ведь не меня.

— А вы... Впрочем, так мы в этом вопросе никогда не разберемся. Позвольте спросить вас о другом. Когда вы родились?

— В понедельник, тридцать первого октября тысяча шестьсот девяносто третьего года.

— Как! Что такое! Вам тогда должно быть сто восемьдесят лет? Как вы это объясняете?

— Никак не объясняю.

— Но вы же сказали сначала, что вам девятнадцать лет, а теперь оказывается, что вам сто восемьдесят. Чудовищное противоречие!

— Ах, вы это заметили? (Рукопожатие.) Мне тоже часто казалось, что тут есть противоречие, но я как-то не мог решить, есть оно или мне только так кажется. Как вы быстро все подмечаете!

— Благодарю за комплимент. Есть у вас братья и сестры?

— Э-э... я думаю, что да... впрочем, не могу припомнить.

— Первый раз слышу такое странное заявление!

— Неужели?

— Ну конечно, а как бы вы думали? Послушайте! Чей это портрет на стене? Это не ваш брат?

— Ах, да, да, да! Теперь вы мне напомнили: это мой брат. Это Уильям, мы его звали Билл. Бедняга Билл.

— Как? Значит, он умер?

— Да, пожалуй, что умер. Трудно сказать наверняка. В этом было много неясного.

— Грустно слышать. Он, по-видимому, пропал без вести?

— Д-да, вообще говоря, в известном смысле это так. Мы похоронили его.

— Похоронили его! Похоронили, не зная, жив он или умер?

— Да нет! Не в том дело. Умереть-то он действительно умер.

— Ну, признаюсь, я тут ничего не понимаю. Если вы его похоронили и знали, что он умер...

— Нет, нет! Мы только думали, что он умер...

— Ах, понимаю! Он опять ожил?

— Как бы не так!

— Ну, я никогда ничего подобного не слыхивал! Человек умер. Человека похоронили. Что же тут нелепого?

— Вот именно! В том-то и дело! Видите ли, мы были близнецы — мы с покойником, — нас перепутали и ванночке, когда нам было всего две недели от роду, и один из нас утонул. Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл. А другие — что я.

— Просто неслыханно! А вы сами как думаете?

— Одному богу известно! Я бы все на свете отдал, лишь бы знать наверное. Эта зловещая, ужасная загадка омрачила мою жизнь. Но я вам раскрою тайну, о которой никому на свете до сих пор не говорил ни слова. У одного из нас была особая примета — большая родинка на левой руке; это был я. Так вот этот ребенок и утонул.

— Ну и прекрасно. В таком случае не вижу никакой загадки.

— Вы не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как они могли до такой степени растеряться, что похоронили не того ребенка. Но ш-ш-ш... И не заикайтесь об этом при моих родных. Видит бог, у них и без того немало горя.

— Ну, я думаю, материала у меня набралось довольно, очень признателен вам за любезность. Но меня очень заинтересовало ваше сообщение о похоронах Аарона Барра. Не скажете ли вы, какое именно обстоятельство заставляет вас считать Барра таким замечательным человеком?

— О! Сущий пустяк! Быть может, только один человек из пятидесяти обратил бы на это внимание. Панихида уже окончилась, процессия уже собиралась отправиться на кладбище,

покойника честь честью устроили на катафалке, как вдруг он сказал, что хочет в последний раз полюбоваться пейзажем, встал из гроба и сел рядом с кучером.

Молодой человек почтительно и поспешно откланялся. Он был очень приятным собеседником, и я пожалел, что он уходит так быстро.

ЧЕРНОКОЖИЙ СЛУГА ГЕНЕРАЛА ВАШИНГТОНА *(Биографический очерк)*

Необычайная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью, — иными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слышать о нем; мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительнейшую карьеру, и я решил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот почему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их вниманию публики. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать эту работу в школы нашей страны как учебное пособие для молодежи.

Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой служил своему великому господину, все это время пользовался его особым расположением и доверием и наконец исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в тихую могилу на берегу Потомака. Десять лет спустя — в 1809 году, обремененный годами и наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская «Газета» сообщила об этом так:

«В четверг в Ричмонде, штат Виржиния, в почтенном возрасте 95 лет умер любимый слуга покойного Вашингтона-Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах и отчетливо, до мелочей помнил эти знаменательные события».

С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда он умер снова. Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так:

«В Мейконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мысли и отчетливо помнил вторичное избрание Вашингтона, его смерть и похороны, поражение Корнваллиса, битву при Трентоне, невзгоды и лишения в Вэлли-Фордэд и т. д. Покойного провожало на кладбище все население Мойкона».

В 1830, а затем в 1834 и 1836 годы имя героя этого очерка звучало в торжественных выступлениях ораторов по случаю празднования Четвертого июля, а в ноябре 1840 года он умер снова. Сент-Луисская «Републикен» 25 числа этого месяца сообщала:

«ЕЩЕ ОДНОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО

Вчера, в нашем городе, в доме м-ра Джона Левенворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мысли вплоть до смертного часа и мог отчетливо вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне и Монмауте, невзгоды армии патриотов в Вэлли-Фордж, провозглашение Декларации независимости, речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии и другие волнующие события далекого прошлого. Не многих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены пышные похороны».

В следующие десять — одиннадцать лет героя этого очерка неоднократно прославляли на торжествах Четвертого июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались ораторы. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так:

«ЕЩЕ ОДНОГО СТАРОГО ГЕРОЯ НЕ СТАЛО

7 марта в Датч-Флэт, на 95-м году жизни, умер Джордж, некогда доверенный слуга генерала Вашингтона. В сокровищнице его памяти, которая но изменяла ему до последнего часа, хранилось множество интереснейших событий. Он отчетливо помнил первое и второе избрание и смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости и разгром Брэдока. Джордж пользовался в Датч-Флэт большим уважением, и по приблизительным подсчетам на его похоронах присутствовало около десяти тысяч человек».

Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года; и пока не поступят новые сведения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это печальное событие:

«ЕЩЕ ОДНОГО НЕЗАБВЕННОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО

На прошлой неделе в Детройте умер 95-летний патриарх, некогда любимый слуга генерала Вашингтона — негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Вашингтона президентом и его смерть, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер-Хилло, провозглашение Декларации независимости, разгром Брэдока, «Бостонское чаепитие» и высадку английских колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа».

Не стало старого верного слуги! Нам уж не увидеть его больше, пока он не воскреснет снова. На этот раз его долгая блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, как спят только те, кто заслужил свой отдых. Это была личность во всех отношениях замечательная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бремя своих лет; и чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если б он ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки.

Полагаю, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильна, хотя возможно, что он два раза умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95 лет от роду. Это исключено. В таком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если впервые он и скончался 95 лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть около двадцати, когда он стал свидетелем этого события, следовательно можно считать, что к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было примерно лет двести шестьдесят — двести семьдесят.

Выждав достаточное время, дабы убедиться, что герой этого очерка покинул нас окончательно и бесповоротно, я теперь смело публикую его биографию и почтительно предлагаю ее безутешной нации.

P. S. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Арканзасе. Таким образом, он умирает уже шестой раз, и опять в новом месте. Смерть слуги генерала Вашингтона теперь уже не новость, ее очарование исчезло; мы сыты ею по горло, с нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр заставил

население шести городов устроить ему пышные похороны и надул десятки тысяч людей, которые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь выпала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, которая когда-либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, умер снова.

ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБАКА

Относительно табака существует уйма предрассудков. И главный из них — будто в этом вопросе есть какой-то общий критерий, тогда как такого критерия нет. Привычка — вот единственный критерий, только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется. Всемирный конгресс любителей табака и тот не мог бы найти эталон хотя бы для двух курильщиков и вряд ли повлиял бы на их привычки.

Другой предрассудок состоит в том, будто бы у каждого курильщика есть свой собственный критерий. Такого критерия у него нет. Он думает, что есть, но на самом деле — нет. Он думает, что может отличить сигару, которую считает хорошей, от сигары, которую считает плохой, но он этого не может. Он судит по марке, а воображает, что судит по вкусу табака. Подсунь ему самую дрянную подделку, но с его любимой маркой — он с удовольствием выкурит ее и ничего не заподозрит.

Двадцатипятилетние юнцы с семилетним опытом курения пытаются мне втолковать, какие сигары хорошие, а какие плохие. Это мне-то! Да мне даже не надо было учиться курить — я курил всю свою жизнь; да я только появился на свет — сразу попросил огонька!

Никому не дано знать, какая сигара для меня хороша! В этом деле я сам себе судья. Люди, считающие себя знатоками по части сигар, утверждают, что я курю самые дрянные сигары в мире. Они приходят ко мне в гости со своими сигарами и, как только увидят, что им грозит знакомство с моим сигарным ящиком, проявляют недостойный страх и врут, что им нужно бежать на свидания, которых они вовсе и не назначали. А теперь посмотрим, до чего могут довести предрассудки, особенно если за человеком установилась определенная репутация. Однажды я пригласил на ужин двенадцать близких друзей. Один из них славился своим пристрастием к дорогим, изысканным сигарам, точно так же как я — к дешевым и скверным. Предварительно я наведалься к нему и, когда никто не видел, заимствовал из его ящика две пригоршни его любимых сигар; они стоили по сорок центов штука и в знак своего благородного происхождения были украшены красным с золотом ярлыком. Я содрал ярлык и положил сигары в ящик, на котором красовалась моя излюбленная марка — все мои друзья знали эту марку и боялись ее, как заразы. Когда после ужина я предложил сигары, они закурили, героическими усилиями стараясь выдержать выдавшее на их долю испытание. Веселость их как рукой сняло, все сидели в мрачном молчании. Их мужественной решимости хватило ненадолго: один за другим друзья бормотали извинения и с неприличной поспешностью бросались вон из дома, наступая друг другу на пятки. Когда утром я вышел посмотреть, чем кончился мой эксперимент, все сигары валялись на дорожке между парадной дверью и калиткой. Все, кроме одной — эта лежала на тарелке моего друга, у которого я их позаимствовал. Видно, больше двух затяжек он не вынес. Позднее он сказал мне, что когда-нибудь меня пристрелят, если я буду травить людей такими сигарами.

Уверен ли я сам в том, что люблю какие-то определенные сигары? Ну конечно абсолютно уверен — если только кто-нибудь не надует меня и не наклеит мою марку на какую-нибудь дрянью, — ведь я, как и все, отличаю мои сигары по марке, а вовсе не по вкусу. Однако я человек разносторонний, и нравится мне многое. Например, я считаю хорошими все те сигары, которые не курит никто из моих друзей, а те, которые они считают хорошими, я считаю плохими.

Пожалуй, меня устроит любая сигара, кроме гаванской. Люди думают, что уязвляют меня в лучших чувствах, являясь ко мне в гости в спасательных поясах, то есть хочу сказать — с собственными сигарами в карманах. Но они глубоко ошибаются: в подобных обстоятельствах я принимаю те же самые меры. Когда я иду в опасное место, то есть в богатый дом, где, как водится, курят только дорогие сигары с красным с золотом пояском, а хранятся они в ящичке из розового дерева, выложенного влажной губкой; сигары, на которых нарастает гнусный черный пепел и которые горят с одного бока, и воняют, и жгут пальцы, — жгут все сильнее и сильнее и воняют все омерзительнее, когда огонь уже пробрался вглубь, через благородный табак, — а его-то всего с наперсток в самом кончике сигары! — и в конце концов уже невозможно вынести эту вонь, а владелец сигары тем временем расхваливает ее на все лады и сообщает вам, сколько стоит эта отравка, — так вот, когда мне грозит такая опасность, я тоже принимаю меры защиты: я приношу с собой свою любимую марку — двадцать пять центов за ящик — и продолжаю жить на радость своему семейству. Я даже могу сделать вид, что закурил эту сигару в красной подвязке, — ведь я человек воспитанный, — но минуту спустя я незаметно сую ее в карман, чтобы отдать потом нищему, — их ко мне много ходит, — и закуриваю свою собственную; и когда хозяин начинает расхваливать сигары, я вторю ему, но когда он говорит, что они стоят сорок пять центов штука, я молчу, потому что мне-то лучше знать.

Однако, если уж говорить начистоту, я настолько терпим, что еще не встречал сигары, которую не мог бы курить. Не могу я курить только те, что стоят по доллару за штуку. Я их тщательно исследовал и установил, что делаются они из собачьей шерсти, и притом не лучшего качества.

Я неплохо провожу время в Европе, потому что на всём европейском континенте курят сигары, перед которыми сплеховал бы даже самый закаленный нью-йоркский мальчишка-газетчик. В прошлую поездку я захватил сигары с собой, но больше я этого делать не стану. В Италии, так же как и во Франции, торговля сигарами является правительственной монополией. В Италии есть три или четыре отечественных марки: «Мингетти», «Трабуко», «Виргиния», и еще одни сигары, похожие на виргинские, только еще злее. «Мингетти», большие и приятные на вид, стоят три доллара шестьдесят центов сотня; за неделю я могу выкурить их целую сотню — и все с удовольствием. «Трабуко» меня тоже вполне устраивают; сколько они стоят, не помню. А вот к виргинским надо привыкнуть, любовь к ним врожденной не бывает. Они похожи на напильник — тот, что называют «крысиный хвост»; правда, некоторые считают, что курить крысиный хвост еще хуже. В середину вложена соломина, ее надо выдернуть, и тогда останется вроде как дымоход, а то тяги будет не больше, чем в гвозде. Впрочем, некоторые, по неопытности, предпочитают гвозди. И все-таки мне нравятся все французские, швейцарские, немецкие и итальянские сигары, и я никогда не интересовался, из чего их делают. Да этого, наверно, никто и не знает! У меня даже есть любимая европейская марка курительного табака: его курят итальянские крестьяне. Он рыхлый, сухой и черный и с виду похож на спитой чай. Когда его раскуришь, он вспухает, поднимается и вылезает из трубки, а потом вдруг падает тебе за жилетку. Сам по себе этот табак стоит очень дешево, зато увеличиваются расходы на страхование от огня.

Так вот, как я уже отметил вначале, вкус на табак — это предрассудок. По части табака нет никаких критериев, я имею в виду — никаких объективных оценок. Привычка — вот единственный критерий, только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется.

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Двое или трое из моих друзей упомянули как-то в разговоре со мной, что если я напишу историю своей жизни и у них будет свободное время, они ее прочитают. Не и силах противиться этим неистовым требованиям читающей публики, я составил свою автобиографию.

Я происхожу из старинного знатного рода, уходящего корнями в глубь веков. Самым отдаленным предком Твенцов был друг нашего дома по фамилии Хиггинс. Это было в одиннадцатом столетии, когда наша семья жила в Англии в Абердине, графство Корк. Почему представители нашего рода сохранили материнскую фамилию Твен вместо фамилии Хиггинс (я не считаю тех случаев, когда они шутки ради скрывались под псевдонимами) — тайна, в которую Твенцы не посвящают посторонних. Это прелестная романтическая история, которой лучше не касаться. Так принято во всех аристократических семьях.

Артур Твен был человек незаурядных способностей — он промышлял на большой дороге во времена Уильяма Руфуса. Ему еще не было тридцати лет, когда ему пришлось прокатиться в Ньюгет, одянувшись из самых почтенных английских курортов, чтобы навести кое-какие справки. Назад он не вернулся, так как умер там скоропостижно.

Огастес Твен снискал себе немалую популярность около 1160 года. Это был прирожденный юморист. Наточив свою старую шпагу и выбрав местечко поукромнее, он темной ночью прокалывал запоздалых путников, чтобы поглядеть, как они будут подпрыгивать. Что называется весельчак! Но он не соблюдал должной осторожности, и однажды власти захватили Огастеса в то время, когда он снимал платье с жертвы своих развлечений. Тогда они отделили голову его от тела и выставили ее на почетном месте в Темпл-Баре, откуда открывается превосходный вид на город и на гуляющую публику. Никогда ранее Огастес Твен не занимал такого высокого и прочного положения.

В продолжение следующих двух столетий Твенцы отличались на поле брани. Это были достойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с поля битвы с воплями в первых рядах.

Наше родословное древо имело всегда одну-единственную ветвь, которая располагалась под прямым углом к стволу и приносила плоды круглый год — летом и зимой. Пусть это будет горьким ответом на малоудачную остроумность старика Фруассара.

В самом начале пятнадцатого столетия мы встречаем Красавца Твена, известного под кличкой «Профессор». У него был такой удивительный, такой очаровательный почерк, и он умел до того похоже изобразить почерк другого человека, что нельзя было без хохота на это смотреть. Он искренне наслаждался своим редким талантом. Случилось, впрочем, так, что ему пришлось по приглашению правительства отправиться бить щебенку на дорогах, и эта работа несколько повредила изяществу его почерка. Тем не менее он увлекся своей новой специальностью и посвятил ей, с небольшими перерывами, сорок два года. Так, в трудах, он и окончил свой жизненный путь. Все эти годы власти были так довольны Профессором, что немедленно возобновляли с ним контракт, как только старый приходил к концу. Начальство его обожало. Он пользовался популярностью и среди своих коллег и состоял видным членом их клуба, который носил странное наименование «Каторжная команда». Он коротко стриг волосы, любил носить полосатую одежду и скончался, оплакиваемый правительством. Страна потеряла в его лице беззаветного труженика.

Несколько позже появляется знаменитый Джон Морган Твен. Он приехал в Америку на корабле Колумба в 1492 году в качестве пассажира. По-видимому, у него был очень дурной, брюзгливый характер. Всю дорогу он жаловался, что плохо кормят, и угрожал сойти на берег, если не переменят меню. Он требовал на завтрак свежего пузанка. Целыми днями он слонялся

по палубе, задрал нос, и отпускал шуточки насчет Колумба, утверждая, что тот ни разу не был в этих местах и понятия не имеет, куда едет. Достопамятный крик: «Смотри, земля!» потряс всех, но только не его. Он поглядел на горизонт через закопченный осколок стекла и сказал: «Черта с два земля! Это плот!»

Когда этот сомнительный пассажир взошел на корабль, все его имущество состояло из носового платка с меткой «Б. Г.», одного бумажного носка с меткой «Л. В. К.», другого — шерстяного с меткой «Д. Ф.» и ночной сорочки с меткой «О. М. Р.», завернутых в старую газету. Тем не менее во время путешествия он больше волновался о своем «чемодане» и разглагольствовал о нем, чем все остальные пассажиры вместе взятые. Когда корабль зарывался носом и рулевое управление не действовало, он требовал, чтобы его «чемодан» передвинули ближе к корме, а затем бежал проверять результаты. Если корабль зачерпывал кормой, он снова приставал к Колумбу, чтобы тот дал ему матросов «перетащить багаж». Во время шторма приходилось забивать ему в рот кляп, потому что его вопли о судьбе его имущества заглушали слова команды. По-видимому, ему не было предъявлено прямого обвинения в каких-либо правонарушениях, но в судовом журнале отмечено как «достойное внимания обстоятельство», что, хотя он принес свой багаж завернутым в старую газету, он унес, сходя на берег, четыре сундука, не считая саквояжа и нескольких корзин из-под шампанского. Когда же он вернулся на корабль, нахально утверждая, что некоторых вещей у него недостает, и потребовал обыска других пассажиров, терпение его товарищей по путешествию лопнуло, и они швырнули его за борт. Долго они смотрели, не всплывет ли он, но даже пузырька не появилось на ровной морской глади. Пока все с азартом предавались этим наблюдениям, обнаружилось, что корабль дрейфует и тянет за собой повисший якорный канат. В древнем, потемневшем от времени судовом журнале читаем следующую любопытную запись:

«Позже удалось установить, что беспокойный пассажир нырнул под воду, добрался до якоря, отвязал его и продал богопротивным дикарям на берегу, уверяя, что этот якорь он нашел в море, сукин он сын!»

При всем том мой предок не был лишен добрых и благородных задатков, и наша семья с гордостью вспоминает, что он был первым белым человеком, который всерьез занялся духовным воспитанием индейцев и приобщением их к цивилизации. Он построил вместительную тюрьму, воздвиг возле нее виселицу и до последнего своего дня похвалялся, что ни один реформатор, трудившийся среди индейцев, не оказывал на них столь успокаивающего и возвышающего действия. О конце его жизни хроника сообщает скупо и обиняками. Там говорится, что при повешении первого белого человека в Америке старый путешественник получил повреждение шейных позвонков, имевшее роковой исход.

Правнук «реформатора» процветал в XVII столетии и известен в нашей семейной хронике под именем Старого Адмирала, хотя историки того времени знают его под другими именами. Он командовал маневренными, хорошо оснащенными и отлично вооруженными флотилиями и много способствовал увеличению быстроходности торговых судов. Купеческий корабль, за которым шел Адмирал, не сводя с него орлиного взора, всегда плыл через океан с рекордной скоростью. Если же он медлил, несмотря на все понуждения Адмирала, тот распался гневом и наконец, уже не будучи в силах сдержать свое негодование, захватывал корабль и держал его у себя, ожидая, пока владельцы не явятся за потерянным имуществом (правда, они этого не делали). Чтобы среди захваченных матросов не завелось лентяев и лежебок, Адмирал предписывал им гимнастические упражнения и купания. Это называлось «пройтись по доске». Матросы не жаловались. Во всяком случае, раз выполнив это упражнение, они больше не напоминали о себе. Не дождавшись судовладельцев, Адмирал сжигал корабли, чтобы страховая премия не пропадала даром. Этот старый заслуженный моряк был зарезан в расцвете сил и славы. Безутешная вдова не уставала повторять до самой своей кончины, что, если бы Адмирала зарезали на пятнадцать минут раньше, его удалось бы еще вернуть к жизни.

Чарльз Генри Твен жил в конце семнадцатого столетия. Это был ревностный и почтенный миссионер. Он обратил в истинную веру шестнадцать тысяч островитян в южных морях и неустанно внушал им, что человек, имеющий на себе из одежды всего лишь ожерелье из собачьих клыков да пару очков, не может считаться достаточно экипированным для посещения храма Божия. Незлобливые прихожане нежно любили его, и, когда заупокойная церемония окончилась, они вышли из ресторана со слезами на глазах и твердили по пути домой, что такого мягкого миссионера им еще не приходилось встречать; жаль только что каждому досталось так мало.

Па-Го-То-Вах-Вах-Пакетекивис (Могучий Охотник со Свиным Глазом) Твен украшал своим присутствием средние десятилетия восемнадцатого века и от всего сердца помогал генералу Брэдоку воевать с угнетателем Вашингтоном. Спрятавшись за дерево, он семнадцать раз стрелял в Вашингтона. Здесь я полностью присоединяюсь к очаровательному романтическому рассказу, вошедшему во все хрестоматии. Однако дальше в рассказе говорится, будто после семнадцатого выстрела, уstraшенный своей неудачей, дикарь торжественно заявил, что поскольку Вечный Дух, как видно, предназначил Вашингтона для великих дел, то он более не поднимет на него свое святотатственное ружье. В этой части я вынужден указать на серьезную погрешность против исторических фактов. На самом деле индеец сказал следующее:

— Никакого (ик!) толку! Он так пьян, что не может стоять прямо. Разве в него попадешь? Дурень я буду, если (ик!) истрачу на него еще хоть один патрон.

Вот почему индеец остановился на семнадцатом выстреле. Он приводит простой и толковый резон; сразу чувствуешь, что это чистая правда.

Я всегда любил этот рассказ даже в том виде, в каком его печатают в хрестоматиях, но меня преследовала мысль, что каждый индеец, присутствовавший при разгроме Брэдока и дважды промахнувшийся (два выстрела за сто лет легко вырастают в семнадцать), приходил к неизбежному выводу, что солдат, в которого он не попал, предназначен Вечным Духом для великих дел, а случай с Вашингтоном запомнился только потому, что в этом случае пророчество сбылось, а в других нет. Всех книг на свете не хватит, чтобы перечислять пророчества индейцев и других малоавторитетных лиц. Однако список сбывшихся пророчеств легко умещается у вас в кармане.

Хочу добавить, что некоторые из моих предков так хорошо известны в истории человечества под своими псевдонимами, что было бы бесцельным вести здесь о них рассказ, даже перечислять их в хронологическом порядке. Назову лишь некоторых из них. Это Ричард Бринсли Твен, он же Гай Фокс; Джон Уэнтворт Твен, он же Джек Шестнадцать ниток; Уильям Хоггерти Твен, он же Джек Шеппард; Анания Твен, он же барон Мюнхгаузен; Джон Джордж Твен, он же капитан Кидд. Следует также упомянуть Джорджа Френсиса Трэна, Тома Пеппсра, Навуходоносора и Валаамскую ослицу. Все эти лица принадлежат к нашему роду, но относятся к ветви, несколько удалившейся от центрального ствола, то что называется — к боковой линии. Все Твены жаждали популярности, но, в отличие от коренных представителей нашей фамилии, которые искали ее на виселице, эти люди ограничивались тем, что сидели в тюрьме.

Когда пишешь автобиографию, неразумно доводить рассказ о предках до ближайших родственников. Правильнее, сказав несколько слов о прадедушке, перейти к собственной персоне, что я и делаю.

Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился без горба, и здесь преимущество на моей стороне. Мои родители были бедными — в меру, и честными — тоже в меру.

А теперь мне приходит в голову, что жизнь моя слишком бесцветна по сравнению с жизнью моих предков и с рассказом о ней лучше повременить, пока меня не повесят. Жаль, что другие автобиографы, книги которых мне приходилось читать, не приняли своевременно такого же решения. Как много выиграла бы читающая публика, не правда ли?

ОКАМЕНЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Чтобы показать, как трудно с помощью шутки преподнести ничего не подозревающей публике какую-либо истину или мораль, не потерпев самого полнотою нелепого поражения, я приведу два случая из моей собственной жизни. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение это начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу; все мы, я полагаю, испытываем по временам великодушные, отеческие чувства к ближнему. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Но, по-видимому, я сделал это уж слишком тонко, ибо никто и не заметил, что это сатира. Я облек свой замысел в своеобразную форму: открыл необыкновенного окаменелого человека.

В то время я был в ссоре с мистером ***, новым следователем и мировым судьей Гумбольдта, и я подумал, что мог бы попутно слегка поддеть его и выставить в смешном свете, совместив, таким образом, приятное с полезным. Итак, я сообщил со всеми мельчайшими и убедительнейшими подробностями, что в Грейвли-Форд (ровно в ста двадцати милях от дома мистера ***, и добраться туда можно лишь по крутой горной тропе) обнаружен окаменелый человек и что в Грейвли-Форд, для освидетельствования находки, прибыли все живущие поблизости ученые (известно, что в пределах пятидесяти миль там нет ни одной живой души, кроме горстки умирающих с голода индейцев, нескольких убогих кузнечиков да четырех или пяти сарычей, настолько ослабевших без мяса, что они не могли даже улететь); и как все эти ученые мужи сошлись на том, что этот человек находился в состоянии полного окаменения уже свыше трехсот лет; и затем с серьезностью, которой мне следовало бы стыдиться, я утверждал, что как только мистер *** услышал эту новость, он созвал присяжных, взобрался на мула и, побуждаемый благородным чувством долга, пустился в ужасное пятидневное путешествие по солончакам, через заросли полыни, обрекая себя на лишения и голод, — и все для того, чтобы провести следствие по делу человека, который умер и превратился в вечный камень свыше трехсот лет назад! И уж, как говорится, «заварив кашу», я далее с той же невозмутимой серьезностью утверждал, что присяжные вынесли вердикт, согласно которому смерть наступила в результате длительного нахождения под воздействием сил природы. Тут фантазия моя вовсе разыгралась, и я написал, что присяжные со свойственным пионерам милосердием выкопали могилу и уже собирались похоронить окаменелого человека по христианскому обычаю, когда обнаружили, что известняк, осыпавшийся в течение веков на поверхность камня, где он сидел, попал под него и накрепко приковал его к грунту; присяжные (все они были рудокопами на серебряных рудниках) с минуту обсуждали это затруднение, а затем достали порох и запал и принялись сверлить отверстие под окаменелым человеком, чтобы при помощи взрыва оторвать его от камня, но тут мистер *** с деликатностью, столь характерной для него, запретил им это, заметив, что подобные действия граничат со святотатством.

Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданы они были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого, и я чуть было не поверил в собственную выдумку. Но я, право же, не хотел никого обманывать и совершенно не предполагал, что так оно получится. Я рассчитывал, что описание позы окаменелого человека поможет публике понять, что это надувательство. Тем не менее, описывая его позу, я совершенно намеренно то и дело перескакивал с одного на другое, чтобы затемнить дело, — и мне это удалось. То я говорил об

одной его ноге, то вдруг переходил к большому пальцу правой руки и отмечал, что он приставлен к носу, затем описывал положение другой его ноги и тут же, возвращаясь к правой руке, писал, что пальцы на ней растопырены; потом упоминал вскользь о его затылке и снова возвращался к рукам, замечая, что большой палец левой приставлен к мизинцу правой; снова перескакивал на что-нибудь другое и снова возвращался к левой руке и отмечал, что пальцы ее растопырены, так же как пальцы правой. Но я был слишком изобретателен. Я все слишком запутал, и описание позы так и не стало ключом ко всей этой мистификации, ибо никто, кроме меня, не смог разобраться в исключительно своеобразном и недвусмысленном положении рук окаменелого человека.

Как сатира на увлечение окаменелостями или чем-либо другим мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей Невады. Я был так разочарован неожиданным провалом своего замысла, что поначалу меня это сердило, и я старался не думать об этом; но мало-помалу, когда стали прибывать газетные отклики, в которых повторялись описания окаменелого человека, а сам он простодушно объявлялся чудом, я начал испытывать утешительное чувство тайного удовлетворения. Когда же сей господин, путешествуя все дальше и дальше, стал (как я убеждался по газетным откликам) завоевывать округ за округом, штат за штатом, страну за страной и, облетев весь мир, удостоился наконец безоговорочного признания в самом лондонском «Ланцете», душа моя успокоилась, и я сказал себе, что доволен содеянным. И насколько я помню, почти целый год мешок с ежедневной почтой мистера *** разбухал от потока газет из всех стран света с описаниями окаменелого человека, жирно обведенными чернилами. Это я посылал им ему. Я делал это из ненависти, а не шутки ради. Он с проклятиями выбрасывал их кипами на задний двор. И каждый день горняки из его округа (а уж горняки не оставят человека в покое, если им представился случай подшутить над ним) являлись к нему и спрашивали, не знает ли он, где можно достать газету с описанием окаменелого человека. А он-то мог бы снабдить целый материк этими газетами. В то время я ненавидел мистера *** и потому все это успокаивало и развлекало меня. Большого удовлетворения я бы не мог получить, разве только если б убил его.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ И КАК Я ИЗ НЕЕ ВЫПУТАЛСЯ

Насколько я понимаю, вам желательно получить у меня сведения о том, как я впервые в жизни солгал и каким образом я из этой лжи выпутался. Я родился в 1835 году; сейчас мне уже немало лет и память у меня не та, что прежде. Лучше бы вы спросили, как и когда я впервые сказал правду, мне было бы куда проще на это ответить, так как эти обстоятельства я помню довольно отчетливо. Так отчетливо, точно это случилось на прошлой неделе. Мое семейство уверяет, что случилось это на позапрошлой неделе, но это попросту лезть с их стороны и, вероятно, объясняется какой-то корыстной задней мыслью. Когда у человека имеется богатый жизненный опыт и он достиг 64-летнего возраста, то есть возраста благоразумия, он хотя и любит по-прежнему получать комплименты от своей семьи, однако они уже не кружат ему голову, как раньше, когда он был наивен и легковверен.

Я не помню сейчас свою самую первую ложь, дело было слишком давно, но вот вторую свою ложь я помню отлично. Было мне тогда девять дней от роду, и я заметил, что, если в меня втыкается булавка я довожу об этом до сведения окружающих громким ревом, меня нежно ласкают, ублажают и успокаивают, что весьма приятно, и даже выдают сверх программы лишнюю порцию еды. Человеческой природе свойственно жаждать подобных благ, и вот я пал.

Я солгал насчет булавки, громогласно возвестив о наличии таковой, когда ее и в помине-то не было. Точно так же поступили бы и вы, даже Джордж Вашингтон поступал таким образом, так поступил бы любой. В течение первой половины моей жизни я не знал ребенка, который был бы в силах отказаться от такого соблазна и удержаться от этой лжи. Вплоть до 1867 года все дети цивилизованных народов были лжецами, включая Джорджа. А потом придумали английскую булавку, которая положила конец этой разновидности лжи. Однако стоит ли чего-нибудь подобная реформа? Нет, никакой добродетели она в себе не таит. Ведь это реформа, произведенная силой. Таким образом, просто-напросто пресечена возможность продолжать эту разновидность лжи, но ни в какой степени не уничтожено самое стремление лгать. В данном случае налицо колыбельный вариант обращения в истинную веру огнем и мечом или насаждения трезвости с помощью закона о запрещении спиртных напитков.

Итак, вернемся к вопросу о моей младенческой лжи. Окружающие не обнаружили булавки и поняли, что к всемирному легиону лжецов добавился в моем лице еще один. Они уразумели также (результат редкой проницательности!) вполне обыденный, но редко замечаемый факт: что почти всякая ложь — действие, а слово в этом деле не играет никакой роли. При дальнейшем расследовании они, возможно, сделали открытие, что все люди без исключения — лжецы, и притом с колыбели; что люди лгут с утра, как только просыпаются, и продолжают лгать, без пауз и передышек, вплоть до ночи, когда укладываются спать. Додумавшись до этой истины, они, вероятно, огорчились, даже наверняка огорчились, если привыкли опрометчиво полагаться на сведения, почерпнутые из книг и в школе. А в сущности — с какой стати человеку огорчаться по поводу положения вещей, в котором он, в силу извечного закона природы, создавшей его, ничего не может изменить? Не сам же человек выдумал этот закон, а раз он существует, значит надо спокойно подчиниться ему и молчать об этом, значит надо присоединиться к всемирному заговору и молчать, молчать так упорно, что это введет в заблуждение других заговорщиков и они, может быть, вообразят даже, что он и не знает о существовании сего извечного закона. Все мы так поступаем — мы, знающие о его существовании. Я имею в виду ложь молчаливого согласия или утверждения. Ведь можно солгать, не выговорив ни единого слова. Все мы так делаем — мы, знающие о существовании закона. По грандиозности масштабов своего распространения ложь молчаливого согласия — самая величественная из всех, какие любая цивилизованная нация считает своим священным и важнейшим долгом оберегать, сохранять и распространять.

Приведу пример. Немыслимо, казалось бы, чтобы гуманный и разумный человек нашел рациональное оправдание рабству; а между тем, если вы припомните, когда в Северных Штатах началась борьба за отмену рабства, аболиционисты получали очень слабую поддержку. Как бы они ни доказывали, ни умоляли и ни убеждали, они не в силах были сломить царившее вокруг этого вопроса всеобщее безмолвие. От церковных кафедр, через печать, во все решительно слои общества сверху донизу распространялось липкое безмолвие, порожденное ложью молчаливого согласия. Молчаливого согласия в том, будто ничего не происходит такого, что вызывало бы беспокойство или заслуживало интереса гуманных и разумных людей. С самого начала дела Дрейфуса и вплоть до его завершения вся Франция, за исключением нескольких десятков подлинно рыцарских душ, была окутана густой пеленой лжи молчаливого утверждения, что никто не совершает несправедливости по отношению к затравленному и ни в чем не повинному человеку. Такой же пеленой лжи недавно была окутана Англия; добрая половина ее населения делала вид, будто не знает о том, что мистер Чемберлен пытается сфабриковать войну в Южной Африке и готов платить бешеные деньги тем, кто ему в этом поможет.

Итак, мы располагаем примерами того, как три ведущие якобы цивилизованные страны оперируют ложью молчаливого согласия. Можно ли в этих трех странах найти еще подобные образчики? Я полагаю, что можно. Немного, быть может, ну, скажем, чтобы не преувеличивать, — с миллиард, что ли. Применяют ли эти страны упомянутую разновидность лжи денно и ночью,

в тысячах и тысячах вариантов, непрерывно и постоянно? Да, мы лжем, что так оно и есть. Всемирный заговор лжи молчаливого согласия действует активно всегда и всюду и притом неизменно в интересах глупости или обмана, в интересах же чего-либо возвышенного или достойного — никогда. Является ли такая ложь наиболее гнусной и подленькой из всех? Похоже, что так. В течение многих столетий эта ложь безмолвно работала в интересах деспотизма, аристократии, рабовладельческих режимов, военных и религиозных олигархий. Благодаря ей они и по сей день существуют, мы видим их и тут и там, — словом, повсюду на земном шаре. Они и будут существовать, пока не выйдет в тираж ложь молчаливого согласия, ложь молчаливого утверждения, будто кругом ничего ни происходит такого, что заслуживало бы вмешательства и пресечения со стороны справедливых и мыслящих людей. Собственно говоря, я веду свою речь вот к чему: при таком положении вещей, когда целые расы и народы участвуют в заговоре по распространению грандиозной молчаливой лжи в интересах тиранов и обманщиков, к чему тревожиться о пустяковых, мелких неправдах, допускаемых отдельными личностями? К чему попытки доказать, будто отказ от лжи является добродетелью? К чему такой самообман? Почему, интересно знать, мы не стыдимся способствовать распространению лжи в государственных масштабах, но стесняемся немного приврать от себя лично? Не лучше ли быть честными и прямыми и лгать всякий раз, как представляется к тому возможность? Я хочу сказать, почему бы нам не быть последовательными и либо лгать постоянно, либо не лгать вовсе? И если в течение целого дня мы помогаем государству лгать и обманывать, так почему же считается предосудительным позволить себе на сон грядущий какую-нибудь небольшую индивидуальную, личную ложь в собственных интересах? Этакую малюсенькую освежающую ложь хотя бы для того, чтобы отбить неприятный привкус, оставшийся во рту за целый день?

Живя здесь, в Англии, я наблюдаю самые любопытные нравы. Англичане ни за что не солгут вслух, никакими силами не заставишь их это сделать. Если, разумеется, речь не идет о высоких материях вроде политики или религии. Солгать вслух, чтобы получить от этого какую-нибудь личную выгоду, им кажется невозможным. Мне даже иногда совестно за себя, такие они фанатики в этом отношении. Даже для смеха они не соврут, не соврут и тогда, когда ложь не принесет ни малейшего вреда кому бы то ни было. Это бессмысленно, однако действует на меня сдерживающим образом, и я серьезно опасаюсь, как бы мне и самому не разучиться лгать — от недостатка практики!

Разумеется, они, как и другие люди, позволяют себе разнообразную мелкую ложь, не высказанную вслух. Но они этого просто не замечают, пока их не надоумишь. Меня они довели уже до того, что я почти никогда не позволяю себе солгать вслух, а если уж решусь на это, то лгу только наполовину; и представьте, даже к такой полулжи они относятся неодобрительно. Но пойти на большее, даже во имя укрепления дружественных отношений между обеими нашими странами, я не способен, должен же я в конце концов сохранить хоть каплю уважения к самому себе, да и о здоровье и нервах надо подумать. Я могу просуществовать на строгой диете, но совсем без пищи жить не могу.

Бывает, конечно, что даже англичанам приходится произнести ложь вслух — ведь время от времени такое случается с каждым из нас, — случалось бы и с ангелами, если бы они почаще к нам прилетали. Да, именно с ангелами, так как та ложь, которую я имею в виду, произносится в порядке самопожертвования, в возвышенных, а не низменных целях. Что же касается англичан, то они пугаются даже такой лжи, она как-то сбивает их с толку. Я с изумлением наблюдаю за ними и прихожу к выводу, что все они просто сумасшедшие. Положительно, Англия — это страна самых любопытных предрассудков. У меня есть приятель англичанин, с которым я дружу уже лет двадцать пять. Вчера, когда мы с ним ехали на империале омнибуса в Сити, я рассказал ему об одной своей полулжи. Это была типичная полужошь, этакая ложь-полукровка, ложь-мулат, так сказать. В последнее время я только на подобную ложь и способен, на настоящую здесь нет никакого спроса.

Итак, я ему рассказал, как, будучи в прошлом году в Австрии, я выпутался из очень затруднительного положения. Не знаю, что бы со мной случилось, если бы я своевременно не сообразил сообщить полиции, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский. После этого все пошло как по маслу: все стали чрезвычайно любезны, меня отпустили, принесли извинения и просто не знали, как и чем меня ублажить, и тысячу раз принимались объяснять, как могла произойти такая неприятная ошибка с их стороны, и обещали чуть ли не повесить того полицейского, который меня задержал, и выразили надежду, что я не затаю обиды и не стану на них жаловаться. Я со своей стороны заверил их, что они могут вполне на меня положиться.

Выслушав меня, мой друг сказал строго:

— И это ты называешь полуложью? А где же тут половина правды?

Я разъяснил, что самая форма моего заявления полиции является полуложью-полуправдой.

— Я ведь не говорил, что являюсь членом королевской семьи, я сказал, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский, имея в виду род человеческий. Если бы у этих людей была хоть капля сообразительности, они бы сразу все поняли. Не могу же я в самом деле обеспечить полицию мыслительными способностями, нечего от меня ожидать этого.

— А как ты себя чувствовал после этого инцидента?

— Ну, конечно, я несколько огорчился, увидев, что полиция поняла меня превратно. Но, поскольку я не говорил никакой заведомой лжи, я считал, что у меня нет оснований не спать по ночам и терзаться угрызениями совести. Мой друг несколько минут обдумывал сказанное мной, после чего заявил, что в его понимании моя полуложь является полной ложью, а кроме того, я допустил умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта. Таким образом, с его точки зрения я солгал не один раз, а два.

— Я бы так не поступил, — заявил он, — я ни разу в жизни не солгал и был бы весьма огорчен, если бы оказался в подобном положении.

В этот момент он приподнял шляпу, расплылся в улыбке, закивал головой и с выражением радостного изумления приветствовал какого-то джентльмена, проезжавшего мимо нас в экипаже.

— Кто это такой, Джордж? — осведомился я,

— Понятия не имею.

— Зачем же ты приветствовал его?

— Видишь ли, я заметил, что ему кажется, будто мы знакомы, и он ожидал, что я с ним поздороваюсь. Если бы я не поздоровался, ему было бы обидно. Мне не хотелось ставить его в неловкое положение на виду у всех.

— У тебя доброе сердце, Джордж, и ты поступил правильно. Это поступок достойный, похвальный, благородный. Я сам поступил бы точно так же, но все-таки это была ложь.

— Ложь? Но ведь я ни единого слова не вымолвил. Как это у тебя получается?

— Я знаю, что ты не произнес ни слова, тем не менее ты своей мимикой весьма отчетливо и даже восторженно сказал: «А-а, значит ты уже в городе? Страшно рад видеть вас, старина, когда-то вы вернулись?» В твоих действиях было запрячено «умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта» — того факта, что ты никогда в жизни его не встречал. Ты выразил радость, увидев его, — чистейшая ложь; ты добавил к этому умолчание — еще одна ложь. Налицо точное повторение того, что сделал я. Но ты не сокрушайся, все мы так поступаем.

Часа через два после этого, во время обеда, когда обсуждались совсем иные вопросы, Джордж рассказал, как однажды он успел буквально в последнюю минуту оказать большую услугу одной семье, своим давнишним друзьям. Глава этой семьи скоропостижно скончался, причем обстоятельства его смерти были таковы, что, преданные огласке, они бы скомпрометировали его самым скандальным образом. Ни в чем не повинная семья в этом случае

были бы покрыта позором, не говоря уже о сопутствующих душевных переживаниях. Спасение было только в одном — солгать самым беззастенчивым образом, и вот он, фигурально выражаясь, засучил рукава и взялся на это дело.

— И семья так ничего и не узнала, Джордж?

— Нет. За все эти годы они ничего даже не заподозрили. Они всегда гордились им и всегда имели к тому основания; они продолжают и теперь гордиться им, его память священна. Образ его остался для них незапятнанным и прекрасным.

— Им очень повезло, Джордж.

— Да, я действительно подросел вовремя.

— А ведь могло случиться, что вместо тебя подвернулся бы как раз один из этих бессердечных и бесстыдных фанатиков правды. Я знаю, Джордж, ты миллионы раз в своей жизни говорил правду, но эта великолепная, блестящая ложь искупает все. Продолжай в том же духе и дальше.

Возможно, я покажусь кое-кому безнравственным, но такая точка зрения не выдерживает критики. Имеется множество разновидностей лжи, к которым и я отношусь неодобительно. Мне не нравится ложь, наносящая ущерб (за исключением тех случаев, когда наносится ущерб не мне, а кому-нибудь другому). Мне не нравится ложь бесшабашная, равно как и ложь ханжески-праведная. Ложь последнего типа применялась Брайантом, а первого — Карлейлем.

Мистер Брайант как-то сказал: «Повергни истину — она восстанет».

Лично я получал медали за разнообразную ложь на тринадцати всемирных выставках и смею утверждать, что не лишен способности в этой области. Но никогда в жизни я не сказал такой грандиозной лжи, как мистер Брайант, явно стремившийся с ее помощью завоевать себе дешевую славу; правда, все мы к этому стремимся. Что же касается Карлейля, смысл того, что он говорил, сводится к следующему (я не помню точных его слов): «Существует незыблемая истина — ложь не может быть долговечной».

Я отдаю дань почтительного восхищения книгам Карлейля, его «Революцию» я прочел восемь раз. Поэтому мне хочется думать, что он был немного не в себе, когда изрек приведенную выше фразу. Для меня совершенно очевидно, что он сказал это в состоянии крайнего возбуждения, когда выгонял со своего заднего двора американцев. Они имели привычку ходить туда к нему на поклонение. В глубине души Карлейль, возможно, и любил американцев, но он очень ловко это скрывал. Он всегда держал для них наготове запас кирпичей, но броски его не отличались меткостью, и история сохранила сведения о том, что американцы успешно увертывались от ударов, а брошенные кирпичи уносили с собой на память. Любовь к сувенирам — наша национальная черта, и мы не слишком привередливы насчет того, как к нам относится человек, от которого мы их получаем. Я твердо уверен, что свое более чем странное убеждение, будто ложь недолговечна, он высказал в сердцах, промахнувшись по какому-нибудь американцу. Он сказал это более тридцати лет тому назад, — и что же? Эта ложь до сих пор живет, процветает и, вероятно, переживет любой исторический факт. В спокойном состоянии Карлейль был правдив, но, окруженный достаточным количеством американцев и снабженный соответствующим запасом кирпичей, он приходил в такое состояние, что мог бы не хуже меня получать медали.

Что же касается того знаменитого случая, когда Джордж Вашингтон сказал правду, то в него следует внести некоторую ясность. Как известно, этот случай — драгоценнейшая жемчужина в короне Америки. Вполне естественно, что мы стараемся выжать из нее все, что можно, как сказал Мильтон в своей «Песне последнего менестреля». То была правда своевременная и расчетливая, в таких обстоятельствах я и сам сказал бы правду. Но я бы этим ограничился. Это была величественная, вдохновенная, высокая правда, настоящая Эйфелева башня. Мне кажется, было ошибкой отвлечь внимание от божественности этой правды и построить рядом с ней еще одну Эйфелеву башню, в четырнадцать раз выше первой. Я имею в виду его заявление, что он «не может солгать». Такую вещь вы можете рассказать своей бабушке

или в крайнем случае предоставить это Карлейлю — это как раз в его стиле. Такая ложь могла бы стяжать медаль на любой европейской выставке и способна была бы даже удостоиться почетной грамоты в Чикаго. Но не будем придирааться: в конце концов Отец и Основоположник нашей родины был в тот момент взволнован. Я сам бывал в таком положении и вполне его понимаю.

Против сказанной им правды о вишневом деревце у меня, как я уже указывал, нет ровно никаких возражений. Но мне кажется, она была сказана по вдохновению, а не преднамеренно. Обладая острым умом военного, он, вероятно, сначала думал свалить вину за срубленное дерево на своего брата Эдварда, однако вовремя оценил таящиеся тут возможности и сам использовал их. Расчет мог быть такой: сказав правду, он удивит своего отца, отец расскажет соседям, соседи распространят эту весть дальше, она будет повторяться у каждого очага, и в конце концов именно это и сделает его президентом, причем не просто президентом, а Первым Президентом. Да, мальчонка отличался дальновидностью и вполне способен был все заранее обдумать. Таким образом, с моей точки зрения, его поступок оправдал себя. Отнюдь не так обстоит дело с Эйфелевой башней номер два. Это было ошибкой. А впрочем, по зрелом размышлении, может быть тут и не было ошибки. В самом деле, если вдуматься, то именно вторая Эйфелева башня обессмертила первую. Ведь если бы он не заявил: «Я не могу солгать», не было бы всего последующего переполоха. Именно это ведь вызвало землетрясение, потрясшее нашу планету. Подобные изречения живут долго, а приуроченные к ним факты имеют шанс разделить их бессмертную славу.

Подводя итоги, я должен сказать, что в целом я доволен созданным положением вещей. Существуют, правда, некоторые предрассудки относительно словесной лжи, но против других разновидностей лжи никто не возражает, а мне, в результате тщательного изучения вопроса и сложных математических расчетов, удалось установить, что словесная ложь относится к другим разновидностям как 1 к 22894. Таким образом, словесная ложь фактически не имеет никакого значения, и нет смысла поднимать вокруг нее шум и делать вид, будто она — предмет, достойный внимания. Швырять кирпичи и проповеди надо в другое — в колоссальную молчаливую Национальную Ложь, являющуюся опорой и пособником всех тираний, всех обманов, всяческого неравенства и несправедливости, разъедающих человечество. Но будем благоразумны и предоставим эту задачу кому-нибудь другому.

Кроме того... а впрочем, я слишком удалился от первоначальной темы. Так каким же образом я выпутался из своей второй лжи? Кажется, я выпутался из нее с честью, но я в этом как-то не уверен — очень уж давно все это было, и некоторые подробности изгладились из моей памяти. Припоминаю, что меня повернули лицом вниз, и я лежал у кого-то поперек колен, потом еще что-то произошло, но точно не припомню, что именно. Кажется, играла музыка, но все передо мной сейчас в тумане, все представляется неясным и призрачным после стольких лет, и, возможно, последнее обстоятельство — всего лишь плод старческой фантазии.

ПОКОЙНЫЙ БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

*(Никогда не откладывай на завтра то,
что можно сделать послезавтра. Б. Ф.)*

Личность эта из тех, кого величают философами. Он был сам себе близнец, поскольку явился на свет одновременно в двух разных домах города Бостона. Дома эти сохранились до сих пор, и в память о знаменательном событии к ним даже дощечки приклепали. Большой нужды в дощечках нет, они висят на всякий случай, потому что все равно каждому приезжему жители показывают оба знаменитых дома, и иногда по несколько раз в день. Герой сего рассказа

отличался злобным характером и, поставив себе целью замучить будущие юные поколения, с ранних лет начал растрчивать свои таланты на выдумывание всяких поучений и афоризмов. Он нарочно даже в самых обыкновенных делах поступал с таким расчетом, чтобы вызвать мальчиков помериться с ним сноровкой, и тем навеки отнял у них безмятежное детство. Именно для того, чтобы им насолить, стал он сыном мыловара, и теперь на всякого мальчика, пробивающего себе дорогу в жизни, будут, пожалуй, поглядывать с подозрением, если он не сын мыловара. С коварством, равного коему не знает история, он весь день работал, а ночью при свете фитилька изучал алгебру, — и все ради того, чтобы стать образцом для других мальчиков, которым теперь, чуть что не так, сразу указывают на Бенджамина Франклина. Но ему этого было мало, и он завел привычку питаться только хлебом с водой и за трапезой изучать астрономию, чем уже успел исковеркать жизнь миллионам мальчиков, отцы которых начитались вредной биографии Франклина.

Афоризмы его так и пышут враждой к мальчикам. Нынешний мальчик не может следовать ни одному своему нормальному инстинкту, без того чтобы сразу не нарваться на какой-нибудь бессмертный афоризм и фамилию Франклина. Если он покупает на два цента земляных орешков, отец скажет: «Помнишь ли ты, сын мой, что говорил Франклин: «Деньга деньгу кует», — и земляные орешки теряют всю свою сладость. Если он, покончив с уроками, намерен запустить волчок, отец цитирует: «Потерянного времени не вернешь».

Если он совершает добродетельный поступок — награды не жди, ибо: «Добродетель не нуждается в награде». Вот так мальчика за день затравят до смерти, а потом еще и необходимого отдыха лишат, — ведь Франклин однажды в порыве злотворного вдохновения изрек:

*Ложись пораньше и встань пораньше утром —
Будешь здоровым, богатым и мудрым.*

А какой мальчик согласится стать здоровым, богатым и мудрым на таких условиях! Слов не хватит, чтобы описать, сколько горя принес мне этот афоризм, когда мои родители, руководствуясь им, ставили на мне опыты. Поэтому совершенно закономерно, что теперь мое здоровье, финансы и рассудок пришли в полное расстройство. Бывало, еще и девяти не пробьет, а родители уже поднимают меня с постели. А дали бы мне покой в юные годы, каким бы я вырос? Наверняка как сыр в масле катался бы, и люди бы меня уважали. Ловкач он был, герой нашего рассказа, — ловкач первейшей марки! Чтобы всех надуть и в воскресный день запустить воздушного змея, он подвешивал к хвосту его ключ и ловил на него в воздухе молнию. А простачки горожане поглядят на этого седовласого нарушителя божьего завета о воскресном отдыхе и, расходясь по домам, взалхлеб чирикают о его «гениальности» и «мудрости». Если его застигали в одиночестве за игрой в «следопыта», — а ему тогда уже перевалило за шестьдесят, — он тотчас притворялся, будто наблюдает за ростом травки, хотя какое, собственно, ему до этого дело? Мой дедушка хорошо его знал и говорит, что Франклин был очень сообразительный и никогда не терялся. Если кто-нибудь, бывало, нагрянет неожиданно, когда он совсем одряхлел и ловил мух, или лепил пирожки из грязи, или катался на двери чулана, он вмиг напускал на себя умный вид, выпаливал афоризм и величаво удалялся, напялив шапку задом наперед и прикинувшись рассеянным чудаком. Крепкий был орешек!

Он изобрел печку, которая за каких-нибудь четыре часа может вас задымить до полного умопомрачения.

И какое сатанинское удовольствие он от нее получал, ведь он даже окрестил ее собственным именем!

Он всегда с гордостью вспоминал, как впервые пришел в Филадельфию, с двумя шиллингами в кармане и четырьмя булками под мышкой. Но если как следует разобраться, что тут особенного? Так всякий сумеет.

Честь внесения рекомендации, по которой армии надобно вернуться от штыков и мушкетов к лукам и стрелам, также принадлежит герою сего рассказа. С присущей ему твердостью он заявил, что штык при определенных обстоятельствах — вещь стоящая, но сомнительно, чтобы он мог точно поражать цель с большой дистанции.

Бенджамин Франклин совершил уйму великих деяний на благо своей молодой родины, тем самым прославив ее на весь свет как мать такого великого сына. Мы не ставим себе целью скрыть или затуманить этот факт. Нет, цель наша — развенчать претенциозные афоризмы, которые этот человек в своих потугах быть оригинальным переделывал из истин, навязших в зубах еще во времена вавилонского столпотворения; а также развенчать его печку, и полководческий гений, и совершенно неприличную страсть по приезду в Филадельфию лезть всем на глаза, и воздушного змея, и бестолковую трату времени на разную подобную чепуху, когда ему полагалось рыскать в поисках сырья для мыла или лить свечи. Мне просто хотелось поколебать пагубную уверенность многих глав семейств, что Франклин сделался гением, ибо работал бесплатно, изучал науки при луне и поднимался с постели ночью, вместо того чтобы, как добрый христианин, подождать до утра; и ежели строго придерживаться этой программы, из каждого папенькиного оболтуса можно сделать Франклина. Пора бы уже этим джентльменам смекнуть, что отвратительные чудачества в поведении и манерах лишь свидетельствуют о гении, но не творят его. Жаль, что мне не пришлось хоть недолго побыть отцом моих родителей, а то я бы втолковал им эту истину и таким образом обеспечил бы спокойную жизнь их сыну. Мой отец был состоятельный человек, но в детстве мне приходилось варить мыло, вставать рано, учить за завтраком геометрию, кропать стишки и делать все — как Франклин, в трепетной надежде, что в один прекрасный день из меня выйдет Франклин. Результат налицо.

ИСПРАВЛЕННЫЕ НЕКРОЛОГИ

Редактору.

Сэр!

Возраст мой приближается к семидесяти годам; эта дата уже не за горами, — до нее осталось только три года. Скоро я должен буду отправиться к праотцам. Вот почему простое благоразумие требует, чтобы я начал приводить в порядок свои дела на земле уже теперь, если хочу сделать это обстоятельно и без суеты, а не оттягивать до последнего дня, ибо, как мы часто наблюдаем в таких случаях, попытка одновременно подумать о душе и о движимом и недвижимом имуществе бывает сильно затруднена спешкой, сумятицей и напрасной тратой времени, неизбежно возникающей оттого, что нотариус и духовник не могут действовать согласованно: соблюдать очередь, оказывать друг другу товарищескую помощь. (Всем понятно, что на этом поле каждый из них ведет игру в интересах своей команды, но ведь могли бы они все-таки быть полезны друг другу хотя бы в мелочах — отмечать время, вести счет очкам и пр.) В результате такого столкновения интересов и неслаженности в действиях победа в финале сплошь и рядом носит случайный характер, между тем как эта неприятность не произошла бы, если бы мы сначала приводили в порядок свои мирские дела, а затем уже думали о душе и, во избежание спешки, делали то и другое заранее, отводя каждой стороне проблемы столько времени, сколько она по справедливости и здравому рассуждению заслуживает.

Подойдя вплотную к мирской стороне предмета, я счел необходимым лично заняться двумя-тремя вопросами, которые люди в моем положении издавна имели обыкновение целиком возлагать на других, причем последствия нередко бывали весьма печальные. Я сейчас хотел бы коснуться лишь одного такого вопроса: некрологов. Некролог по самому своему характеру — литературное произведение, отредактировать которое ничья рука не могла бы с таким

знанием дела, как рука того, о ком оно написано. Для этого жанра главное не факты, а освещение, какое им придает некрологист, форма, в какую он их облакает, выводы, которые он из них делает, и заключение, к которому он приходит. Статья, под которую он подведет вас, — вот в чем, как вы понимаете, таится опасность. Изучая этот вопрос ввиду предвидящейся перемены обстоятельств, я счел разумным принять возможные в данном случае меры, чтобы при любезном посредстве прессы получить доступ к моим, пока еще лежащим без движения некрологам, с правом, — если только не сочтут эту просьбу нескромной, — внести поправки не в факты, а в выводы, которые там содержатся. Сделать это хочу я не для какой-либо выгоды в настоящем, если не брать и расчет моих близких родственников, а для того, чтобы заручиться благоприятным отзывом, годным к использованию в потустороннем мире, где имеются лица, недружелюбно ко мне настроенные.



Рисовать рты я не умею, поэтому рта на портрете нет.

Тут и без него добра хватит. Выполнено чернилами высшего качества. — *М. Т.*

Объяснив Вам таким образом мои побуждения, прошу оказать мне любезность, сделав от моего имени в печати публикацию. Я желал бы, чтобы журналы и прочие периодические издания, держащие у себя в портфелях мои некрологи на случай экстренной необходимости использовать их, не ждали бы дольше, а опубликовали их теперь же, соблаговоллив выслать мне экземпляр с соответствующей пометкой. Направлять просто: город Нью-Йорк, — более точного и при этом постоянного адреса у меня нет.

Я внесу в некрологи исправления — в то, что касается выводов, не фактов, — вычеркивая фразы, которые в потустороннем мире могут быть истолкованы мне во вред, и заменяя их другими, более тщательно продуманными. Разумеется, я готов оплатить по двойной цене как вымарки, так и замены, а также заплатить в четырехкратном размере за все некрологи, где слова и выражения в рукописи окажутся правильно и удачно подобранными и не потребуют, следовательно, вовсе никаких исправлений.

Я хотел бы оставить изящно переплетенную подборку таких исправленных некрологов, — как неиссякаемый источник утешения и развлечения для моей семьи и как реликвию, пусть печальную, но имеющую для моих отдаленных потомков определенную коммерческую ценность.

Прошу Вас, сэръ, поместить это объявление в газете (вн. ст. агат курсив) и прислать счет уважающему Вас

Марку Твену.

P. S. За лучший некролог — такой, который я мог бы прочитать в публичном выступлении, с расчетом вызвать у слушателей скорбь обо мне, безвременно ушедшем, — назначаю приз в

виде моего автопортрета, выполненного пером и чернилами без всякой предварительной подготовки. Употребление чернил этого сорта лучшими художниками сим удостоверяется.

ПЛАН ГОРОДА ПАРИЖА

(К читателю)

Прилагаемый план говорит сам за себя. Идея этого плана не оригинальна, она заимствована мною из столичных газет.



План Парижа

Это произведение искусства (если только можно назвать его так) не претендует на какие-либо иные достоинства, кроме точности. Как правило, недостатки подобных планов объясняются тем, что их авторы, по-видимому, уделяют больше внимания художественности исполнения, нежели географической достоверности.

Поскольку это моя первая попытка составить и выгравировать план, — да и вообще подвизаться на поприще искусства, — то мне очень польстили похвалы и восхищение, вызванные этой работой. И особенно трогательно, что самые восторженные отзывы исходят от людей, ничего не смыслящих в искусстве.

По незначительному недосмотру я выгравировал план так, что всем, кроме левши, придется читать его шиворот-навыворот. Я забыл, что для того, чтобы получить правильный отпечаток, надо все и чертить и гравировать наоборот. Однако пусть тот, кто пожелает рассматривать этот план, станет на голову или держит его перед зеркалом. Тогда все будет в порядке.

Читатель с первого же взгляда поймет, что та часть реки, через которую перекинут Хай Бридж, подалась влево, — дело в том, что у меня соскользнул гравировальный резец, и пришлось изменить течение реки Рейна, иначе пропал бы весь план целиком. А после того как я два дня ковырял и выдалбливал гравировальную доску, мне легче было бы изменить положение Атлантического океана, чем допустить, чтобы все мои труды пошли насмарку.

Ни с чем в жизни у меня не было столько возни, сколько с этим планом. Сперва у меня вокруг всего Парижа было рассыпано множество маленьких укреплений, но то тут, то там мой резец соскальзывал и так начисто сметал целые мили батарей, словно там побывали пруссаки.

Читатель, без сомнения, сочтет полезным вставить этот план в рамку, чтобы им могли пользоваться и другие. Это будет способствовать распространению в народе просвещения и искоренению процветающего ныне невежества.

Марк Твен.

Официальные одобрителльные отзывы

Никогда не видал другого такого плана.

У. С. Грант

Теперь город представляется в совершенно новом освещении.

Бисмарк

Я не могу глядеть на него, не проливая слез.

Брайэм Юнг

Замечательно крупная четкая печать.

Наполеон

Моя жена годами страдала веснушками, и, хотя мы принимали все известные нам меры, ничто не помогало. Но, сэр, едва она взглянула на этот план, как веснушки исчезли. Сейчас она страдает только судорогами.

Дж. Смит

Будь у меня этот план, я бы без труда выбрался из Мена.

Базен

Я повидал на своем веку немало планов, но ни один из них не был похож на этот.

Трошю

Справедливости ради следует сказать, что в некоторых отношениях это весьма примечательный план.

У. Т. Шерман

Я сказал своему сыну Фридриху-Вильгельму: «Если бы ты сделал такой план, я бы пожалел, что ты не умер. От души пожалел бы».

Вильгельм III

ЗНАМЕНИТАЯ СКАЧУЩАЯ ЛЯГУШКА ИЗ КАЛАВЕРАСА

По просьбе одного приятеля, который прислал мне письмо из восточных штатов, я навестил добродушного старого болтуна Саймона Уилера, навел, как меня просили, справки о приятеле моего приятеля Леонидасе У. Смайли и о результатах сообщаю ниже. Я питаю смутное подозрение, что никакого Леонидаса У. Смайли вообще не существовало, что это миф что мой приятель никогда не был знаком с таким персонажем и рассчитывал на то, что, когда я начну расспрашивать о нем старика Уилера, он вспомнит своего богомерзкого Джима Смайли, пустится о нем рассказывать и надоест мне до полусмерти скучнейшими воспоминаниями, столь же длинными, сколь утомительными и никому ненужными. Если такова была его цель, она увенчалась успехом.

Я застал Саймона Уилера дремлющим у печки в полуразвалившемся кабачке захудалого рудничного поселка Ангел и имел случай заметить, что он толст и лыс и что его безмятежная физиономия выражает подкупающее благодушие и простоту. Он проснулся и поздоровался со мной. Я сказал ему, что один из моих друзей поручил мне справиться о любимом товарище его детства, Леонидасе У. Смайли, о его преподобии Леонидасе У. Смайли, молодом проповеднике слова божия, который, по слухам, жил одно время в Калаверасе, в поселке Ангел. Я прибавил,

что буду весьма обязан мистеру Уилеру, если он сможет мне что-нибудь сообщить о его преподобии Леонидасе У. Смайли.

Саймон Уилер загнал меня в угол, загородил стулом, уселся на него и пошел рассказывать скучнейшую историю, которая следует ниже. Он ни разу не улыбнулся, ни разу не нахмурился, ни разу не переменил того мягко журчащего тона, на который настроился с самой первой фразы, ни разу не проявил ни малейшего волнения; весь его бесконечный рассказ был проникнут поразительной серьезностью и искренностью, и это ясно показало мне, что он не видит в этой истории ничего смешного или забавного, относится к ней вовсе не шутя и считает своих героев ловкачами самого высокого полета. Я предоставил ему рассказывать по-своему и ни разу его не прервал.

— Его преподобие Леонидас У... гм... его преподобие... Ле... Да, был тут у нас один, по имени Джим Смайли, зимой сорок девятого года, а может быть, и весной пятидесятого, что-то не припомню как следует, хотя вот почему я думаю, что это было зимой или весной, — помнится, большой жёлоб был еще недостроен, когда Смайли появился в нашем поселке; во всяком случае, чудак он был порядочный: вечно держал пари по поводу всего, что ни попадет на глаза, лишь бы нашелся охотник поспорить с ним, а если не находился, он сам держал против. На что угодно, лишь бы другой согласился держать пари, а за ним дело не станет; все что угодно, лишь бы держать пари, он на все согласен. И ему везло, необыкновенно везло, он почти всегда выигрывал. Он-то был всегда наготове и поджидал только удобного случая; о чем бы ни зашла речь, Смайли уж тут как тут и предлагает держать пари и за и против, как вам угодно. Идут конские скачки — он в конце концов либо загребет хорошие денежки, либо проиграется в пух и прах; собаки дерутся — он держит пари; кошки дерутся — он держит пари; петухи дерутся — он держит пари; да чего там, сядут две птицы на забор — он и тут держит пари: которая улетит раньше; идет ли молитвенное собрание — он опять тут как тут и держит за пастора Уокера, которого считал лучшим проповедником в наших местах, — и, надо сказать, не зря; к тому же и человек, этот пастор, был хороший. Да чего там, стоит ему увидеть, что жук ползет куда-нибудь, — он сейчас же держит пари: скоро ли этот жук доползет до места, куда бы тот ни полз; и если вы примете пари, он за этим жуком пойдет хоть в Мексику, а уж непременно дознается, куда он полз и сколько времени пробыл в дороге. Тут много найдется ребят, которые знали этого Смайли и могут о нем порассказать. Ему было все нипочем, он готов был держать пари на что угодно — такой отчаянный. У пастора Уокера как-то заболела жена, долго лежала больная, и уж по всему было видно, что ей не выжить; и вот как-то утром входит пастор, Смайли — сейчас же к нему и спрашивает, как ее здоровье; тот говорит, что ей значительно лучше, благодарение господу за его бесконечное милосердие, — дело идет на лад, с помощью божией она еще поправится; а Смайли как брякнет, не подумавши: «Ну, а я ставлю два с половиной против одного, что помрет».

У этого самого Смайли была кобыла. Наши ребята звали ее «Тише едешь — дальше будешь», — разумеется, в шутку, на самом деле она вовсе была не так плоха и частенько брала Джиму призы, хоть и не из самых резвых была лошадка и вечно болела, то астмой, то чахоткой, то собачьей чумой, то еще чем-нибудь. Дадут ей, бывало, двести-триста шагов форы, а потом обгоняют, но к самому концу скачек она, бывало, до того разойдется, что удержу нет, и брыкается, и становится на дыбы, и бьет копытами, и закидывает ноги и кверху, и направо, и налево, и такую, бывало поднимет пыль и такой шум — и кашляет, и чихает, и фыркает, — зато всегда ухитрится прийти к столбу почти на голову вперед, хоть меряй, хоть не меряй.

А еще был у него щенок бульдог, самый обыкновенный с виду, посмотреть на него — гроша ломаного не стоит, только на то и годен, чтобы шляться да вынюхивать, где что плохо лежит. А как только поставят деньги на кон — откуда что возьмется, совсем не тот пес: нижняя челюсть выпятится, как пароходная корма, зубы оскалятся и заблестят, как огонь в топке.

И пусть другая собака его задирает, треплет, кусает сколько ей угодно, пусть швыряет на землю, Эндрью Джексон — так звали щенка, — Эндрью Джексон и ухом не поведет, да еще

делает вид, будто он доволен и ничего другого не желал, а тем временем противная сторона удваивает да удваивает ставки, пока все не поставят деньги на кон; тут он сразу вцепится другой собаке в заднюю ногу да так и замрет — не грызет, понимаете ли, а только вцепится и повиснет, и будет висеть хоть целый год, пока не одолеет. Смайли всегда ставил на него и выигрывал, пока не нарвался на собаку, у которой не было задних ног, потому что их отпилило круглой пилой. Дело зашло довольно далеко, и деньги уже поставили на кон, и Эндрью Джексон уже собрался вцепиться в свое любимое место, как вдруг видит, что его надули и что другая собака, так сказать, натянула ему нос; он сначала как будто удивился, а потом совсем приуныл и даже не пытался одолеть ту собаку, так что трепка ему досталась изрядная. Он взглянул разок на Смайли, как будто говоря, что сердце его разбито и Джим тут сам виноват — зачем подсунул ему такую собаку, у которой задних ног нет, даже вцепиться не во что, а в драке он только на это и рассчитывал; потом отошел, хромяя, в сторонку, лег на землю и помер. Хороший был щенок, этот Эндрью Джексон, и составил бы себе имя, останься он жив, талантливый был пес, настоящей закваски. Я-то это знаю, вот только ему случая не было показать себя, а не всякий поймет, что без таланта ни один пес не смог бы так драться в подобных затруднительных обстоятельствах. Мне всегда обидно делается, как только вспомню эту его последнюю драку и чем она кончилась.

Так вот, у этого самого Смайли были и терьеры-крысоловы, и петухи, и коты, и всякие другие твари, видимо-невидимо, — на что бы вы ни вздумали держать пари, он все это мог вам предоставить.

Как-то раз поймал он лягушку, принес домой и объявил, что собирается ее воспитывать; и ровно три месяца ничего другого не делал, как только сидел у себя на заднем дворе в учил эту лягушку прыгать. И что бы вы думали — ведь выучил. Даст ей, бывало, легонького щелчка сзади, и глядишь — уже лягушка перевертывается в воздухе, как оладья на сковородке; перекувыркнется разик, а то и два, если возьмет хороший разгон, и как ни в чем не бывало станет на все четыре лапы, не хуже кошки. И так он ее здорово выучил ловить мух — да еще постоянно заставлял упражняться, — что ей это ровно ничего не стоило: как увидит муху, так и словит. Смайли говаривал, что лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны; и я этому верю. Бывало, — я это своими глазами видел, — посадит Дэниел Уэбстера — лягушку так звали, Дэниел Уэбстер, — на пол, вот на этом самом месте, и крикнет: «Мухи, Дэниел, мухи!» — и не успеешь моргнуть глазок, как она подскочит и слизнет муху со стойки, а потом опять плюхнется на пол, словно комок грязи, и сидит себе как ни в чем не бывало, почесывает голову задней лапкой, будто ничего особенного не сделала и всякая лягушка это может. А уж какая была умница и скромница при всех своих способностях, другой такой лягушки на свете не сыскать. А когда, бывало, дойдет до прыжков в длину по ровному месту, ни одно животное ее породы не могло с ней сравниться. По прыжкам в длину она была, что называется, чемпион, и когда доходило до прыжков, Смайли, бывало, ставил на нее все свои деньги до последнего цента. Смайли страх как гордился своей лягушкой, — и был прав, потому что люди, которые много ездили и везде побывали, в один голос говорили, что другой такой лягушки на свете не видано.

Смайли посадил эту лягушку в маленькую клетку и, бывало, носил ее в город, чтобы держать на нее пари. И вот встречает его с этой клеткой один приезжий, новичок в нашем поселке, и спрашивает:

— Что это такое может быть у вас в клетке? А Смайли отвечает этак равнодушно:

— Может быть, и попугай, может быть, и канарейка, только это не попугай и не канарейка, а всего-навсего лягушка.

Незнакомец взял у него клетку, поглядел, повертел и так и этак и говорит:

— Гм, что верно, то верно. А на что она годится?

— Ну, по-моему, для одного дела она очень даже годится, — говорит Смайли спокойно и благодушно, — она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец опять взял клетку, долго-долго ее разглядывал, потом отдал Смайли и говорит довольно равнодушно:

— Ну, — говорит, — ничего в этой лягушке нет особенного, не вижу, чем она лучше всякой другой.

— Может, вы и не видите, — говорит Смайли. — Может, вы знаете толк и лягушках, а может, и не знаете; может, вы настоящий лягушатник, а может, просто любитель, как говорится. Но у меня-то, во всяком случае, есть свое мнение, и я ставлю сорок долларов, что она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец призадумался на минутку, а потом вздохнул и говорит этак печально:

— Что ж, я здесь человек новый, и своей лягушки у меня нет, а будь у меня лягушка, я бы с вами держал пари.

Тут Смайли и говорит:

— Это ничего не значит, ровно ничего, если вы поддержите мою клетку, я сию минуту сбегая, достану вам лягушку. И вот незнакомец взял клетку, приложил свои сорок долларов к деньгам Джима и уселся дожидаться.

Долго он сидел и думал, потом взял лягушку, раскрыл ей рот и закатил ей туда хорошую порцию перепелиной дробы чайной ложечкой, набил ее до самого горла и посадил на землю. А Смайли побежал на болото, долго там барахтался по уши в грязи, наконец поймал лягушку, принес ее, отдал незнакомцу и говорит:

— Теперь, если вам угодно, поставьте ее рядом с Дэниелом, чтобы передние лапки у них приходились вровень, а я скоманую. — И скомановал: — Раз, два, три — пошел!

Тут они подтолкнули своих лягушек сзади, новая проворно запрыгала, а Дэниел дернулся, приподнял плечи вот так — на манер француза, а толку никакого, с места не может сдвинуться, прирос к земле, словно каменный, ни туда ни сюда, сидит, как на якоре. Смайли порядком удивился, да и расстроился тоже, а в чем дело — ему, разумеется, невдомек.

Незнакомец взял деньги и пошел себе, а выходя из дверей, показал большим пальцем через плечо на Дэниела — вот так — и говорит довольно нагло:

— А все-таки, — говорит, — не вижу я, чем эта лягушка лучше всякой другой, ничего в ней нет особенного. Смайли долго стоял, почесывая в затылке и глядя вниз на Дэниела, а потом наконец и говорит:

— Удивляюсь, какого дьявола эта лягушка отстала, не случилось ли с ней чего-нибудь — что-то уж очень ее раздуло, на мой взгляд. — Он ухватил Дэниела за загривок, приподнял и говорит: — Залягай меня кошка, если она весит меньше пяти фунтов, — перевернул лягушку кверху дном, и посыпалась из нее дробь — целая пригоршня дробы. Тут он догадался, в чем дело, и света не взвидел, — пустился было догонять незнакомца, а того уж и след простыл. И...

Тут Саймон Уилер услышал, что его зовут со двора, и встал посмотреть, кому он понадобился. Уходя, он обернулся ко мне и сказал:

— Посидите тут пока и отдохните, я только на минуту...

Но я, с вашего позволения, решил, что из дальнейшей истории предприимчивого бродяги Джима Смайли едва ли узнаю что-нибудь о его преподобии Леонидасе У. Смайли, и потому не стал дожидаться.

В дверях я столкнулся с разговорчивым Уилером, и он, ухватив меня за пуговицу, завел было опять:

— Так вот, у этого самого Смайли была рыжая корова, и у этой самой коровы не было хвоста, а так, обрубок вроде банана, и...

Однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я откланялся и ушел...

РАССКАЗ О ХОРОШЕМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете один хороший мальчик по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда слушался родителей, как бы нелепы и бессмысленны ни были их требования; он постоянно сидел над учебниками и никогда не опаздывал в воскресную школу; он не пропускал уроков и не бил баклуши даже тогда, когда трезвый голос рассудка подсказывал ему, что это было бы самое полезное для него времяпрепровождение. Все другие мальчики никак не могли его понять — очень уж странно Джейкоб вел себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было в иных случаях. Он утверждал, что лгать нехорошо, и больше ничего знать не хотел! Да, честен он был просто до смешного! Странности этого Джейкоба превосходили всякую меру. Он не хотел играть в шарики по воскресеньям, не разорял птичьих гнезд, не совал обезьянке шарманщика накаленных на огне медяков. Словом, этот Джейкоб не имел ни малейшей склонности к каким бы то ни было разумным развлечениям. Другие мальчики пробовали иногда объяснить себе, почему это так, пытались его понять, но ничего из этого не вышло. И, как я уже говорил, у них только создалось смутное впечатление, что Джейкоб немного «тронутый», — поэтому они взяли его под свое покровительство и никому не давали в обиду.

Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и находил в этом величайшую отраду. Весь секрет был в том, что он свято верил этим книгам, верил в примерных мальчиков, о которых там рассказывается. Он мечтал хоть раз встретить в жизни такого мальчика, но ни разу не встретил. Должно быть, они все вымерли раньше, чем Джейкоб родился. Всякий раз, как ему попадалась книжка о каком-нибудь особенно добродетельном мальчике, он спешил перелистать ее и заглянуть на последнюю страницу, чтобы узнать, что с ним случилось. Джейкоб готов был пройти пешком тысячи миль, чтобы посмотреть на такого мальчика. Но это было бесполезно: всякий хороший мальчик неизменно умирал в последней главе, и на картинке были изображены его похороны. Все его родственники и ученики воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких штанах и чересчур больших шляпах, и все утирали слезы платками размером ярда в полтора. Да, таким-то образом Джейкоб всегда обманывался в своих надеждах: никак ему не удавалось встретить добродетельного мальчика, потому что все они умирали в последней главе.

У Джейкоба была одна высокая мечта: что о нем напишут в книжке для воскресных школ. Ему хотелось, чтобы его изобразили на картинке в тот момент, когда он героически решает не лгать матери, а она плачет от радости; или чтобы он был изображен на пороге, когда подает цент бедной женщине с шестью ребятишками и говорит ей, что она может тратить эти деньги как хочет, но расточительной быть не следует, потому что расточительность — большой грех. И еще Джейкоб мечтал, чтобы на картинках показали, как он великодушно отказывается выдать скверного мальчишку, который постоянно подстерегает его за углом, когда он возвращается из школы, колотит его палкой по голове и гонится за ним до самого дома, крича: «Н-но! Н-но! Вперед!» Такова была честолюбивая мечта юного Джейкоба Блайвенса. Ему хотелось попасть в книгу для воскресных школ. Правда, иногда ему бывало не по себе при мысли, что хорошие мальчики в этих книжках почему-то непременно умирают. Ему, видите ли, жизнь была дорога, и такая особенность хороших мальчиков его сильно смущала. Джейкоб убеждался, что быть хорошим — очень вредно для здоровья, знал, что такая сверхъестественная добродетель, какую описывают в книжках, для мальчика губительнее чахотки. Да, он знал, что все хорошие мальчики недолговечны, и больно было думать, что если о нем и напишут когда-нибудь в книжке, ему этого прочитать не придется, а если книга выйдет до его смерти, она будет не такая интересная, потому что в конце не будет картинки с изображением его похорон. Что уж это за книжка для воскресной школы, если в ней не будет рассказано, как он, умирая, наставлял людей на путь истинный! Однако ему оставалось только примириться с обстоятельствами, и в конце концов

он решил делать все, что в его силах, — то есть жить праведно, быть стойким и подготовить заранее речь, которую он произнесет, когда настанет его смертный час.

Но почему-то этому славному мальчику не везло! Никогда ничего не происходило в его жизни так, как бывает с хорошими мальчиками в книжках. Те всегда жили припеваючи, и ноги ломали себе не они, а скверные мальчишки. А с Джейкобом что-то было неладно — все у него выходило наоборот. Когда он увидел, как Джим Блейк рвет чужие яблоки, и подошел к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ о том, как другой воришка упал с яблони соседа и сломал себе руку, Джим действительно свалился, но не на землю, а на него, Джейкоба, и сломал руку не себе, а ему, а сам остался цел и невредим. Джейкоб был в полнейшем недоумении: в книжках ничего подобного не случалось.

В другой раз, когда какие-то негодники толкнули слепого в лужу, а Джейкоб бросился к нему на помощь, уверенный, что бедняга будет благословлять его, — слепой «благословил» его палкой по голове и закричал:

— Ишь, пихнул в грязь, а теперь прикидывается, будто помочь хочет! Ну, попадись ты мне в другой раз!

Это не лезло ни в какую книгу! Джейкоб перелистал их все, чтобы проверить, бывают ли такие случаи, но ничего не нашел.

Очень хотелось Джейкобу встретить хромого бездомную собаку, голодную и забитую, привести ее к себе домой, ухаживать за ней и заслужить ее вечную благодарность! И вот наконец ему попался такой нес, и Джейкоб был счастлив. Он привел пса домой и накормил, но когда хотел его погладить — пес бросился на него и разорвал на нем сзади всю одежду, так что Джейкоб представлял собой потрясающее зрелище! В надежде найти всему этому какое-нибудь объяснение, Джейкоб изучал авторитетнейшие источники, но так ничего и не понял. Собака была той же породы, как и те, которых в книгах встречали добрые мальчики, а вела себя совершенно иначе.

Да, что бы ни делал наш Джейкоб, он всегда попадал впросак. Те самые поступки, за которые мальчики в книгах получали награду, для него оказывались невыгодными и приносили ему одни неприятности.

Однажды по дороге в воскресную школу, он увидел, что несколько скверных мальчиков поехали кататься на лодке под парусом. Это его очень расстроило: ведь он знал из книг, что те, кто в воскресенье катается на лодке, непременно тонут. И вот он вскочил на плот и поплыл за ними вдогонку, чтобы их предостеречь, но одно бревно под ним перевернулось, и он упал в воду. Его сразу вытащили, врач выкачал из него воду и спас его, нагнав ему воздух в легкие. Но Джейкоб успел простудиться и пролежал в постели больше двух месяцев. А самое непостижимое во всей этой истории было то, что дурные мальчики весь день благополучно катались на лодке и вернулись домой как ни в чем не бывало, живые и здоровые. Джейкоб Блайвенс был просто ошеломлен. Он уверял, что в книгах таких вещей никогда не бывает.

Выздоровев, он, хотя и был уже немного обескуражен, решил все же не отступать. Правда, все его подвиги до сих пор для книги не годились, но ведь еще не истек срок, который положен таким хорошим мальчикам, и Джейкоб надеялся, что все-таки его будет за что увековечить в книге, если он стойко продержится до конца. Даже если во всем другом его будет преследовать неудача, у него остается в запасе предсмертная речь!

Он снова обратился к авторитетным источникам и решил, что сейчас пришло для него время стать юнгой и уйти в море. Он отправился к одному капитану корабля и предложил свои услуги, а когда капитан потребовал рекомендаций, он с гордостью предъявил ему религиозную брошюру и указал на надпись: «Джейкобу Блайвенсу от любящего учителя». Но капитан оказался пошлым грубияном и сказал:

— К черту эту ерунду! Это вовсе не доказательство, что ты сумеешь мыть посуду и управляться с помойным ведром. Нет, пожалуй, ты мне не подойдешь!

Это было уже что-то из ряда вон выходящее! Ничего подобного Джейкоб в жизни не слышал! Во всех прочитанных им книгах трогательная надпись учителя на брошюрке неизменно будила самые нежные чувства в сердцах суровых капитанов, открывала путь ко всем почетным и выгодным должностям, какие они могли предоставить. А тут... Джейкоб просто ушам своим не верил!

Трудно приходилось этому мальчику! В жизни все оказывалось совсем не таким, как в книгах, которым он свято верил. Наконец однажды, когда он слонялся в поисках дурных детей, чтобы их увещевать, он наткнулся на целую ватагу в старой литейне. Эти шалопаи развлекались тем, что, связав вместе длинной вереницей четырнадцать или пятнадцать собак, привязывали к их хвостам, в виде украшения, пустые жестянки из-под нитроглицерина. Сердце у Джейкоба дрогнуло. Он сел на одну из банок (ибо, когда нужно было исполнить долг, никакая грязь его не пугала) и, ухватив за ошейник переднюю собаку, обратил укоризненный взор на негодного Тома Джонса. Но как раз в эту минуту на сцене появился разъяренный олдермен Мак-Уэлтер. Все скверные мальчишки разбежались, а Джейкоб Блайвенс встал спокойно, в полном сознании своей невинности, и начал одну из тех полных достоинства речей, которыми изобилуют книги для воскресных школ и которые всегда начинаются словами: «О сэр!», хотя в жизни никакой мальчик, ни хороший, ни дурной, так не говорит. Однако олдермен не стал слушать Джейкоба. Он схватил его за ухо, повернул спиной к себе и дал ему хорошего шлепка...

И вдруг этот добродетельный мальчик пулей пролетел через крышу и взмыл к небу вместе с останками пятнадцати собак, которые тянулись за ним, как хвост за бумажным змеем. Не осталось на земле следа ни от грозного олдермена, ни от старой литейни. А юному Джейкобу Блайвенсу так и не пришлось произнести сочиненную им с таким трудом предсмертную речь, — разве что он обратился с ней к птицам в поднебесье. Большая часть его, правда, застряла на верхушке дерева в соседнем округе, но все остальное рассеялось по четырем приходам, так что пришлось произвести пять следствий, чтобы установить, мертв он или нет и как все это случилось. Никогда еще свет не видел мальчика, который бы до такой степени разбрасывался!*

Так погиб хороший мальчик, который, как ни старался, не мог уподобиться героям книг для воскресной школы. Все мальчишки, поступавшие так, как он, благоденствовали, а он — нет. Это поистине удивительный случай! Объяснить его, вероятно, так и не удастся.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СТАРИК

Джон Вагнер — старейший житель Буффало, ста четырех лет от роду, — недавно прошел пешком полторы мили за две недели.

Он молодец и весельчак, ни в чем не уступает тем старичкам, о которых так упрямо и назойливо твердят все газеты.

Прошлым ноябрем он в проливной дождь прошел пять кварталов без плаща, под одним только зонтиком и проголосовал за Гранта, причем заявил, что голосует уже за сорок восьмого президента, — но это, конечно, враки.

Копна густых каштановых волос «второго укуса» прибыла для него вчера из Нью-Йорка, а новенькие зубы находятся в пути из Филадельфии.

Через неделю он женится на девице ста двух лет, которая все еще берет на дом стирку.

Они восемьдесят лет как помолвлены, но их родители упорно противились и дали согласие только три дня тому назад.

* О подобной катастрофе с нитроглицерином я прочел в одной газете. Я назвал бы вам фамилию автора заметки, если бы знал ее. — М. Т.

Джон Вагнер на два года старше ветерана Род-Айленда и отродясь не брал в рот ни капли спиртного, если... если только не считать виски.

Перевод Т. Рузской

МЫ — АНГЛОСАКСЫ

Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем поучать Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы — англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «Дальние Концы Земли», председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы — англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет».

Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты. На банкете присутствовало не менее семидесяти пяти штатских и двадцать пять офицеров армии и флота. Прошло, наверное, около двух минут, прежде чем они истошили свой восторг по поводу этой великолепной декларации. Сам же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени, или кишечника, или пищевода — не знаю точно, где он ее вынашивал, — стоял все это время сияя, светясь улыбкой счастья, излучая блаженство из каждой поры своего организма. (Мне вспомнилось, как в старинных календарях изображали человека, источающего из распахнутой утробы знаки Зодиака и такого довольного, такого счастливого, что ему, как видно, совсем невдомек, что он рассечен опаснейшим образом и нуждается в целительной помощи хирурга.)

Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы — воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Из всех присутствовавших англичан и американцев не нашлось ни одного, у кого хватило бы гражданского мужества подняться и сказать, что ему стыдно, что он англосакс, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор человеческого рода. Я не решился принять на себя эту миссию. Я вспыхнул бы и был бы смешон в роли праведника, пытающегося обучать этих моральных недорослей основам порядочности, которые они не в силах ни понять, ни усвоить.

Это было зрелище, достойное внимания, — этот по-детски непосредственный, искренний, самозабвенный восторг по поводу зловонной сентенции пророка в офицерском мундире. Это пахивало саморазоблачением: уж не излились ли здесь наружу под нечаянным ударом случая тайные порывы нашей национальной души? На собрании были представлены наиболее влиятельные группы нашего общества, те, что стоят у рычагов, приводящих в движение нашу национальную цивилизацию, дающих ей жизнь: адвокаты, банкиры, торговцы, фабриканты, журналисты, политики, офицеры армии, офицеры флота. Все они были здесь. Это были Соединенные Штаты, созданные на банкет и полноправно высказывавшие от лица нации свой сокровенный кодекс морали.

Этот восторг не был изъяснением нечаянно прорвавшихся чувств, о котором после вспоминают со стыдом. Нет. Стоило кому-нибудь из последующих ораторов почувствовать холодок аудитории, как он немедленно втискивал в свои банальности все тот же великий тезис англосаксов и пожинал новую бурю оваций. Что ж, таков род человеческий. У него всегда в запасе два моральных кодекса — официальный, который он выставляет напоказ, и подлинный, о котором он умалчивает.

Наш девиз: «В господу веруем...» Когда я читаю эту богомольную надпись на бумажном долларе (стоимостью в шестьдесят центов), мне всегда чудится, что она трепещет и похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной:

«Когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Наша официальная нравственность нашла трогательное выражение в величавом и в то же время гуманном и добросердечном девизе: «Ex pluribus unum» (Из многих одно — лат.) из которого как бы следует, что все мы, американцы, большая семья, объединенная братской любовью. А наша подлинная нравственность выражена в другом бессмертном изречении: «Эй, ты там, пошевеливайся!»

Мы заимствовали наш империализм у монархической Европы, а также и наши странные понятия о патриотизме, — если хоть один здравомыслящий человек вообще сумеет толком объяснить, что мы подразумеваем под словом «патриотизм». Значит, по справедливости, в ответ на эти и другие наставления мы тоже должны чему-нибудь учить Европу.

Сто с лишним лет тому назад мы преподали европейцам первые уроки свободы, мы немало содействовали тем успеху французской революции — в ее благотворных результатах есть и наша доля. Позднее мы преподали Европе и другие уроки. Без нас европейцы никогда не узнали бы, что такое газетный репортер; без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас европейский пищевой трест никогда не овладел бы искусством кормить людей отравой за их собственные деньги; без нас европейские страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет незащитных сирот и вдов; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть может, наступило бы еще не скоро. Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем довести это дело до конца.

Перевод Н.Дехтяревой

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРЕХИ ФЕНИМОРА КУПЕРА

«Следопыт» и «Зверобой» — вершины творчества Купера. В других его произведениях встречаются отдельные места, не уступающие им по совершенству, и даже сцены более захватывающие. Но, взятое в целом, ни одно из них не выдерживает сравнения с названными шедеврами.

Погрешности в этих двух романах сравнительно невелики. «Следопыт» и «Зверобой» — истинные произведения искусства». — Проф. Лонсбери. «Все пять романов говорят о необычайно богатом воображении автора.

...Один из самых замечательных литературных героев Натти Бампо... Сноровка обитателя лесов, приемы трапперов, удивительно тонкое знание леса — все это было понятно и близко Куперу с детских лет». — Проф. Брандер Мэтьюз.

«Купер — величайший романтик, ему нет равного во всей американской литературе». — Уилки Коллинз.

Мне кажется, что профессору английской литературы Йельского университета, профессору английской литературы Колумбийского университета, а также Уилки Коллинзу не следовало высказывать суждения о творчестве Купера, не удосужившись прочесть ни одной его книги. Было бы значительно благопристойнее помолчать и дать возможность высказаться тем людям, которые его читали.

Да, в произведениях Купера есть погрешности. В своем «Зверобое» он умудрился всего лишь на двух третях страницы согрешить против законов художественного творчества в 114 случаях из 115 возможных. Это побивает все рекорды.

Существуют 19 законов, обязательных для художественной литературы (кое-кто говорит, что их даже 22). В «Зверобое» Купер нарушает 18 из них. Каковы же эти 18 законов?

1) Роман должен воплотить авторский замысел и достигнуть какой-то цели. Но «Зверобой» не воплощает никакого замысла и никакой цели не достигает.

2) Эпизоды романа должны быть неотъемлемой его частью, помогать развитию действия. Но поскольку «Зверобой», по сути дела, не роман, поскольку в нем нет ни замысла, ни цели, эпизоды в нем не занимают своего законного места, им нечего развивать.

3) Героями произведения должны быть живые люди (если только речь идет не о покойниках), и нельзя лишать читателя возможности уловить разницу между теми и другими, что в «Зверобое» часто упускается из виду.

4) Все герои, и живые и мертвые, должны иметь достаточно веские основания для пребывания на страницах произведения, что в «Зверобое» также часто упускается из виду.

5) Действующие лица должны говорить членораздельно; их разговор должен напоминать человеческий разговор и быть таким, какой мы слышим у живых людей при подобных обстоятельствах, и чтобы можно было понять, о чем они говорят и зачем, и чтобы была хоть какая-то логика, и разговор велся хотя бы по соседству с темой, и чтобы он был интересен читателю, помогал развитию сюжета и кончался, когда действующим лицам больше нечего сказать. Купер пренебрегает этим требованием от начала и до конца романа «Зверобой».

6) Слова и поступки персонажа должны соответствовать тому, что говорит о нем автор. Но в «Зверобое» этому требованию почти не уделяется внимание, о чем свидетельствует хотя бы образ Натти Бампо.

7) Речь действующего лица, в начале абзаца, позаимствованная из роскошного, переплетенного, с узорчатым тиснением и золотым обрезом тома «Френдшип», не должна переходить в конце этого же абзаца в речь комика, изображающего безграмотного негра. Но Купер безжалостно надругался над этим требованием.

8) Герои произведения не должны навязывать читателю мысль, будто бы грубые трюки, к которым они прибегают по воле автора, объясняются «сноровкой обитателя лесов, удивительно тонким знанием леса». В «Зверобое» это требование постоянно нарушается.

9) Герои должны довольствоваться возможным и не тщиться совершать чудеса. Если же они и отваживаются на что-нибудь сверхъестественное, дело автора представить это как нечто достоверное и правдоподобное. Купер относится к этому требованию без должного уважения.

10) Автор должен заставить читателей интересоваться судьбой своих героев, любить хороших людей и ненавидеть плохих. Читатель же «Зверобоя» хороших людей не любит, к плохим безразличен и от души желает, чтобы черт побрал их всех — и плохих и хороших.

11) Авторская характеристика героев должна быть предельно точна, так чтобы читатель мог представить себе, как каждый из них поступит в тех или иных обстоятельствах. Купер забывает об этом.

Кроме этих общих требований, существуют и несколько более конкретных.

Автор обязан:

12) сказать то, что он хочет сказать, не ограничиваясь туманными намеками,

13) найти нужное слово, а не его троюродного брата,

14) не допускать излишнего нагромождения фактов,

15) не опускать важных подробностей,

16) избегать длиннот,

17) не делать грамматических ошибок,

18) писать простым, понятным языком.

Автор «Зверобоя» с холодным упорством проходит мимо и этих требований.

Купер не был одарен богатым воображением; но то небольшое, что имел, он любил пускать в дело. Он искренно радовался своим выдумкам и, надо отдать ему справедливость, кое-что у него получалось довольно мило. В своем скромном наборе бутафорских принадлежностей он бережно хранил несколько трюков, при помощи которых его дикари и бледнолицые обитатели лесов обводили друг друга вокруг пальца, и ничто не приносило ему большей радости, чем возможность приводить этот нехитрый механизм в действие. Один из его излюбленных приемов заключался в том, чтобы пустить обутого в мокасины человека по следу ступающего в мокасинах

врага и тем самым скрыть свои собственные следы. Купер пользовался этим приемом так часто, что износил целые груды мокасин. Из прочей бутафории он больше всего ценил хрустнувший сучок. Звук хрустнувшего сучка улаживал его слух, и он никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Чуть ли не в каждой главе у Купера кто-нибудь обязательно наступит на сучок и поднимет на ноги всех бледнолицых и всех краснокожих на двести ярдов вокруг. Всякий раз, когда герой Купера подвергается смертельной опасности и полная тишина стоит четыре доллара в минуту, он обязательно наступает на предательский сучок, даже если поблизости есть сотня предметов, на которые гораздо удобнее наступить. Купера они явно не устраивают, и он требует, чтобы герой осмотрелся и нашел сучок или, на худой конец, взял его где-нибудь напрокат. Поэтому было бы правильнее назвать этот цикл романов не «Кожаный Чулок», а «Хрустнувший Сучок». К сожалению, недостаток места не позволяет мне привести несколько десятков примеров «удивительно тонкого знания леса» из практики Натти Бампо и других куперовских специалистов. Все же отважусь на несколько иллюстраций. Купер был моряком, морским офицером; тем не менее, он совершенно серьезно говорит о шкипере, ведущем судно в штормовую погоду к определенному месту подветренного берега, потому что ему, видите ли, известно какое-то подводное течение, способное противостоять шторму и спасти корабль. Это здорово для любого, кто бы ни написал, знаток ли лесов, или знаток морей. За несколько лет службы на флоте Купер, казалось бы, мог приглядеться к пушкам и заметить, что, когда падает пушечное ядро, оно или зарывается в землю, или отскакивает футов на сто, снова отскакивает, и так до тех пор, пока не устанет и не покатится по земле. И вот один из эпизодов. Ночью Купер оставляет несколько «нежных созданий», под каковыми подразумеваются женщины, в лесу, недалеко от опушки, за которой начинается скрытая туманом равнина, — оставляет нарочно, для того чтобы дать возможность Бампо похвастаться перед читателями «удивительно тонким знанием леса». Заблудившиеся люди ищут форт. До них доносится грохот пушки, ядро вкатывается в лес и останавливается прямо у их ног. Для женщин это пустой звук, а вот для несравненного Бампо... Не сойти мне с этого места, если он не вышел по следу пушечного ядра сквозь сплошной туман прямо к форту. Не правда ли, мило? Может быть, Купер и знал законы природы, но он очень умело это скрывал. Например, один из его проницательных индейских специалистов Чингачгук (произносится, очевидно, Чикаго) потерял след человека, за которым он гонится по лесу. Совершенно очевидно, что дело безнадежное. Ни вы, ни я никогда бы не нашли этого следа. Но Чикаго — совсем другое дело. Уж он-то не растерялся. Отведя ручей, он разглядел следы мокасин в вязком иле старого русла. Вода не смыла их, как это произошло бы во всяком другом случае — нет, даже вечным законам природы приходится отступить, когда Купер хочет пустить читателю пыль в глаза своими лесными познаниями.

Когда Брандер Мэтьюз заявляет, что романы Купера «говорят о необычайно богатом воображении автора», это настораживает. Как правило, я охотно разделяю литературные взгляды Брандера Мэтьюза и восхищаюсь ясностью и изяществом его стиля, но к этому его утверждению следует отнестись весьма и весьма скептически. Видит бог, воображения у Купера было не больше, чем у быка, причем я имею в виду не рогатого, мычащего быка, а промежуточную опору моста. В романах Купера очень трудно найти действительно интересную ситуацию, но еще трудней найти такую, которую ему не удалось бы довести до абсурда своей манерой изложения. Взять хотя бы эпизоды в пещере; знаменитую потасовку на плато с участием Макуа несколько дней спустя; любопытную переправу Гарри Непоседы из замка в ковчег; полчаса, проведенные Зверобоем около своей первой жертвы; ссору между Гарри Непоседой и Зверобоем, и... но вы можете остановить свой выбор на любом другом эпизоде и, я уверен, вы не ошибетесь. Воображение у Купера работало бы лучше, если бы он обладал способностью наблюдать: он писал бы если не увлекательнее, то, по крайней мере, более разумно и правдоподобно. Отсутствие наблюдательности сильно сказывается на всех хвалёных куперовских «ситуациях». У Купера был удивительно неточный глаз. Он редко различал что-либо отчетливо, обычно предметы расплывались у него перед глазами. Разумеется, человеку,

который не видит отчетливо самые обычные, повседневные предметы, окружающие его, приходится трудно, когда он берется за «ситуации». В романе «Зверобой» Купер описывает речку, берущую начало из озера, и ширина ее у истока — 50 футов, но затем она сужается до 20 футов. Почему? Непонятно. Но ведь если река позволяет себе такие вещи, читатель вправе потребовать объяснения. Через четырнадцать страниц мы узнаем, что ширина речки у истока неожиданно сузилась до 20 футов и стала «самой узкой частью реки». Почему она сузилась? Тоже неизвестно. Река образует излучины. Ну, ясно, берега наносные, и река размывает их; но вот Купер пишет, что длина этих излучин не превышает 30-50 футов. Будь Купер наблюдательнее, он бы заметил, что обычная-то длина таких излучин меньше чем 900 футов не бывает.

Непонятно, почему в первом случае ширина реки у истока 50 футов, однако можно догадаться, что во втором случае Купер сузил ее до 20 футов, чтобы услужить индейцам. Сузив в этом месте речку, он дугой перегнул над ней молодое деревце и спрятал в его листве шесть индейцев. Они подкарауливают ковчег с переселенцами, направляющийся вверх по реке к озеру; ковчег движется против сильного течения, его подтягивают на канате, один конец которого с якорем брошен в озеро; скорость ковчега в таких условиях не может превышать милю в час. Купер описывает плавучее жилище, но очень невразумительно. Оно было «чуть побольше современных плоскодонных барок, плавающих по каналам». Ну, допустим, что длина его была около 140 футов. Ширина его «превышала обычную». Допустим, следовательно, что ширина составляла 16 футов. Этот левиафан крадется вдоль излучин, длина которых в три раза меньше его длины, и буквально задевает берега, так как отстоит от них всего на два фута с каждой стороны. Право же, от удивления трудно прийти в себя. Низкая бревенчатая хижина занимает «две трети ковчега в длину» — значит, имеет 90 футов в длину и 16 в ширину, то есть по размерам напоминает железнодорожный вагон. Эта хижина разделена на две комнаты. Прикинем, что длина каждой из них — 45 футов, а ширина — 16 футов. Одна из них — спальня Джудит и Хетти Хаттер, вторая — днем столовая, а ночью спальня их папаша. Итак, ковчег приближается к истоку, который Купер для удобства индейцев сузил до 20, даже до 18 футов. Теперь он отстоит на фут от каждого берега. Замечают ли индейцы опасность, грозящую ковчегу, замечают ли они, что есть прямой смысл слезть с дерева и просто ступить на борт, когда ковчег будет протискиваться к озеру? Нет, другие индейцы наверняка бы заметили это, но куперовские индейцы ничего не замечают. Купер полагал, что они чертовски наблюдательны, но почти всегда переоценивал их возможности. У него редко найдешь толкового индейца.

Длина ковчега — 140 футов, длина хижины — 90. План индейцев заключается в том, чтобы осторожно и бесшумно прыгнуть из засады на крышу, когда ковчег будет проползать под деревом, и вырезать семью Хаттеров.

Полторы минуты находится ковчег под деревом, минуту под ним находится хижина длиной в 90 футов. Ну а что же делают индейцы? Можете ломать себе голову хоть тридцать лет, все равно не догадаетесь. Поэтому я вам лучше расскажу, что они делали. Их вождь, человек необычайно умный для куперовского индейца, осторожно наблюдал из своего укрытия, как внизу с трудом протискивался ковчег, и когда, по его расчетам, настало время действовать, он прыгнул и... промахнулся! Ну да, промахнулся и упал на корму. Не с такой уж большой высоты он упал, однако потерял сознание. Будь длина хижины 97 футов, он бы прыгнул куда удачнее. Так что виноват Купер, а не он. Это Купер неправильно построил ковчег. Он не был архитектором.

Но на дереве оставалось еще пять индейцев. Ковчег миновал засаду и был практически недосыгаем. Я вам расскажу, как они поступили, самим вам не додуматься. № 1 прыгнул и упал в воду за кормой. За ним прыгнул № 2 и упал дальше от кормы. Потом прыгнул № 3 и упал совсем далеко от кормы. За ним прыгнул № 4 и упал еще дальше. Потом прыгнул и № 5 — потому что он был куперовский индеец. В смысле интеллектуального развития разница между индейцем, действующим в романах Купера, и деревянной фигурой индейца у входа в табачную

лавку очень невелика. Эпизод с ковчегом — поистине великолепный взлет воображения, но он не волнует, так как неточный глаз автора сделал его совершенно неправдоподобным, лишен плоти и крови. Вот что значит быть плохим наблюдателем! В том, что Купер был на редкость ненаблюдателен, читатель может убедиться, ознакомившись с эпизодом стрелкового состязания в «Следопыте».

«Обычный железный гвоздь слегка вогнали в мишень, предварительно окрасив его шляпку».

В какой цвет, не указано — важное упущение, но Купер — мастак по части важных упущений! Впрочем, это даже не такое уж важное упущение, потому что шляпка гвоздя находится в ста ярдах от стрелков, и какого бы она цвета ни была, они не могут увидеть ее. На каком расстоянии самый острый глаз различит обыкновенную муху? В ста ярдах? Но это абсолютно невозможно. Так вот, глаз, который не увидит муху на расстоянии ста ярдов, не увидит и шляпку обычного гвоздя, поскольку они одинаковой величины. Чтобы увидеть муху или шляпку гвоздя в 50 ярдах, то есть в 150 футах, и то нужен острый глаз. Вы, читатель, на это способны?

Обыкновенный гвоздь с окрашенной шляпкой слегка вогнали в мишень, и соревнование началось. Тут-то и пошли чудеса. Пуля первого стрелка сорвала с гвоздя кусочек шляпки; пуля следующего стрелка вогнала гвоздь немного глубже в доску, и вся краска с него стерлась. Хорошенького понемножку, не правда ли? Но Купер не согласен. Ведь цель его — дать возможность своему удивительному Зверобою — Соколиному Глазу — Длинному Карабину — Кожаному Чулку — Следопыту — Бампо порисоваться перед дамами..

« — Приготовьтесь-ка решить спор, друзья, — крикнул Следопыт, занимая место предыдущего стрелка, едва тот отошел. — Не нужно нового гвоздя, ничего, что с него стерлась краска, я его вижу, а в то, что вижу, могу попасть и в ста ярдах, будь это хоть глаз москита. Приготовьтесь-ка решить спор! — Раздался выстрел, просвистела пуля, и кусок расплющенного свинца вогнал шляпку гвоздя глубоко в дерево».

Вы видите, перед вами человек, который может подстрелить муху! Живи он в наши дни, он затмил бы всех артистов из представления «Ковбой Дикого Запада» и заработал колоссальные деньги.

Проявленная Следопытом ловкость сама по себе удивительна, однако Куперу этого показалась мало, и он решил кое-что добавить. По воле Купера Следопыт совершает это чудо с чужим ружьем и даже сам его не заряжает. Все было против Следопыта, но этот непостижимый выстрел был сделан, причем с абсолютной уверенностью в успехе: «Приготовьтесь-ка решить спор!» Впрочем, Следопыт и ему подобные могли бы попасть в цель и кирпичом, — с помощью Купера, разумеется.

В этот день Следопыт вполне покрасовался перед дамами. С самого начала он блеснул остротой зрения, о какой артисты — «Ковбой Дикого Запада» не смеют и мечтать. Он стоял там же, где и другие стрелки, в ста ярдах от мишени, заметьте, и наблюдал; некто Джаспер прицелился и выстрелил — пуля пробила самый центр мишени. Затем спустил курок квартирмейстер. Нового отверстия на мишени не появилось. Послышался смех. «Промах!» — сказал майор Лэнди. Следопыт выдержал внушительную паузу и сказал спокойно, с присущим ему безразличным видом всезнайки: «Нет, майор, взглянув на мишень, всякий убедится, что его пуля попала на пулю Джаспера». Вот здорово! Как он мог проследить полет пули и на таком расстоянии определить, что она попала в то же отверстие? Тем не менее, ему это удалось — разве может что-либо не удался героям Купера! Ну, а остальные? Неужели они даже в глубине души не усомнились в правдивости его слов? Нет, для этого потребовался бы здравый смысл, а ведь они — персонажи Купера.

«Уважение к *мастерству* Следопыта и к *остроте его зрения* (курсив мой) было таким всеобщим и глубоким, что едва он произнес эти слова, как все зрители начали сомневаться в справедливости собственного мнения, и человек двенадцать бросилось к мишени, чтобы

освидетельствовать ее. Они обнаружили, что пуля квартирмейстера действительно прошла через то самое отверстие, которое пробила пуля Джаспера, и с такой точностью, что это можно было установить лишь путем тщательного осмотра; но две пули, найденные в стволе дерева, к которому была прибита мишень, окончательно убедили всех в правоте Следопыта».

Итак, они «бросились к мишени, чтобы освидетельствовать ее», но каким образом они узнали, что в стволе дерева было две пули? В этом можно было убедиться, лишь вынув вторую, потому что видна и ощутима была лишь одна. Но они этого не сделали, что мы увидим в дальнейшем. Настал черед Следопыта. Он встал в позу перед дамами и выстрелил.

Но боже, какое разочарование! Случилось что-то непостижимое — вид мишени не изменился, пробит по-прежнему лишь центр белого кружка.

« — Посмей я предположить такое, — воскликнул майор Дункан, — я бы сказал, что Следопыт тоже промахнулся!» Поскольку никто еще не промахнулся, «тоже» совершенно излишне, но, бог с ним, Следопыт собирается что-то сказать.

« — Нет, нет, майор, — уверенно возразил Следопыт, — это было бы неверное предположение. Я не заряжал ружья и не знаю, что в нем было, но если свинец, я ручаюсь, что моя пуля сейчас на пулях Джаспера и квартирмейстера, или я не Следопыт. Возле мишени раздались одобрительные восклицания: Следопыт оказался прав».

Может быть, хватит чудес? Нет, Куперу и этого мало.

«Медленно приближаясь к скамьям, где сидели дамы. Следопыт добавил: «Нет, это еще не все, друзья, это еще не все! Если вы обнаружите, что пуля хоть слегка коснулась мишени, тогда считайте, что я промахнулся. Пуля квартирмейстера увеличила отверстие, но вы не отыщете и царапины от моей пули».

Наконец-то мы получили полное представление о совершившемся чуде. Следопыт знал и, несомненно, видел на расстоянии ста ярдов, что его пуля не увеличила отверстия. Итак, это была уже третья пуля. Три пули одна за другой вошли в ствол дерева и застряли в нем. Каким-то образом все об этом узнали, хотя никому не пришлось в голову убедиться, так ли это, вытащив хоть одну из них! Наблюдательность была несвойственна Куперу, но писал он занимательно.

Причем, чем меньше он сам разбирался в том, что писал, тем занимательнее у него получалось. Это весьма ценный дар. Речь персонажей Купера звучит несколько странно в наши дни. Поверить в то, что люди изъяснялись таким образом, значило бы поверить, что было время, когда человек, испытывавший потребность высказаться, меньше всего думал о времени; когда было в обычае растягивать на десять минут то, что можно сказать за две; когда рот человека был рельсопрокатным станом, где в течение всего дня четырехфутовые болванки мыслей раскатывались в тридцатифутовые рельсы слов; когда от темы разговора уклонялись так далеко, что не могли найти дорогу обратно; когда изредка в словесной чепухе попадалась разумная мысль — разумная мысль со смущенным видом незваной гостьи.

Да, диалоги Куперу явно не давались. Недостаток наблюдательности подводил его и здесь. Он не заметил даже того, что человек, который говорит безграмотно шесть дней в неделю, и на седьмой не может удержаться от соблазна. В «Зверобое» герой то изъясняется витиеватым книжным языком, то переходит на вопиющий жаргон. Когда Зверобоя спрашивают, есть ли у него невеста и где она живет, он величественно отвечает:

«Она в лесу — в склоненных ветвях дерев, в мягком теплом дожде, в светлой росе на зеленой травинке; она — облака, плывущие по голубому небу, птицы, распевające в лесах, чистый родник, утоляющий жажду; и все другие щедрые дары провидения — тоже она».

А в другом месте он говорит:

«Будь я рожден индейцем, так не стал бы молчать, уж будьте уверены! И скальп бы содрал, да еще бахвалился бы таким геройством перед всей компанией», или: «ежели бы моим недругом был медведь...» (и т. д.).

Мы не можем представить себе, чтобы командир форта, ветеран-шотландец, держался на поле боя как бездарный мелодраматический актер, а вот Купер мог.

Алиса и Кора, спасаясь от французов, бегут к форту, которым командует их отец.

«— Point de quartier aux coquins!» — крикнул один из преследователей, казалось направлявший остальных.

— Стойте твердо, мои храбрые солдаты, приготовиться к бою! — внезапно раздался голос сверху. — Подождите, пока не покажется враг, стреляйте вниз, по переднему скату бруствера!

— Отец, отец! — послышался пронзительный крик из тумана. — Это я, Алиса, твоя Эльси! О, пощади! О, спаси своих дочерей!

— Стойте! — прозвучал тот же голос, исполненный отцовской тревоги и боли, и звуки его достигли леса и отдались эхом — Это она! Господь вернул мне моих детей! Откройте ворота! В бой, мои молодцы, вперед! Не спускайте курков, чтобы не убить моих овец! Отбейте проклятых французов штыками!»

У Купера было сильно притуплено чувство языка. Если у человека нет музыкального слуха, он фальшивит, сам того не замечая, и можно лишь гадать о том, какую он поет песню. Если человек не улавливает разницы в значении слов, он тоже фальшивит. Мы догадываемся, что именно он хочет сказать, и понимаем, что он этого не говорит. Все это можно отнести к Куперу. Он постоянно брал не ту ноту в литературе, довольствовался похожей по звучанию.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько дополнительных улик. Я обнаружил их всего лишь страницах на шести романа «Зверобой».

Купер пишет «словесный» вместо «устный», «точность» вместо «легкость», «феномен» вместо «чудо», «необходимый» вместо «предопределенный», «безыскусный» вместо «примитивный», «приготовление» вместо «предвкушение», «посрамленный», вместо «пристыженный», «зависящий от» вместо «вытекающий из», «факт» вместо «условие», «факт» вместо «предположение», «предосторожность» вместо «осторожность», «объяснять» вместо «определять», «огорченный» вместо «разочарованный», «мишурный» вместо «искусственный», «важно» вместо «значительно», «уменьшающийся» вместо «углубляющийся», «возрастающий» вместо «исчезающий», «вонзенный» вместо «вложенный», «вероломный» вместо «враждебный», «стоял» вместо «наклонился», «смягчил» вместо «заменил», «возразил» вместо «заметил», «положение» вместо «состояние», «разный» вместо «отличный от», «бесчувственный» вместо «нечувствительный», «краткость» вместо «быстрота», «недоверчивый» вместо «подозрительный», «слабоумие ума» вместо «слабоумие», «глаза» вместо «зрение», «противодействие» вместо «вражда», «скончавшийся покойник» вместо «покойник».

Находились люди, бравшие на себя смелость утверждать, что Купер умел писать по-английски. Из них в живых остался лишь Лонсбери. Я не помню, выразил ли он эту мысль именно в таких словах, но ведь он заявил, что «Зверобой» — истинное произведение искусства».

«Истинное» — значит, безупречное, безупречное во всех деталях, а язык — деталь немаловажная. Если бы мистер Лонсбери сравнил язык Купера со своим,.. но он этого не сделал и, вероятно, по сей день воображает, что Купер писал так же ясно и сжато, как он сам. Что же касается меня, то я глубоко и искренне убежден в том, что хуже Купера никто по-английски не писал и что язык «Зверобоя» не выдерживает сравнения даже с другими произведениями того же Купера. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что «Зверобой» никак нельзя назвать произведением искусства; в нем нет абсолютно ничего от произведения искусства; по-моему, это просто литературный бред с галлюцинациями.

Как же можно назвать это произведением искусства? Здесь нет воображения, нет ни порядка, ни системы, ни последовательности, ни результатов; здесь нет жизненности, достоверности, интригующих и захватывающих эпизодов; герои описаны сумбурно и всеми своими поступками и речами доказывают, что они вовсе не те люди, какими автор желает их представить; юмор напыщенный, а пафос комичный, диалоги неопишутемы, любовные сцены тошнотворны, язык — вопиющее преступление.

Если выбросить все это, остается искусство. Думаю, что вы со мной согласны.

НИАГАРА

Ниагарский водопад — приятнейший уголок для отдыха. Гостиницы там отличные, а цены вовсе не такие уж баснословные. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где лучше; здесь же всюду одинаково хорошо — по той простой причине, что не клюет нигде; а значит, незачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка, — можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. О преимуществах такого положения вещей до сих пор почему-то еще никто не додумался.

Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, так же приятен для глаза, если бы на дне его с ревом пенилась и клокотала эта рассвирепевшая река. Затем можно спуститься по лестнице еще на полтора фута вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами станете удивляться, зачем вам это понадобилось, но будет уже поздно.

Проводник небрежно расскажет, заставляя вас холодеть от ужаса, как на его глазах пароходик «Дева тумана» летел вниз с головокружительной высоты, как бушующие волны поглотили сперва одно гребное колесо, потом другое, — и покажет, в каком месте свалилась за борт дымовая труба, и где начала трещать и отваливаться обшивка, и как «Дева тумана» все-таки выбралась, совершив невозможное: она промчалась то ли семнадцать миль за шесть минут, то ли шесть миль за семнадцать минут — уж, право, не помню. Так или иначе, случай был поистине удивительный. Стоило заплатить деньги, чтобы послушать, как проводник рассказывает эту историю девять раз подряд девяти различным экскурсиям, ни разу не сбившись, не пропустив ни словечка, не изменив ни фразы, ни жеста.

Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться: того ли, что вы рухнете с высоты в двести футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе; вместе же они вконец портят вам настроение.

На канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотоаппаратов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой, — вам предлагается считать его лошадью, — и все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план; и ведь у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность, — впрочем, быть может, ум их от природы столь извращен?

Вы всегда увидите у этих фотоаппаратов внушительное изображение папы, мамы, Джонни, Боба и их сестренки или четы провинциальных родичей; на всех лицах застыла бессмысленная улыбка, все сидят в экипажах в самых неудобных и вычурных позах, и все они в своем ошеломляющем тупоумии вылезают на первый план, заслоняя и оскорбляя самим видом своим великое чудо природы, чьи покорные слуги — радуги, чей голос — гром небесный, чей устрашающий лик скрывается в облаках. Сей грозный владыка царил здесь в давно минувшие, незапамятные времена, задолго до того, как горстке жалких пресмыкающихся дано было на краткий миг заполнить пробел в нескончаемом ряду безвестных тварей земных, и будет царить века и века после того, как эти жалкие пресмыкающиеся станут пищей столь родственных им могильных червей и обратятся в прах.

В сущности, нет ничего дурного в том, чтобы на фоне Ниагары выставить на всеобщее обозрение свое ярко освещенное великолепное ничтожество. Но все же для этого нужно сверхчеловеческое самодовольство.

После того как вы досыта нагляделись на огромный водопад Подкову, вы по новому висячему мосту возвращаетесь в Соединенные Штаты Америки и идете вдоль берега к тому месту, где выставлена для вашего обозрения Пещера Ветров.

Здесь я поступил точно по инструкции: снял с себя всю одежду и напялил непромокаемую куртку и комбинезон. Одевание это довольно живописное, но отнюдь не отличается красотой. Проводник, в таком же наряде, повел меня вниз по винтовой лестнице, которая очень скоро потеряла для меня прелесть новизны, но все еще виляла и виляла — и вдруг кончилась задолго до того, как спуск по ней начал доставлять удовольствие. К тому времени мы были уже глубоко под землей, но все еще довольно высоко над уровнем реки.

Потом мы стали пробираться по шатким, в одну дощечку, мосткам. Нас отделяли от бездны только жиденькие деревянные перильца, и я цеплялся за них обеими руками, — не подумайте, что от страха, просто мне так нравилось. Постепенно спуск становился все круче, а мостик все ненадежнее; брызги водопада обдавали нас все чаще, все гуще — скоро под этим ливнем уже ничего невозможно было разглядеть, и двигаться теперь приходилось ощупью. Вдобавок из-за водопада подул яростный ветер, словно он решил во что бы то ни стало сдуть нас с моста, швырнуть на скалы или сбросить в бурные воды реки Ниагары. Я робко заметил, что не прочь бы вернуться домой, но было уже поздно. Мы оказались почти у подножья гигантской водяной стены, с таким грохотом низвергавшейся с высоты, что человеческий голос совсем терялся в ее безжалостном реве.

Вдруг проводник исчез за водяной завесой, и я двинулся за ним, оглушенный грохотом, гонимый ветром и весь исколотый вихрем колючих брызг. Меня обступила тьма. Никогда в жизни не слышал я такого завывания и рева разбушевавшихся стихий, такой яростной схватки ветра с водой. Я наклонил голову, и мне показалось, что сверху на меня обрушился целый Атлантический океан. Казалось, настал конец света. Я не видел ничего вокруг себя за яростными потоками воды. Задохнувшись, я поднял голову, и добрая половина американской части водопада влилась мне в глотку. Если бы в эту минуту во мне открылась течь, я бы погиб. И тут я обнаружил, что мост кончился и теперь нам предстоит карабкаться по обрывистым скользким скалам. В жизни своей я так не трусил, но все обошлось. В конце концов мы все же выбрались на свет божий, на открытое место, где можно было остановиться: и смотреть на пенную громаду бурлящих, низвергающихся вод. Когда я увидел, как много тут воды и как мало она склонна к шуткам, я от души пожалел, что отважился пройти между потоком и скалой.

Благородный краснокожий всегда был моим нежно-любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни в горах и лесах, благородстве его души и величественной манере выражать свои мысли главным образом метафорами, и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей деве, и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Особенно о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Когда я увидел, что в лавчонках у водопада полным-полно индейских вышивок бисером, ошеломляющих мокасинов и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки — как бы они могли иначе удерживать лук и стрелы? — я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец воочию увижу благородного краснокожего.

И в самом деле, девушка-продавщица в одной из лавчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев и что индейцев здесь очень много, настроены они дружелюбно и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на Остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов. Он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние

нашей изнеженной цивилизации на живописное великолепие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью:

— Счастлив ли ты, о Ух-Бум-Бум из племени Хлоп-Хлоп? Вздыхает ли Великий Пятнистый Гром по тропе войны, или душа его полна мечтами о смуглолицей деве — Гордости Лесов? Жаждет ли могучий Сахем напиться крови врагов, или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? Говори же, гордая реликвия давно минувшего величия, достопочтенная развалина, говори!

И развалина сказала:

— Как, это меня, Дениса Хулигена, ты принимаешь за грязного индейца? Ты гнусавый, зубастый, тонконогий дьявол! Клянусь лысиной пророка Моисея, я тебя сейчас съем.

И я ушел.

Немного погодя где-то возле Черепаховой Башни я увидел нежную туземную деву в мокасилах из оленьей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Она сидела на скамье среди всяких занятных безделушек. Дева только что кончила вырезать из дерева вождя племени, больше напоминавшего прищепку для белья, и теперь буравила в его животе дырку, чтобы вставить туда лук со стрелами. Помявшись минуту, я спросил:

— Не тяжело ли на душе у Лесной Девы? Не одинока ли Смеющаяся Ящерица? Оплакивает ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту Индюк, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что-либо против бледнолицего незнакомца?

И дева сказала:

— Ах, чтоб тебя! Это меня, Бидди Мейлоун, ты обзываешь всякими словами? Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый! Я удалился и от нее.

«Пропади они пропадом, эти индейцы, — сказал я себе. — Говорят, они совсем ручные, но, если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны».

Все же я сделал еще одну попытку побрататься с ними, одну-единственную. Я набрел на целый лагерь индейцев; под сенью огромного дерева они шили мокасины и нанизывали ожерелья из раковин. И я обратился к ним на языке дружбы:

— Благородные краснокожие! Храбрецы! Великие Сахемы, воины! Жены и высокие Безумцы из племени одержимых! Бледнолицый из страны заходящего солнца приветствует вас. Ты, благородный Хорек, ты, Пожиратель Гор, ты, Грохочущий Гром, ты, Дерзкий Стекланный Глаз! Бледнолицый, пришедший из-за Большой воды, приветствует всех вас. Ваши ряды поредели, болезни и войны сгубили ваш некогда гордый народ. Покер и «семерка» и пустая трата денег на мыло — роскошь, неведомая вашим славным предкам, — истощили ваши кошельки. Присваивая чужую собственность — только по простоте душевной! — вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевирая — и все по чистейшей наивности! — вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Ради того чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томагавком всю семью, вы приносите в жертву живописное великолепие своей одежды. И вот вы стоите передо мною в ярком свете девятнадцатого века, точно жалкое отребье, подонки нью-йоркских трущоб. Стыдитесь! Вспомните своих предков! Вы забыли их славные дела? Вспомните Ункаса, и Красную Куртку, и Пещеру Дня, и Тилибум-бум! Ужели вы хуже их? Станьте под мои знамена, благородные дикари, прославленные бродяги!

— Долой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!

Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером, мокасины. Миг — и все это обрушилось на меня со всех сторон. В следующую минуту все племя кинулось на меня. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду, переломали мне руки и ноги, так стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся и в

ямку можно было налить кофе, как в блюде. Но одних побоев им показалось мало, им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ниагару, и я промок.

Пролетел я вниз футов девяносто, а то и все сто, и тут остатки моего жилета зацепились за выступ скалы, и, пытаясь освободиться, я чуть не захлебнулся. Наконец я вырвался, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилась и кипела, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. Сорок четыре круга сделал я, гоняясь за какой-то щепкой, которую в конце концов обогнал, — причем за один круг проделывал полмили; сорок четыре раза меня пронесло мимо одного и того же куста на берегу, снова и снова я тянулся к нему и каждый раз не мог дотянуться всего лишь на волосок.

Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонила огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим — на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее. Когда я в следующий раз пронесся мимо, он спросил:

— Спички есть?

— Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбраться.

— Черта с два!

Снова поравнявшись с ним, я сказал:

— Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?

— С удовольствием. Я следователь, мое дело — мертвые тела. Можете не торопиться ради меня. Я вас подожду. Но вот спичку бы мне!

— Давайте поменяемся местами, — предложил я. — Тогда я принесу вам спичку.

Он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следователь по мертвым телам на противоположном, американском берегу.

В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко взывал о помощи. Судья оштрафовал меня. Но тут я выгадал: все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев.

Таким образом я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Я весь избит и изранен, но пока не могу сказать точно, где и как, потому что доктор еще не закончил опись остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Впрочем, пока он считает смертельными только шестнадцать из моих ран. Ну а остальные меня мало занимают.

Очнувшись, я опросил:

— Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокасины и всякую всячину из бисера, это ужасное, дикое племя — откуда оно взялось, доктор?

— Из Ирландии, дорогой мой.

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПИТКЕРНЕ

Разрешите, читатель, освежить события в вашей памяти. Почти сто лет тому назад экипаж британского корабля «Баунти» взбунтовался, спустил капитана и офицеров в открытое море, захватил корабль и взял курс на юг. Мятежники добыли себе жен среди туземцев Таити, потом направились к уединенной скале посреди Тихого океана, называемой островом Питкерн,

посадили корабль на мель, сняли с него все, что могло быть полезным новой колонии, и устроились на берегу.

Питкертон настолько удален от торговых путей, что прошло много лет, прежде чем у его берегов появился другой корабль. Этот остров всегда считался необитаемым, и поэтому, когда корабль в 1808 году бросил здесь наконец якорь, капитан его был немало удивлен, увидев, что остров населен. Хотя мятежники дрались между собою и мало-помалу перебили друг друга, так что от первоначальной команды осталось всего два или три человека, эти бои разыгрались уже после того, как родилось немало детей; и в 1808 году население острова составляли двадцать семь душ. Главный мятежник, Джон Адамс, был еще жив, и ему суждено было прожить еще много лет в качестве правителя и патриарха своей паствы. Из мятежника и убийцы он превратился в христианина и учителя, и теперь его народ из двадцати семи душ был самой набожной и непорочной паствой во всем христианском мире. Адамс давно поднял британский флаг и объявил свой остров владением британской короны.

В настоящее время население насчитывает девяносто человек: шестнадцать мужчин, девятнадцать женщин, двадцать пять мальчиков и тридцать девочек — все потомки мятежников, все носят фамилии этих мятежников, и все говорят по-английски, и только по-английски. Обрывистые берега острова высоко поднимаются над морем. Длина острова около трех четвертей мили, ширина местами достигает полумили. Пахотной землей на острове владеют несколько семейств — по разделу, учиненному много лет назад. На острове есть кой-какая живность — козы, свиньи, куры и кошки; но нет ни собак, ни каких бы то ни было крупных животных. Имеется церковь, которую используют также в качестве здания правительственных учреждений, школы и публичной библиотеки. В двух первых поколениях у правителя был такой титул: «Главный судья и губернатор, подчиненный ее величеству королеве Великобритании». На его обязанности лежало издавать законы, равно как и приводить их в исполнение. Должность его была выборной; правом голоса пользовался каждый достигший семнадцати лет, без различия пола.

Единственным занятием жителей было сельское хозяйство и рыболовство; единственным развлечением — богослужения. На острове никогда не было ни лавки, ни денег. Одежда и обычаи населения были примитивны, а законы по-детски просты. Они жили в глубоком покое, вдали от мира с его притязаниями и волнениями, не зная, да и не желая знать, что происходит в могущественных империях, лежащих за беспредельной ширью океана. Раз в три-четыре года появлялся какой-нибудь корабль, сообщал им устарелые сведения о кровавых сражениях, опустошительных эпидемиях, о низвергнутых тронах и погибших династиях, потом давал им мыло и фланель в обмен на бататы и плоды хлебного дерева и уходил прочь, оставляя их предаваться мирным грезам и благочестивому беспутству.

В прошлом году, 8 сентября, адмирал де Горси, командующий британским флотом в Тихом океане, посетил остров Питкертон, о чем в своем официальном докладе адмиралтейству сообщил следующее:

«У них имеются бобы, морковь, репа, капуста и немного кукурузы; ананасы, фиговые пальмы; апельсины, лимоны и кокосовые орехи. Одежду они получают с проходящих мимо кораблей, выменивая ее на съестные припасы. На острове нет родников, но так как обычно раз в месяц бывает дождь, воды у них достаточно, хотя в прежние годы они порою страдали от засухи. Спиртных напитков они не потребляют, разве что для медицинских целей, и пьяниц среди них нет...

В чем нуждаются островитяне, лучше всего видно из списка предметов, которые мы дали им в обмен на съестные припасы, а именно: фланель, саржа, ситец, башмаки, гребни, табак и мыло. Они испытывают большую нужду в учебных картах и грифельных досках и с удовольствием берут всякого рода инструменты. Я приказал выдать им из государственных запасов британский флаг для поднятия при проходе судов и пилу, в чем они очень нуждались. Это, я думаю, встретит одобрение ваших светлостей. Если бы щедрый народ Англии знал о

нуждах этой в высшей степени достойной маленькой колонии, она бы недолго оставалась без припасов...

Богослужение начинается каждое воскресенье в десять тридцать утра и в три часа пополудни, в доме, который построил Джон Адамс и который служил для этой цели до самой его смерти, в 1829 году. Оно ведется в строгом согласии с литургией англиканской церкви м-ром Саймоном Янгом — их выборным пастором, который пользуется большим уважением. Каждую среду происходит чтение библии, на котором присутствуют все, кто может. В первую пятницу каждого месяца устраивается общий молебен. Каждое утро и каждый вечер во всех домах читают молитвы, и никто не принимается за еду и не выходит из-за стола, не испросив благословения божия. Эта их приверженность религии вызывает глубокое уважение. Народ, величайшее удовольствие и преимущество которого заключаются в общении с богом, в пении хвалебных гимнов и который, кроме того, весел, прилежен и, вероятно, более свободен от пороков, нежели любая другая община, — не нуждается в священниках».

А теперь я приведу одну фразу из адмиральского доклада, которая, без сомнения, случайно сорвалась с его пера и о которой он тут же позабыл. Он и не подозревал, насколько она была трагически прозорлива. Вот эта фраза:

«На острове поселился чужеземец, американец, — сомнительное приобретение».

Это и в самом деле было сомнительное приобретение. Капитан Ормсби с американского корабля «Хорнет» высадился на острове Питкерн приблизительно через четыре месяца после визита адмирала, и из фактов, которые он там собрал, мы теперь все знаем об этом американце. Приведем же эти факты в их исторической последовательности. Американца звали Батеруорт Стейвли. Как только он перезнакомился со всем населением, -- а это, разумеется, заняло всего лишь несколько дней, — он стал втираться к ним в доверие всеми способами, какие только знал. Он стал необычайно популярен, и на него взирали с почтением, ибо он начал с того, что забросил мирские дела и все свои силы посвятил религии. С утра до ночи он читал библию, молился и распевал псалмы либо просил благословения. Никто не мог так умело, так долго и хорошо молиться, как он.

Решив наконец, что время пришло, он начал исподтишка сеять семена недовольства среди населения. Он с самого начала замыслил свергнуть правительство, но, разумеется, до поры до времени скрывал это. К разным людям он подходил по-разному. В одних он возбуждал недовольство, обращая внимание на краткость воскресных богослужений: он доказывал, что в воскресенье должно быть три трехчасовых богослужения вместо двух. Многие в душе разделяли это мнение и раньше. Теперь они тайно объединились в партию для борьбы за это. Некоторых женщин он натолкнул на мысль, что им не дают вволю выступать на молитвенных собраниях, — так образовалась другая партия. Ни одного средства он не оставлял без внимания; он снизошел даже до детей и сеял среди них недовольство, ибо, — как он за них решил, — в воскресной школе им не уделяли достаточного внимания. Так родилась третья партия.

И вот, как глава этих партий, он оказался самым могущественным человеком общины. Тогда он сделал следующий шаг — ни более, ни менее, как предъявил обвинение главному судье Джемсу Расселу Никою. Человек с характером, даровитый и очень богатый, он был владельцем дома с гостиною, трех с половиной акров земли, засеянной бататами, и вельбота — единственного судна на Питкерне. К великому несчастью, предлог для обвинения подоспел вовремя. Одним из самых древних и заветных законов острова был закон против нарушения границ частных владений. Закон этот очень уважали, он считался оплотом народных вольностей. Лет за тридцать до того судьи рассматривали серьезное дело по этому закону, а именно: курица, принадлежащая Елизавете Янг (ей в ту пору было пятьдесят восемь лет, и она была дочерью Джона Милза, одного из мятежников с «Баунти»), зашла на землю Четверга-Октября Кристиэна (двадцати девяти лет от роду, внука Флетчера Кристиэна, одного из мятежников). Кристиэн убил курицу. По закону, Кристиэн мог оставить курицу себе или вернуть ее останки владелице и получить «протори и убытки» продуктами, в размерах, соответствующих

опустошению и ущербу, причиненным браконьером. Протоколы суда указывают, что «означенный Кристиэн выдал вышеуказанные останки означенной Елизавете Янг и в возмещение понесенного ущерба потребовал один бушель бататов». Но Елизавета Янг сочла это требование непомерным; стороны не могли прийти к соглашению, и Кристиэн подал в суд. В первой инстанции он проиграл дело. По крайней мере ему присудили только восьмую часть бушеля, что он счел недостаточным и оскорбительным для себя. Он подал апелляцию. Дело тянулось несколько лет, переходя из инстанции в инстанцию, и всякий раз кончалось утверждением первоначального решения; наконец дело поступило в Верховный суд и там застряло на двадцать лет.

Но минувшим летом даже Верховный суд принял наконец решение. Первоначальный вердикт был еще раз утвержден. Тогда Кристиэн объявил, что он удовлетворен; но тут подвернулся Стейвли, который шепнул ему и его адвокату, чтобы он потребовал, «просто для проформы», предъявить ему подлинный акт закона, дабы убедиться, что закон еще существует. Мысль показалась странной, но остроумной. Требование было предъявлено. В дом судьи отправили гонца, но он вернулся с сообщением, что акт исчез из государственных архивов.

Тогда суд признал свое последнее решение утратившим силу, так как оно было вынесено по закону, которого на самом деле не существует.

Народ заволновался. По всему острову разнесся слух, что оплот общественных вольностей исчез, может быть его даже предательски уничтожили. Через полчаса почти все жители собрались в помещении суда, то есть в церкви. По предложению Стейвли, главному судье было предъявлено обвинение. Обвиняемый встретил свое несчастье с достоинством, подобающим его высокому сану. Он не защищался и даже не спорил; он просто сказал, что не трогал злополучного акта, что хранил государственный архив в том самом свечном ящике, в котором тот хранился с самого начала, и что он неповинен в исчезновении или уничтожении пропавшего документа.

Но ничто не могло спасти его; его признали виновным в небрежном отношении к своим обязанностям, отрешили от должности и все его имущество конфисковали.

Самой нелепой частью этого позорного дела было следующее: враги судьи заявили, будто он уничтожил закон потому, что Кристиэн приходился ему родственником. Между тем Стейвли был единственный человек на всем острове, который не был его родственником. Пусть читатель припомнит, что жители острова — потомки всего десятка людей; что первые дети соединились браками между собою; после них в брак вступали их внуки, правнуки и праправнуки; так что к тому времени, о котором идет речь, все они состояли в кровном родстве между собою. Более того, эти родственные отношения самым поразительным образом усложнились и перепутались. Какой-нибудь посторонний говорит, например, островитянину:

— Вы называете эту молодую женщину своей кузиной, а недавно вы называли ее своей теткой.

— Ну да, она моя тетка и в то же время моя кузина. А также моя сводная сестра, моя племянница, моя троюродная сестра, моя тридцатитрехьюродная сестра, моя сестра сорок второй степени, моя бабушка, моя внучатная тетка, моя вдовья свояченица, а на будущей неделе она станет моей женой.

Таким образом, обвинение — главного судьи в кумовстве было слабо обосновано. Но, слабо обосновано или сильно, оно все равно пригодились Стейвли. Стейвли немедленно был избран на освободившийся пост и деятельно принялся за работу, выжимая реформы из каждой своей поры. В очень короткое время богослужения начали свирепствовать повсеместно и непрестанно. По приказу, вторая молитва утренней воскресной службы, обычно длившаяся от тридцати пяти до сорока минут, растянулась до полутора часов, и в нее включены были моления о благополучии не только всего рода человеческого, но и возможного населения различных планет. Это понравилось всем, каждый говорил: «Да, это уже на что-то похоже!» По приказу же, обычные трехчасовые проповеди были увеличены вдвое. Весь народ скопом явился

свидетельствовать свою признательность новому судье. Старый закон, запрещавший варить пищу по воскресеньям, был дополнен запрещением есть. По приказу, воскресная школа начала действовать и в будни. Радости жителей не было конца. В какой-нибудь месяц новый судья сделался народным кумиром!

Приспело время сделать следующий шаг. Стейвли начал, сперва потихоньку, настраивать народ против Англии. Он поодиночке отводил в сторону именитых граждан и беседовал с ними. Мало-помалу он осмелел и заговорил открыто. Он говорил, что народ обязан — перед самим собой, перед своей честью, перед своими великими традициями — восстать как один человек и сбросить «это досадное английское иго».

Но простодушные островитяне отвечали:

— Мы не замечаем, чтобы оно досаждало. Как можно досаждать? Англия раз в три-четыре года присылает корабль с мылом, одеждой и вещами, в которых мы сильно нуждаемся и которые принимаем с благодарностью; но она нас не беспокоит. Она предоставляет им идти своим путем.

— Она предоставляет вам идти своим путем! Так чувствовали и говорили рабы во все века. Эти речи показывают, как низко вы пали, до какого скотского состояния вы дошли под этой тяжкой тиранией! Как?! Неужели мужество и гордость вас покинули? Разве свобода — ничто? Неужели вы хотите удовольствоваться тем, что составляете придаток к чужой и ненавистой власти, в то время как вы можете восстать и занять свое место в благородной семье народов как великий, свободный, просвещенный, независимый, не подчиненный ничьему скипетру народ, сам располагающий своими судьбами и имеющий голос и власть в определении судеб других наций мира?

Такого рода речи мало-помалу стали оказывать свое действие. Граждане начали ощущать на себе английское иго; они не могли бы сказать, как или где оно им мешает, но были твердо уверены, что чувствуют его. Они принялись ворчать, сгибаясь под тяжестью цепей, и требовать освобождения. Вскоре они возненавидели британский флаг — этот знак и символ упадка их нации; они уже не глядели на него, проходя мимо церкви, но отводили глаза в сторону и скрежетали зубами; и в одно прекрасное утро он оказался втоптаным в грязь у подножия древка. Они так и оставили его валяться там, и никто не протянул руки, чтобы его поднять. То, что должно было случиться рано или поздно, наконец случилось. Несколько именитых граждан отправились ночью к судье и сказали:

— Мы больше не можем мириться с ненавистой тиранией! Как нам ее сбросить?

— Совершить государственный переворот.

— Что?

— Государственный переворот. Это делается так: все будет подготовлено, и в назначенный час я, как официальный глава государства, публично и торжественно провозглашу его независимым и освобожу от обязательств перед всеми и всяческими державами.

— Похоже, что это легко и просто. Можно это сделать сию же минуту. А что потом?

— Надо захватить все укрепления и все общественное имущество всякого рода, объявить военное положение, привести армию и флот в боевую готовность и провозгласить империю!

Эта блестящая программа ослепила простаков. Они сказали:

— Это великолепно, это замечательно, но не воспротивится ли Англия?

— Пусть ее! Эта скала — наш Гибралтар!

— Верно. Но как быть с империей? Нужна ли нам империя и император?

— Необходимо, друзья мои, объединиться. Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию. Они объединились! Объединение — в этом вся штука! Оно красит жизнь! Оно способствует прогрессу! У нас должна быть постоянная армия и флот. Затем, само собой, придется ввести налоги. Все это вместе взятое и есть величие. Величие, объединение — что еще вам нужно! Только империя может дать все эти блага!

Итак, 8 декабря остров Питкерн был провозглашен свободным и независимым государством, и в тот же день среди великого ликования состоялось торжественное коронавание

Батеруорта I, императора острова Питкерн. Все население за исключением четырнадцати человек, главным образом маленьких детей, прошло церемониальным маршем мимо трона гуськом, со знаменем и музыкой, причем процессия растянулась на девяносто футов. Некоторые утверждают, что мимо любой данной точки она проходила почти три четверти минуты. Ничего подобного в истории острова еще не было! Народный энтузиазм не знал границ.

И вот сразу начались имперские реформы. Были учреждены дворянские титулы. Назначен морской министр, и вельбот вступил в строй. Назначен военный министр, тотчас же получивший приказ сформировать постоянную армию. Назначили первого лорда-казначея, приказав ему выработать основы налогообложения, а также начать переговоры с иностранными державами о наступательных, оборонительных и торговых договорах. Назначено было несколько генералов и адмиралов, а также несколько камергеров, шталмейстеров и лордов-спальников.

На этом все людские резервы были исчерпаны. Великий герцог Галилейский, военный министр, жаловался, что всем шестнадцати взрослым мужчинам империи даны крупные посты и поэтому они не соглашаются служить рядовыми, в силу чего организация постоянной армии стоит на мертвой точке. Маркиз Араратский, морской министр, также принес жалобу, Он сказал, что сам готов править вельботом, — но должна же на нем быть хоть какая-нибудь команда.

Император сделал все, что только было возможно в подобных обстоятельствах: он отобрал у матерей всех мальчиков старше десяти лет и заставил их вступить в армию рядовыми. Так образовался корпус из семнадцати рядовых под командованием одного генерал-лейтенанта и двух генерал-майоров. Это понравилось военному министру, но вызвало озлобление всех матерей в стране. Они заявили, что их сокровищам теперь суждена смерть на полях сражений и император за это ответит. Самые безутешные и непримиримые женщины постоянно подстерегали его и швыряли в него из засады бататами, не обращая внимания на телохранителей.

«По причине крайнего недостатка людских резервов оказалось необходимым посадить герцога Вифанийского, генерал-почтмейстера, на весла во флоте, и, таким образом, ему пришлось сидеть позади дворянина, низшего по титулу, а именно — виконта Ханаанского, лорда-главного судьи. Это превратило герцога Вифанийского в открытого недоброжелателя и в тайного заговорщика, что император предвидел, но предотвратить не мог.

Дальше дела пошли все хуже и хуже. В один прекрасный день император сделал Нэнси Питере пэрессой, а на следующий день женился на ней, несмотря на то, что, заботясь о благе государства, кабинет настойчиво рекомендовал ему жениться на Эммелине, старшей дочери архиепископа Вифлеемского. Это вызвало недовольство в очень могущественных сферах — в церкви. Новая императрица обеспечила себе поддержку и дружбу двадцати четырех из тридцати шести взрослых женщин, включив их в свой двор в качестве фрейлин, но это превратило остальную дюжину в ее злейших врагов. Семейства фрейлин вскоре начали бунтовать, потому что некому было заниматься домашним хозяйством. Двенадцать обиженных отказались пойти в императорский дворец служанками, поэтому императрице пришлось потребовать от графини Иерихонской и других придворных дам, чтобы они носили воду, подметали и выполняли другие столь же унижительные и неприятные обязанности, что вызвало у них озлобление.

Все начали жаловаться, что налоги, взимаемые на содержание армии, флота и прочих имперских учреждений, легли невыносимым бременем на народ и ввергли его в нищету. Ответ императора: «Взгляните на Германию, взгляните на Италию! Разве вы лучше их и разве вы не объединились?» — не удовлетворил их. Они говорили:

— Люди не могут питаться объединением, а мы умираем с голоду. Земледелием никто не занимается. Все в армии, все во флоте, все на государственной службе, все в мундирах, все бездельничают, все голодают, в некому обрабатывать поля...

— Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию: там то же самое! Таково объединение, и другого способа добиться его нет, и нет другого способа сохранить его, после того как вы его получили, — неизменно отвечал на это бедняга император.

Но ворчуны знай твердили свое:

— Нам не под силу налоги, не под силу!.. И в довершение всего кабинет объявил о национальном долге, доходящем до сорока пяти с лишним долларов, — полдоллара на каждую душу. Кабинет предложил консолидировать долг. Он слышал, что так всегда делается в подобных случаях. Кроме того, кабинет предложил ввести пошлины на ввоз и вывоз, а также выпустить облигации и бумажные деньги, подлежащие обмену на бататы и капусту через пятьдесят лет. Кабинет заявил, что жалование армии, флоту и всему государственному аппарату сильно задерживалось, и если не предпринять чего-нибудь, и притом немедленно, то может последовать национальное банкротство, а возможно — восстание и революция. Император тут же решился на самочинную меру, притом такую, о каких и не слыхивали на острове Питкерн. В одно воскресное утро он явился в церковь в полном параде, имея за собой армию, и потребовал от министра финансов устроить сбор.

Это была капля, переполнившая чашу. Сперва один гражданин, а за ним и другой, и третий возмутились и отказались подчиниться неслыханному насилию; и за каждым отказом следовала немедленная конфискация имущества недовольного. Эти суровые меры вскоре остановили сопротивление, и сбор продолжался среди угрюмого и зловещего молчания. Удаляясь со своими войсками, император сказал:

— Я покажу вам, кто тут хозяин! Несколько человек крикнули:

— Долой объединение!

Они немедленно были арестованы, и солдаты вырвали их из рук рыдающих друзей.

Тем временем, как всякий пророк мог предвидеть, народился социал-демократ. Когда император ступил на золоченую императорскую тачку у дверей церкви, социал-демократ пырнул его пятнадцать или шестнадцать раз гарпуном, но, к счастью, с таким типично социал-демократическим умением бить мимо цели, что не причинил ему никакого вреда.

В эту самую ночь последовал взрыв. Весь народ восстал как один человек, хотя сорок девять революционеров принадлежали к слабому полу. Пехота побросала свои вилы, артиллерия — свои кокосовые орехи; флот взбунтовался; императора схватили во дворце и связали по рукам и ногам. Он был очень подавлен. Он сказал:

— Я освободил вас от ненавистной тирании; я поднял вас из бездны унижения и сделал вас нацией среди наций; я дал вам сильное централизованное правительство; мало того, я дал вам величайшее из всех благ — объединение. Все это я сделал — и в награду мне достались лишь оскорбления, ненависть и эти окопы. Берите меня, делайте со мною, что хотите. Я отрекаюсь от короны и всех регалий и с радостью сброшу с себя это слишком тяжелое бремя! Ради вас я возложил его на себя; ради вас я слагаю его. Имперской жемчужины не существует более; бейте же и оскверняйте бесполезную оправу сколько хотите!

Единодушным решением народ присудил императора и социал-демократа к пожизненному отлучению от церкви или к пожизненным каторжным работам на галерах — то бишь, на вельботе, — предоставив им право выбора. На следующий день весь народ собрался снова, опять поднял британский флаг, восстановил британскую тиранию, разжаловал дворян в простолюдины и немедленно занялся самым серьезнейшим образом прополкой разоренных и запущенных грядок бататов и восстановлением старых полезных промыслов и старого целебного и утешительного благочестия. Экс-император вернул пропавший закон о нарушении владения, объяснив, что украл его не для того, чтобы повредить кому-нибудь, а лишь для того, чтобы осуществить свои политические планы. Посему народ возвратил на прежний пост бывшего главного судью и вернул ему его отчужденное имущество.

Хорошенько подумав, экс-император и социал-демократ избрали пожизненное отлучение от церкви, предпочтя его пожизненной каторге на галерах «с пожизненными богослужениями», как они выразились.

Народ решил, что злоключения этих несчастных помutilи их разум, и постановил пока заточить их в тюрьму, что и было сделано.

Такова история питкернского «сомнительного приобретения».

МИССИС МАК-ВИЛЬЯМС И МОЛНИЯ

— ...Так вот, сэр, — продолжал мистер Мак-Вильямс поскольку разговор начался не с этого, — боязнь молнии — одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощ потому, что она лишает человека мужества, как никакая другая болезнь, — ее не выбьешь уговорами, а стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретиться лицом к лицу самого черта или мыш, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии. На нее бывает просто жалко смотреть.

Ну-с, как я уже говорил вам, я проснулся оттого, что до моих ушей донесся сдавленный и неизвестно откуда идущий вопль:

— Мортимер, Мортимер!

Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал:

— Эванджелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты?

— Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза!

— Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Это ни с чем не сообразно. Человек не может стыдиться, когда спит, Эванджелина.

— Ты хоть бы постарался, Мортимер; сам отлично знаешь, что даже не пробовал!..

Я уловил звук заглушенных рыданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, и я изменил его на:

— Прости, дорогая, мне очень жаль! Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и...

— Мортимер!

— Ах ты господи! Что такое, душенька?

— Ты все еще лежишь в кровати?

— Ну да, конечно!

— Встань сию минуту! Я все-таки думала, что ты сколько-нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко.

— Но, душенька...

— Не возражай, Мортимер! Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — лежать в кровати... Во всех книгах так сказано, а ты все-таки лежишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спорить и спорить!

— Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я... (Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом миссис Мак-Вильямс и страшнейшим раскатом грома.)

— Ну вот! Видишь, какие последствия? Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время!

— Я не ругался. И во всяком случае — это не последствия. Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Эванджелина, что когда атмосфера заряжена электричеством...

— Да-да, тебе бы только спорить, и спорить, и спорить! Прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного громоотвода и твоей несчастной жене и детям остается только надеяться на милость божию!.. Что ты делаешь? Зажигаете спичку... в такое время? Ты совсем с ума сошел?

— Ей-богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычника в желудке, вот я и...

— Погаси спичку, сию минуту погаси! Тебе, я вижу, никого не жалко, ты всеми нами готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет... (Фсст! Трах! Бум! Бур-ум-бум-бум!) Вот... послушай! Видишь теперь, что ты наделал!

— Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спички, ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку, так плохая же это стрельба, — я бы сказал, что-то вроде нуля из миллиона возможных. Да в Доллимаунте за такую стрельбу...

— Как тебе не стыдно, Мортимер! Нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выражаешься. Если ты не желаешь... Мортимер!

— Ну?

— Ты молился сегодня на ночь?

— Я... я хотел помолиться, а потом стал считать, сколько будет двенадцать раз тринадцать, и... (Фсст! Бум-бурум-бум! Бум-бах-бах-трах!)

— Ах, теперь мы пропали, нас ничто не спасет! Как ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время?

— Да ведь не было никакого «такого времени». На небе не было ни одной тучки. Почему же я знал, что из-за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком случае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны придирается: ведь это со мной бывает редко. После того как из-за меня случилось землетрясение четыре года назад, я ни разу не забывал молиться.

— Мортимер! Что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл?

— Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку, и, по-моему, совершенно зря. Если даже телеграмму в Мемфис нельзя послать прямо, а только через передаточные станции, то как же мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Я еще согласен отвечать за землетрясение, оно все-таки было по-соседству, но лучше уж пускай меня повесят, чем отвечать черт знает за что...

(Фсст! Бум-бурум-бум! Бум! Бах!)

— О боже мой, боже мой! Молния во что-нибудь ударила! Я уже чувствую, Мортимер! Нам не дожидаться до утра... и если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимер, что твой ужасный язык... Мортимер!

— Ну! Что еще?

— Твой голос звучит так, будто ты... Мортимер, неужели ты сейчас стоишь перед камином?

— Да, вот именно, совершаю это преступление.

— Отойди от него подальше, сию минуту отойди! Ты, кажется, решил нас всех погубить! Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А теперь куда ты пошел?

— Я здесь, перед окном.

— Бога ради, в своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно! Даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу — просто гибель! Боже мой, боже мой, я знаю, что не доживу до утра!» Мортимер!

— Да?

— Что это шуршит?

— Это я.

— Что ты там делаешь?

— Ищу, где верх у моих штанов.

— Скорее брось их куда-нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время! Ведь ты же отлично знаешь, все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию. О боже, боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще непременно нужно самому лезть на рожон... Нет, пожалуйста, не пой! О чем ты только думаешь?

— Ну, а что тут такого?

— Мортимер, я тебе не один раз, а сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывают электрический ток... Для чего ты открываешь дверь, скажи, пожалуйста!

— Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред?

— Какой вред? Смертельная опасность! Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк — значит, привлекать молнию. Ты все-таки не закрыл дверь! Закрой ее как следует, и поскорей, не то мы все пропали! Какой ужас — быть в такое время в одной комнате с сумасшедшим... Мортимер, что ты делаешь?

— Ничего. Просто открыл кран. В комнате задохнуться можно — такая духота. Хочу умыться.

— Ты, я вижу, совсем потерял рассудок! Если во что-нибудь другое молния ударит один раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран! О боже, я знаю, нас уже ничто на свете не может спасти! Мне кажется... Мортимер, что это такое?

— Это чер... это картина. Я ее сшиб.

— Так, значит, ты подошел к стене! Просто неслыханная неосторожность! Разве ты не знаешь, что самый лучший проводник молнии — это стена? Отойди подальше! А ты еще хотел выругаться! Ну как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности?! Мортимер, ты велел положить себе перину, как я тебя просила?

— Нет. Забыл.

— Забыл! Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перина, ты бы разостлал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди скорее, пока еще не наделал бог знает чего.

Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать было нечем. Я чуть не задохся и наконец вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня:

— Мортимер, надо что-то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу, только не зажигай. Дай спички, я сама зажгу свечку здесь. В книге сказано, что делать.

Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затворилась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое, потом она спросила:

— Мортимер, что это?

— Ничего особенного, кошка.

— Кошка? Да ведь это погибель! Поймай ее и запри в комод. И как можно скорее, милый! Кошки полны электричества. Нет, я знаю одно — за эту ужасную ночь я вся поседею!..

Я опять услышал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевелил в темноте ради такой дикой затеи.

Однако я принялся ловить кошку; натываясь на стулья и другие препятствия, все очень жесткие и почти все с острыми краями, я наконец поймал ее и запер в комод, поломав долларов на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шкафа приглушенные слова:

— Тут говорится, что самое безопасное — стоять на стуле посреди комнаты, Мортимер, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы... (Фет! Бум-бах! Трах!) Ох, ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило.

Я кое-как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций.

— Мортимер, тут говорится: «*Während eines Gewitters entferne man Metalle, wie z. B., Ringe, Uhren, Schlüssel, etc. von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle bei einander liegen, oder mit andern Körpern verbunden sind, wie an Herden, Öfen, Eisengittern und dgl...*»*. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе или что их нужно держать подальше от себя?

* Во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например часы, кольца, ключи и т. д.; но оставайтесь в таких местах, где они нагромождены или находятся в соединении с другими телами, — например, около плиты, печи, железной решетки и т. п. (нем.).

— Я, право, не знаю. Что-то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают более или менее запутаны. По-моему, все-таки это предложение почти все в дательном падеже, ну и подмешано чуть-чуть родительного и винительного на всякий случай, — так что, я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе.

— Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громоотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся металлическая.

Я достал и надел каску — вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в душной комнате. Даже ночная рубашка и та казалась мне лишней.

— Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю. Я повиновался.

— Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры? Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение.

— Мортимер, тут говорится: «Das Gewitterlauten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst, sowie der durch das Lauten veranlasste Luftzug und die Höhe des Thurmes den Blitz anziehen konnten»*. Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы?

— Да, кажется так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа, — а по-моему, оно так и есть. Да, я думаю, это значит, что при большой высоте церковной колокольни и отсутствии «Luftzug»** очень опасно (sehr gefährlich) не звонить в колокола во время грозы; тем более, видишь ли, что самая расстановка слов...

— Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры! Возьми большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти в безопасности. О господи! Кажется, мы все-таки останемся живы!

Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов, над спуском в долину. По соседству находится несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трехстах-четырестах от нас.

Взобравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или восемь, как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, в окно кто-то просунул ярко горящий фонарь и хриплым голосом спросил:

— Что тут за дьявольщина такая творится? В окно просунулись чьи-то головы, чьи-то глаза ошалело уставились на мою ночную сорочку и боевые доспехи.

Я выронил колокол и, в смущении соскочив со стула, сказал:

— Ничего особенного не творится — так только, немножко беспокоимся из-за грозы. Я тут пробовал отвести молнию.

— Гроза? Молния? Да что вы, Мак-Вильямс, рехнулись, что ли? Прекрасная звездная ночь, никакой грозы нет.

Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова. Потом сказал:

— Ничего не понимаю... Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и слышали гром.

Один за другим эти люди валились на землю, чтобы обхохотаться; двое умерли; один из оставшихся в живых заметил:

— Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы! То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, — вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение, как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем дело!

** Бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол, и тяга воздуха, возникающая при звоне, и колокольня, благодаря своей высоте, могут притягивать молнию (нем.).

*** Воздушной тяги (нем.).

— ...Да, мистер Твен, как я уже говорил вам, — сказал мистер Мак-Вильямс, — правила предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я просто понять не могу, как это все-таки люди ухитряются попасть под удар.

Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его станции.

ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ

«Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: «Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью».

«Биржа»

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехногом стуле и задрал ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навывпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннессийской печати», Вот что получилось у меня:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относительно Баллигакской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку.

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, что Ван-Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах.

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти

непроходимые улицы своего города никольсоновской мостовой. «Ежедневное Ура» очень энергично поддерживает это начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом».

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал:

— Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

— Ага, — сказал он, — это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба.

— А печка-то совсем развалилась, — сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.

— Ну, не важно. На что она в такую погоду? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и помарками, что родная мать ее не узнала бы.

Вот что получилось у него:

«ДУХ ТЕННЕССКОЙ ПЕЧАТИ

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения» опять, по-видимому, стараются втереть очки нашему рыцарски-благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия девятнадцатого века — Баллигэкской железной дороги. Мысль, будто бы Баззардвилл намереваются обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее — в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и подавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую они вполне заслужили.

Этот осел Блоссом из хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утреннего Воя», по своей неудержимой склонности к вранью, сбrehнул, будто бы Ван-Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее; а этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость.

Блэзерсвиллцам понадобилась вдруг никольсоновская мостовая — им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а вообразает, будто говорит дело».

— Вот как надо писать: с перцем и без лишних слов! А от таких слюнявых статей, как ваша, всякого тоска возьмет.

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядкомхватило по спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний.

Редактор сказал:

— Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится.

Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке.

Он сказал:

— Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку?

— Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножи. Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блэзерскайтом Текумсе?

— Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счет. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем.

— Мне еще нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте!

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клочок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось — пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное дело, и я считаю не деликатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю.

Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел.

Редактор обернулся ко мне и сказал.

— Я жду гостей к обеду, и мне нужно закончить приготовления. Сделайте одолжение, прочтите корректуру и примите посетителей.

Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить, — я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя.

Он продолжал:

— Джонс будет здесь в три — отстегайте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше — вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четверем — застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку позабористее — всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пуля и порох вон там в углу, бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами что-нибудь случится, зайдите к Ланцету — это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявления бесплатно.

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда.

Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бранились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца — и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками.

Он сказал:

— Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете.

Я сказал:

— Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку. Но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства — человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете. Энергичный стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно -- оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, согласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы уходите обедать, а Джонс является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с непринужденностью старого знакомого сдирает с меня скальп, и через какие-нибудь пять минут проходимцы со всей округи являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской журналистики, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда, — они явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело — оно не по мне.

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.

ДНЕВНИК ЕВЫ

Перевод с оригинала

Суббота. — Мне уже почти исполнился день. Я появилась вчера. Так, во всяком случае, мне кажется. И, вероятно, это именно так, потому что, если и было позавчера, меня тогда еще не существовало, иначе я бы это помнила. Возможно, впрочем, что я просто не заметила, когда было позавчера, хотя оно и было. Ну что ж. Теперь я буду наблюдательней, и если еще раз повторится позавчера, я непременно это запишу. Пожалуй, лучше начать сразу же, чтобы потом не напутать чего-нибудь в хронологии; какой-то внутренний голос подсказывает мне, что все эти подробности могут впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я — эксперимент; да, я положительно ощущаю себя экспериментом, просто невозможно сильнее ощущать себя экспериментом, чем это делаю я, поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что это именно так: я — эксперимент, просто эксперимент, и ничего больше.

Ну, а если я эксперимент, значит эксперимент — это я? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, все остальное — тоже часть этого эксперимента. Я — главная его часть, но и все остальное, по-моему, участвует в эксперименте тоже. Можно ли считать, что мое положение окончательно определилось, или я еще должна опасаться за себя и смотреть в оба? Вероятно, скорее последнее. Внутренний голос говорит мне, что превосходство покупается ценой неусыпной бдительности. (Мне кажется, это очень удачное изречение для такого юного существа, как я.)

Сегодня все выглядит значительно лучше, чем вчера. Вчера под конец пошла такая горячка, что горы были нагромождены как попало, а равнины так завалены всякими осколками и разным хламом, что это производило чрезвычайно удручающее впечатление. Прекрасные и благородные произведения искусства не должны создаваться в спешке, а этот величественный новый мир — воистину прекрасное и благородное творение и стоит на грани совершенства, хотя и создавался в столь краткий срок. Звезд кое-где, пожалуй, многовато, а в других местах не хватает, но это, без сомнения, нетрудно исправить. Луна прошлой ночью оборвалась, покатила вниз и выпала из мироздания. Это очень большая потеря, и у меня сердце разрывается, когда я об этом думаю. Среди всех орнаментов и украшений нет ничего, что могло бы сравниться с ней по красоте и законченности. Ее следовало прикрепить получше. Если б только можно было вернуть ее обратно...

Но никому, разумеется, неизвестно, куда она могла упасть. И уж конечно, тот, кто ее найдет, постарается спрятать ее подальше, — я знаю это, потому что и сама бы так поступила. Мне кажется, во всех других отношениях я могу быть честной, но уже сейчас я начинаю понимать, что основа основ моей натуры — это любовь к прекрасному, страстная тяга к прекрасному, и поэтому доверить мне чужую луну не безопасно, особенно если лицо, которому луна принадлежит, не знает о том, что она у меня. Я бы еще, пожалуй, вернула луну, если бы нашла ее среди бела дня, — побоялась бы, что кто-нибудь видел, как я ее взяла. Но найди я ее в темноте, тут уж, мне думается, я сумела бы под каким-нибудь предлогом утаить свою находку. Потому что я без ума от лун — они такие красивые и такие романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук пять или шесть. Я бы тогда совсем не стала спать, мне никогда не наскучило бы лежать на мягком мху, глядеть ввысь и любоваться ими.

Звезды мне тоже нравятся. Мне бы хотелось достать две-три и заткнуть себе в волосы. Но боюсь, что это невозможно. Просто трудно поверить, до чего они от нас далеко, потому что ведь с виду этого не скажешь. Когда они впервые появились — прошлой ночью, — я пробовала сбить несколько штук палкой, но не могла дотянуться ни до одной, и это меня очень удивило. Тогда я стала швырять в них комьями глины и швыряла до тех пор, пока совсем не обессилела, но так ничего и не сбила. Это потому, что я левша и у меня нет меткости. Даже когда я нарочно

бросала не в ту звезду, в которую целилась, мне не удавалось сбить ни той, ни другой, хотя я и попадала довольно точно и видела, как черный комок глины раз сорок, а то и пятьдесят летел прямо в золотую гроздь и только каким-то чудом ничего не сбил. Верно, если бы у меня хватило сил продержаться еще немного, я непременно сбила бы хотя бы одну звезду.

Признаться, я немножко всплакнула, что, мне кажется, вполне естественно в моем возрасте, а потом, отдохнув, взяла корзинку и направилась к краю нашей круглой площадки, где звезды висят совсем невысоко от земли и их можно просто сорвать рукой, — что, кстати сказать, гораздо лучше, потому что это можно сделать осторожно, так чтобы их не поломать. Но идти пришлось дальше, чем я думала, и в конце концов я была вынуждена отказаться от своего намерения: я так устала, что не могла сделать больше ни шагу, и к тому же натерла себе ноги, и они ужасно разболелись.

Я не могла вернуться домой, потому что зашла слишком далеко и стало очень холодно, но мне повстречалось несколько тигров, и я устроилась между ними так уютно, что почувствовала себя наверху блаженства: у тигров удивительно приятное, ароматное дыхание — это потому, что они питаются земляникой. Я еще никогда до той минуты не видала тигров, но тут сразу их узнала, потому что они полосатые. Если бы я могла раздобыть себе где-нибудь такую шкурку, из нее вышло бы прелестное платье.

Сегодня я начинаю уже лучше разбираться в расстояниях. Мне так хотелось завладеть всеми красивыми вещами, что я очертя голову пыталась их схватить, и оказывалось, что одна гораздо дальше от меня, чем я думала, а другая — наоборот: я думала, что до нее целый фут, а на самом деле было всего каких-нибудь шесть дюймов, — но зато, увы, сколько шипов в каждом дюйме! Это послужило мне уроком. Кроме того, я открыла одну аксиому — дошла до нее своим умом, — и это была моя первая аксиома: оцарапавшийся эксперимент шипа боится. Мне кажется, для такого юного создания, как я, это совсем неплохо сказано.

Вчера после полудня я долго следовала за другим экспериментом, на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он, но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видала мужчины, но этот выглядит как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Я сделала открытие, что это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое пресмыкающееся. Если, конечно, оно — пресмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на пресмыкающееся. У него нет бедер, оно суживается книзу, как морковка, а когда стоит — раздваивается, как рогатка. Словом, я думаю, что это пресмыкающееся, хотя, может быть, это и конструкция.

Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий раз, как оно оборачивалось ко мне, — думала, что оно хочет меня поймать; но мало-помалу я поняла, что оно, наоборот, старается ускользнуть от меня, — и тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним ярдах в двадцати от него, в результате чего оно стало очень пугливо, и вид у него сделался совсем несчастный. В конце концов оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой.

Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево.

Воскресенье. — Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть. Но это просто уловка: воскресенье — не день отдыха, для этого предназначена суббота. Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать. А по-моему, это невероятно утомительно — отдыхать так много. Даже просто сидеть под деревом и сторожить его утомляет меня. Мне очень хочется узнать — для чего оно: я еще ни разу не видала, чтобы оно что-нибудь делало. Вчера вечером они вернули луну на место, и я была так рада! Я считаю, что это очень порядочно с их стороны. Луна опять покатила вниз и упала, но это не огорчило меня: когда имеешь таких соседей, беспокоиться не о чем — они повесят луну обратно. Мне бы хотелось как-то выразить им свою признательность. Хорошо бы, например, послать им немножко звезд, потому что нам их и так девать некуда. Вернее, не нам, а мне, так как пресмыкающееся, по моим наблюдениям, абсолютно не интересуется такими вещами.

У него низменные вкусы и нет доброты. Вчера я отправилась к нему в сумерках и увидела, что оно слезло с дерева и старается поймать маленьких пятнистых рыбок, которые плавают в озере, и мне пришлось пустить в ход комья земли, чтобы оно оставило рыбок в покое и залезло обратно на дерево. Неужели для этого оно и существует? Неужели у него нет сердца? Неужели у него нет сострадания к этим крошечным тварям? Неужели оно было задумано и сотворено для такого неблагородного занятия? Похоже, на то. Швыряя в него землей, я попала ему один раз в голову, и оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые услышала чью-то речь, помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма выразительно.

Когда я открыла, что оно обладает даром речи, мой интерес к нему повысился, так как я очень люблю болтать. Я болтаю весь день и даже во сне, и меня очень интересно слушать; но если бы мне было с кем болтать, то получалось бы вдвое интереснее, и я могла бы болтать, никогда не умолкая, стоило бы меня об этом попросить.

Если пресмыкающееся — мужчина, тогда ведь это не оно, — не так ли? Это было бы грамматической ошибкой, правда? Мне кажется, в этом случае полагается говорить он; думаю, что так. Тогда склонение будет выглядеть следующим образом: именительный — он; дательный — ему; предложный — о нем. Словом, я буду считать его мужчиной и называть он до тех пор, пока не выяснится, что это нечто другое. Так будет удобнее, иначе слишком много неопределенностей.

Следующая неделя. Воскресенье. — Целую неделю я неотступно следовала за ним и старалась познакомиться. Всю беседу мне приходилось брать на себя, потому что он очень застенчив; впрочем, мне это ничего не стоило. Ему, по-видимому, приятно, что я все время возле него, а я из учтивости стараюсь как можно чаще говорить «мы», — ему, мне кажется, льстит, что он этим как бы приобщается ко мне.

Среда. — Мы теперь совсем неплохо ладим друг с другом и знакомимся все ближе и ближе. Он уже не пытается больше ускользнуть от меня; и это добрый знак, — видимо, ему нравится мое общество. Это мне приятно, и я учусь быть ему полезной, чем только могу, чтобы еще больше расположить его к себе. В последние дни я освободила его от необходимости подыскивать названия для различных предметов, что было для него большим облегчением. У него нет никаких к этому способностей, и он явно очень мне благодарен. Он, хоть ты его режь, не может придумать ни одного сколько-нибудь толкового названия, но я делаю вид, что не замечаю этого его недостатка. Как только появляется какая-нибудь новая тварь, я сейчас же даю ей имя, пока он не успел обнаружить свое невежество неловким молчанием. Я не раз таким способом выводила его из затруднительного положения. Я-то совершенно не страдаю таким недостатком, как он. Стоит мне только взглянуть на какое-нибудь животное, и я уже знаю, что это такое. Я даже не даю себе труда задуматься хоть на мгновение: правильное наименование рождается у меня молниеносно, как по наитию свыше, — да так, без сомнения, оно и есть, ибо я совершенно твердо знаю, что еще секунду назад не имела ни малейшего представления об этом слове. Должно быть, просто по внешнему виду каждой твари и по ее повадкам я сразу угадываю, что это за зверь.

Когда, например, появился додо, он принял его за дикую кошку, — я поняла это по его глазам. Но я спасла его. И я постаралась сделать это так, чтобы его гордость не пострадала. Я просто сказала самым естественным тоном, словно была приятно удивлена: «Поглядите, да ведь это додо! Ну конечно же это додо!» Да, я сказала это так, будто мне и в голову не могло прийти, что он нуждается в моей информации. И я объяснила, как бы ничего не объясняя, откуда я знаю, что это — додо; и если его и задело слегка, что я узнала эту птицу, а он — нет, тем не менее было совершенно очевидно, что он мною восхищен. Мне это было чрезвычайно приятно, и я снова и снова с огромным удовлетворением вспоминала об этом, прежде чем уснуть. Какая малость может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что она вполне заслужена нами!

Четверг. — Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не хотел, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить, думала, что это какое-то недоразумение, — ведь я так люблю быть возле него и слушать, что он говорит, — как же это может быть, чтобы он стал дурно относиться ко мне, если я не сделала ничего плохого? Но в конце концов я увидела, что, должно быть, это все же так, и тогда я ушла и долго сидела совсем одна там, где впервые увидела его в то утро, когда мы были созданы и я еще не знала, что он такое, и была совершенно безразлична к нему. Но теперь это место было овеяно для меня печалью, каждый пустяк напоминал мне здесь о нем, и сердце ныло. Это чувство было для меня ново, я сама не понимала, почему грущу. Я никогда еще не испытывала ничего подобного; во всем этом было что-то таинственное, и я не могла понять, что со мной.

Но когда настала ночь, я почувствовала, что не в силах больше выносить одиночества, и направилась к новому шалашу, который он для себя построил: я хотела спросить его, что я такое сделала и как мне вернуть себе его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было мое первое горе.

Воскресенье. — Теперь опять все хорошо, и я счастлива. Но то были очень тяжелые для меня дни, и я стараюсь не вспоминать о них.

Я хотела достать для него несколько плодов с той самой яблони, но никак не могу научиться бросать метко. Из моей затеи ничего не вышло, однако мне кажется, что мое доброе намерение было ему приятно. Трогать эти яблоки запрещено, и он сказал, что я наживу себе беду. Но если я наживу себе беду, доставляя ему удовольствие, так не все ли мне равно?

Понедельник. — Сегодня утром я сообщила ему мое имя, думая, что ему будет интересно. Но он даже не обратил на это внимания. Как странно. Если бы он сообщил мне свое имя, мне бы это не было безразлично. Мне кажется, звук его имени был бы самым сладостным для моих ушей.

Он очень мало говорит. Быть может, потому, что он не слишком сообразителен и сам страдает от этого и старается это скрыть? Если это действительно его мучает, мне очень его жаль, потому что ум — ничто, сердце — вот что в нас ценно. Мне бы хотелось заставить его понять, что сердце, способное любить, — это богатство, подлинное богатство; рассудок же без сердца — нищ.

Несмотря на то, что он так мало говорит, лексика его довольно богата. Сегодня утром он употребил одно поразительно хорошее слово. Должно быть, он и сам это понял, потому что повторил его потом еще два раза, как бы невзначай. Нельзя сказать, чтобы это получилось у него очень ловко, но тем не менее ясно, что он не лишен известного чутья. Не может быть сомнения в том, что эти семена, если за ними ухаживать, могут дать отличные всходы.

Откуда он взял это слово? Не помню, чтобы я когда-нибудь его употребляла. Нет, мое имя не интересует его совершенно. Я старалась скрыть свое разочарование, но боюсь, что мне это не удалось. Тогда я ушла и долго сидела на поросшем мхом берегу, спустив ноги в воду. Я всегда так делаю, когда мне не хватает общества и тянет поглядеть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, мне и этого недостаточно — недостаточно этой прелестной белой фигурки, которая виднеется там, в озере, — но все же это хоть что-нибудь, а что-нибудь лучше, чем полное одиночество. Она говорит, когда я говорю; когда я печальна — и она печальна; она сочувствует мне и утешает меня; она говорит: «Не падай духом, бедная одинокая девочка, я буду тебе другом». И правда — это мой верный друг, и притом единственный. Это моя сестра.

О, этот час, когда она впервые покинула меня! Я никогда не забуду этого — никогда, никогда. Как тяжело стало у меня на сердце! Я сказала: «Кроме нее, у меня не было ничего, и вот ее не стало!» Я сказала в отчаянии: «Сердце, разбейся! У меня нет сил больше жить!» И я закрыла лицо руками и зарыдала безутешно. А когда через несколько минут я подняла голову, она снова была там — белая, сверкающая и прекрасная, и я кинулась в ее объятия! Это было настоящее блаженство. Я знала счастье и прежде, но это было совсем другое, это было упоительно. С тех пор я никогда больше не сомневалась в ней. Порой она пропадала где-то —

иногда час, иногда почти весь день, но я ждала и верила ей. Я говорила: «У нее дела или она отправилась путешествовать. Но она вернется». И правда, она всегда возвращается. Она робкое, пугливое создание и потому никогда не показывается в темные ночи, но как только всходит луна, она тут же появляется. Сама я не боюсь темноты, но ведь она моложе меня: сначала родилась я, а она — потом. Много, много раз я приходила к ней, — она мое утешение и опора в трудные минуты жизни, а этих минут так много.

Вторник. — Все утро я работала — приводила в порядок наши владения — и нарочно старалась не попадаться ему на глаза, в надежде, что он соскучится и придет. Но он не пришел.

В полдень, покончив с дневными трудами, я отдыхала: играла с бабочками и пчелами и нежилась среди цветов — этих прекраснейших созданий божьих, которые ловят в небе улыбку Творца и хранят ее в своих чашечках. Я нарвала цветов, сплела из них венки и гирлянды, украсилась ими и позавтракала второй раз — как всегда, яблоками. Потом сидела в тени, томилась и ждала. Но он не пришел.

Но все равно. Ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что он не любит цветов. Он говорит, что это мусор, не умеет отличить один цветок от другого и думает, что это значит быть выше мелочей. Он не любит меня, он не любит цветов, он не любит красок вечеряющего неба, — интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет, да еще строить шалаши, чтобы прятаться туда от славного освежающего дождика.

Я положила на землю сухую палку и старалась другой палкой просверлить в ней дырку. Мне это было нужно для одного опыта, который я задумала, но тут мне пришлось пережить ужасный испуг. Над дырой взвилось что-то легкое, прозрачное, голубоватое, и я бросила палку и кинулась бежать! Я думала, что это дух, и страшно испугалась! Но потом, оглянувшись, я увидела, что он не гонится за мной, и тогда я прислонилась к скале, чтобы немного отдышаться и прийти в себя, и подождала, пока руки и ноги у меня не перестанут дрожать и не начнут снова вести себя как надо. После этого я осторожно прокралась обратно; каждую минуту я готова была пуститься наутек. Подойдя поближе, я раздвинула ветви розового куста и посмотрела на палку (как жаль, что мужчины не было поблизости, — я выглядела так очаровательно в эту минуту!), но дух исчез. Я подошла еще ближе и увидела в высверленной дырке горстку алой пыли. Я сунула туда палец — хотела пощупать, но тут же закричала и отдернула руку. Я почувствовала жгучую боль. Тогда я сунула палец в рот, попрыгала сначала на одной ноге, потом на другой, постонала немножко, и это принесло мне некоторое облегчение. Но острый интерес уже пробудился во мне, и я принялась исследовать.

Мне очень хотелось понять, что такое эта алая пыль. И неожиданно меня осенило, хотя я никогда не слышала об этом прежде: это огонь! Если можно вообще быть в чем-нибудь уверенной, то я была абсолютно уверена в том, что это огонь, и потому без малейшего колебания так его и назвала. Я создала нечто такое, чего не существовало прежде; к неисчислимому миру вещей я добавила еще одну вещь. Я поняла это и была горда, — и уже хотела побежать, найти мужчину и рассказать ему о своем достижении, чтобы поднять себя этим в его глазах, но, подумав немного, решила этого не делать. Нет — его этим не проймешь. Он спросит: а зачем это нужно? И что я ему отвечу тогда? Потому что, если это ни к чему не пригодно, а просто красиво, только красиво...

Словом, я вздохнула и не пошла за ним, потому что мое открытие действительно ни к чему не пригодно, — с его помощью нельзя ни построить шалаша, ни улучшить сорта дынь, ни ускорить созревания плодов; оно совершенно бесполезно, — это просто глупость и пустое тщеславие; и он, конечно, отнесется к нему с презрением и скажет что-нибудь язвительное. Но я не могла отнестись к своему открытию с презрением. Я сказала: «О ты, огонь! Я люблю тебя, изысканное нежно-алое создание! Люблю потому, что ты прекрасен, и этого с меня довольно!» И, сказав так, я хотела прижать его к груди. Но я сдержала свой порыв. И тут же придумала новый афоризм -- я дошла до него своим умом, но он так похож на мое первое изречение, что, боюсь, не является ли он плагиатом: «Обжегшийся эксперимент огня боится».

Я снова принялась за работу, и когда у меня получилась довольно большая кучка огненной пыли, я высыпала ее на пучок сухой травы — мне хотелось унести ее домой, чтобы всегда иметь под рукой и играть с ней когда вздумается, — но ветер дунул на травку, взметнул ее вверх, и она так страшно зашипела на меня, что я выронила ее из рук и бросилась бежать. А когда я оглянулась, голубой дух вился и клубился там, точно облако, и в ту же секунду я его узнала — это был дым. Однако даю вам слово, что до той минуты я никогда и не слыхала про дым.

И почти тут же ослепительно-желтые и красные языки пробились сквозь дым, и я мгновенно назвала их пламя, — и конечно не ошиблась, хотя это было первое пламя на земле. Пламя стало прыгать на деревья, величественно сверкая и то прорываясь сквозь огромную и все растущую завесу клубящегося дыма, то исчезая за ней, и я невольно захлопала в ладоши, рассмеялась и принялась танцевать от восторга, — все это было так ново и так чудесно, так удивительно и прекрасно!

Он прибежал со всех ног, остановился, уставился на огонь, широко раскрыв глаза, и минут пять-десять не произносил ни слова. Потом спросил: что это такое? Ах, ну зачем понадобилось ему ставить вопрос ребром! Я, разумеется, вынуждена была ответить, и я ответила. Я сказала, что это огонь. Если ему было неприятно, что приходится спрашивать у меня, это не моя вина. Мне совсем не хотелось сердить его.

Помолчав, он спросил:

— Откуда он взялся?

Еще один прямой вопрос, который тоже требовал прямого ответа.

— Я его сделала.

Огонь распространялся все дальше и дальше. Он подошел к краю выгоревшей лужайки, остановился, посмотрел на землю и спросил:

— А это что?

— Угли.

Он поднял один уголек, чтобы получше его рассмотреть, но, как видно, передумал и положил обратно. Потом он ушел. Ничто не интересует его.

А меня интересует. На земле лежал пепел — серый, мягкий, нежный и красивый, и я сразу поняла, что это пепел. И еще там была тлеющая зола. Я ее тоже сразу узнала. И я нашла там мои яблоки и выгребла их из золы. Я им очень обрадовалась, потому что я ведь еще молода и у меня хороший аппетит. Но я была разочарована: все яблоки полопались и были совершенно испорчены. Впрочем, оказалось, что они испорчены только с виду, — на самом же деле они стали вкуснее сырых. Огонь прекрасен, и мне кажется — когда-нибудь он будет приносить пользу.

Пятница. — В понедельник, поздно вечером, я опять увидела его на минуту, — но только на одну минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за усердие, с каким я приводила наши владения в порядок, — ведь я работала не покладая рук и побуждения у меня были самые лучшие, — но он ничем не выразил своего одобрения, — повернулся и ушел. Больше того — он был недоволен, и вот по какой причине: я сделала еще одну попытку убедить его не переплывать водопада. Дело в том, что огонь пробудил во мне новое чувство — совершенно новое и абсолютно непохожее ни на любовь, ни на печаль, ни на что-либо другое, что мне уже доводилось испытывать. Это чувство — страх. И это ужасное чувство! Зачем только я его узнала! Оно омрачает мою жизнь, мешает мне быть счастливой, заставляет меня дрожать, трепетать и вздрагивать. Но мне не удалось убедить его, потому что он еще не познал страха и, следовательно, не в состоянии меня понять.

ИЗ ДНЕВНИКА АДАМА (ФРАГМЕНТ)

Вероятно, я не должен забывать, что она еще очень молода, совсем девочка, в сущности, и требует к себе снисхождения. Она полна любопытства, все интересует ее, жизнь кипит в ней

ключом, и в ее глазах мир — это чудо, тайна, радость, блаженство; когда она видит новый цветок, она не может вымолвить ни слова от восторга — она ласкает его, и играет с ним, и беседует, и нюхает его, и осыпает самыми нежными именами. И она помешана на красках: коричневые скалы, желтый песок, серый мох, зеленая листва, синее небо; жемчужно-розовая заря, фиолетовые тени в ущельях, золотые островки облаков в багряном океане заката, бледная луна, плывущая среди рваных туч, алмазная россыпь звезд, мерцающих в безграничном пространстве, — все это, насколько я могу судить, не имеет ни малейшей практической ценности, но раз в этом есть краски и величие — для нее этого достаточно, она совершенно теряет голову. Если бы, она могла не суетиться так и хоть изредка, хоть две-три минуты побыть в покое, это было бы необычайно отрадное зрелище! В этом случае, мне кажется, на нее было бы приятно смотреть; я даже уверен, что мне это было бы приятно, так как я начинаю замечать, что она на редкость миловидное создание: гибкая, стройная, изящная, округлая, ловкая, проворная, грациозная... И как-то раз, когда она, мраморно-белая и вся залитая солнцем, стояла на большом камне и, закинув голову, прикрывая глаза рукой, следила за полетом птицы в небе, я понял, что она красива.

Понедельник, полдень. — Если есть на всей планете хотя бы один предмет, который ее не интересует, то я, во всяком случае, не берусь его назвать. Некоторые животные лишены для меня всякого интереса, но для нее таких не существует. Она не делает различий, одинаково обожает их всех, считает сокровищами и каждое новое животное встречает с распростертыми объятиями.

Когда гигант бронтозавр забрел в наш лагерь, она нашла, что это очень ценное приобретение, в то время как я воспринял это как бедствие. Вот отличный пример полной дисгармонии наших с ней взглядов. Она хотела приручить бронтозавра, а я хотел подарить ему наш участок и переселиться в другое место. Она верит, что, обращаясь с ним хорошо, его можно выдрессировать и превратить в нечто вроде любимой комнатной собачки; а я сказал, что комнатная собачка в двадцать один фут высотой и в восемьдесят четыре фута длиной не особенно удобна в домашнем обиходе, так как эта громадина может с самыми лучшими намерениями сесть невзначай на наш дом и смять его в лепешку, — ведь легко можно заметить, насколько это чудовище рассеянно, достаточно посмотреть на выражение его глаз.

Но ей уже во что бы то ни стало хотелось иметь чудовище, и она не пожелала с ним расстаться. Она решила, что мы можем организовать молочную ферму, и просила меня помочь ей подоить его. Но я отказался, так как это было слишком рискованно. Прежде всего, оно было совсем неподходящего пола, и, кроме того, мы еще не обзавелись приставной лестницей. Тогда она задумала ездить на нем верхом и любоваться окрестностями. Футов тридцать — сорок его хвоста лежало на земле, подобно поваленному дереву, и она решила, что сумеет забраться к чудовищу на спину по хвосту, но ей это не удалось. Она вскарабкалась только до того места, где подъем стал слишком крут, и полетела вниз, потому что хвост оказался скользким, и если бы я вовремя не подхватил ее, она бы сильно расшиблась,

Вы думаете, она успокоилась после этого? Ничуть не бывало. Она никогда не успокаивается до тех пор, пока все не испробует: не проверенные опытом теории — это не по ее части, они ее не удовлетворяют. Должен признаться, что это отличное качество, оно мне очень по душе; я чувствую, что заражаюсь им от нее и что полностью воспринял бы его, если бы мы больше общались. Кстати, у нее была еще одна идея относительно этого колосса: она думала, что нам удастся приручить его и заставить подружиться с нами, и тогда мы сможем поставить его поперек реки и ходить по нему, как по мосту. Но выяснилось, что он и сейчас уже достаточно приручен, — во всяком случае, с ней он совсем ручной, — и она попыталась претворить свою идею в жизнь, но ничего из этого не вышло: стоило ей установить чудовище в нужном положении поперек рек; и сойти на берег, чтобы испробовать свой новый мост, и оно тотчас вылезало из воды и тащилось за ней по пятам, как ручная гора. Совершенно так же, как и все прочие животные. Они все это делают.

Пятница. — Вторник, среда, четверг и сегодня — все эти дни я не видела его. Трудно так долго быть одной, но все же лучше быть одной, чем являться непрошеной.

Однако я не могу обходиться без общества; мне кажется, общество — это моя стихия, и я завожу дружбу с животными. Они очаровательны, у них легкий, приятный нрав и самое вежливое обхождение; они никогда не бывают угрюмы, никогда не дают вам понять, что вы явились не вовремя; они улыбаются вам и машут хвостом, если он у них есть, и всегда готовы порезвиться с вами или совершить маленькую экскурсию, — словом, согласны на все, что бы вы им ни предложили. Я считаю, что они истинные джентльмены. Все эти дни мы так чудесно проводили время, и я ни разу не почувствовала себя одинокой. Одинокой? Нет, о нет! Ведь их целые стаи вокруг, иной раз они занимают пространство в четыре-пять акров — просто не сочтешь; и когда стоишь на скале и оглядываешься кругом, на это море шерсти, такое пестрое, и веселое, и красочное, а все эти пятна и полосы переливаются на солнце, словно рябь, — может показаться, что это и впрямь море, только я-то знаю, что это все же не так. А временами налетает настоящий шквал общительных птиц и проносятся ураганы машущих крыл, и когда лучи солнца пронизывают этот пернатый хаос, перед глазами у вас реют разноцветные молнии, горят и сверкают все краски мира, и можно проглядеть все глаза, любуясь на это.

Мы совершали большие экскурсии, и я повидала не малую часть света; мне кажется даже, что я повидала его почти весь. Таким образом, я — Первый путешественник на земле, и единственный пока. Когда мы в пути, это очень величественное зрелище -- ему нет равного. Для удобства передвижения я еду обычно верхом на тигре или на леопарде, потому что у них мягкая, округлая спина, на которой приятно сидеть, и потому что они такие милovidные животные; но для далеких путешествий или для тех случаев, когда мне хочется полюбоваться окрестностями, я пользуюсь слоном. Своим хоботом он сажает меня к себе на спину, но спуститься вниз я могу и без посторонней помощи: когда мы решаем сделать привал, он садится, и я спускаюсь на землю так сказать с черного крыльца.

Все птицы и все животные дружат друг с другом, и между ними никогда не возникает никаких разногласий. Они все умеют говорить и разговаривают со мной, но, должно быть, это какой-то иностранный язык, потому что я не понимаю ни слова. Однако сами они нередко понимают, когда я говорю им что-нибудь; особенно хорошо понимают меня собака и слон, и мне в этих случаях всегда бывает очень стыдно: ведь это показывает, что они умнее меня и я должна признать их превосходство. Это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и надеюсь все же им быть.

Я уже узнала довольно много различных вещей и стала теперь образованная, чего раньше никак нельзя было про меня сказать. Вначале я была совершенно невежественна. Первое время я, сколько ни билась, никак не могла уследить, когда водопад взбегаёт обратно на гору, — у меня не хватало на это соображения, и мне было очень досадно, но теперь я успокоилась. Я следила и сопоставляла, и теперь я знаю, что вода никогда не бежит в гору при свете — только когда темно. Я поняла, что она проделывает это в темноте, потому что озеро не высыхает, а ведь если бы вода не возвращалась ночью обратно на свое место, то оно непременно бы высохло. Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: тогда действительно можно приобрести знания, в то время как строя догадки и делая умозаключения, никогда не станешь по настоящему образованным человеком.

Некоторые вещи понять невозможно, но вы до тех пор не поймете, что они непознаваемы, пока будете пытаться их разгадать и строить различные предположения; нет, вы должны набраться терпения и производить опыты, пока не откроете, что ничего открыть нельзя. А ведь именно это и восхитительно — мир тогда становится необычайно интересен. А если бы нечего было открывать, жизнь стала бы скучной. И в конце концов, стараться открыть и ничего не открывать — так же интересно, как стараться открыть и открывать, а быть может, даже еще

интереснее. Тайна водопада была подлинным сокровищем, пока я ее не раскрыла, после чего весь интерес пропал, и я познала чувство утраты.

С помощью экспериментов я установила, что дерево плавает, а также и сухие листья, и перья, и еще великое множество различных предметов; отсюда, делая обобщение, можно прийти к выводу, что скала тоже должна плавать, но приходится просто признать, что это так, потому что доказать это на опыте нет никакой возможности... пока что. Я, конечно, найду и для этого способ, но тогда весь интерес пропадет. Мне становится грустно, когда я думаю об этом: ведь мало-помалу я открою все, и тогда не из-за чего будет волноваться, а я это так люблю! Прошлую ночь я никак не могла уснуть — все размышляла над этим.

Прежде я не могла понять, для чего я была создана на свет, но теперь, мне кажется, поняла: для того, чтобы раскрывать тайны этого мира, полного чудес, и быть счастливой, и благодарить Творца за то, что он этот мир создал. Я думаю, что есть еще очень много тайн, которые мне предстоит узнать, — я надеюсь, что это так; и если действовать осторожно и не слишком спешить, их, по-моему, должно хватить не на одну неделю, — я надеюсь, что это так. Если подбросить перо, оно реет в воздухе и скрывается из виду. А если бросить комок глины, он этого не делает. Он всякий раз падает на землю. Я пробовала снова и снова, и всегда получается одно и то же. Интересно, почему это? Конечно, я понимаю, что на самом деле он не падает, но почему должно непременно так казаться? Вероятно, это оптический обман. То есть я хочу сказать, что одно из этих двух явлений — оптический обман. А какое именно, я не знаю. Быть может, в случае с пером, быть может — с комком глины; я не могу доказать ни того, ни другого, я могу только продемонстрировать оба, и станет ясно, что одно из двух — обман, а какое именно — каждый может решать по своему усмотрению.

Из наблюдений я знаю, что звезды не вечны. Я видела, как иные, самые красивые; вдруг начинали плавиться и скатывались вниз по небу. Но раз одна может расплавиться, значит могут расплавиться и все, а раз все могут расплавиться, значит они могут расплавиться все в одну ночь. И это несчастье когда-нибудь произойдет, я знаю это. И я решила каждую ночь сидеть и глядеть на звезды до тех пор, пока смогу бороться со сном; я постараюсь запечатлеть в памяти весь этот сверкающий простор, так чтобы, когда звезды исчезнут, я могла бы с помощью воображения вернуть эти мириады мерцающих огней на черный купол неба и заставить их сиять там снова, двоясь в хрустальной призме моих слез.

ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Он был прекрасен, несравненно прекрасен, упоительно прекрасен, а теперь он потерян для нас, и я никогда больше его не увижу.

Сад утрачен навеки, но я нашла его, и я довольна. Он любит меня, как умеет; я люблю его со всем пылом моей страстной природы, как и подобает, мне кажется, моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю, да, по правде говоря, и не особенно стремлюсь понять; такая любовь, думается мне, не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой, как любовь к другим пресмыкающимся или животным. Да, вероятно все дело в этом. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю вовсе не за то, как он поет, — нет, не за это. Чем больше он поет, тем меньше мне это нравится. И все же я прошу его петь, потому что хочу приучиться любить все, что нравится ему, и уверена, что приучусь, — ведь сначала я совершенно не могла выносить его пение, а теперь уже могу. От его пения киснет молоко, но и это не имеет значения, — к кислому молоку тоже можно привыкнуть.

Я люблю его не за его сообразительность, — нет, не за это. Каков бы он ни был — это не его вина, ведь он не сам себя создал. Он таков, каким его создал господь, и этого для меня

вполне достаточно. Тут была проявлена особая мудрость, я совершенно в этом уверена. Со временем его умственные способности разовьются, хотя, я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить? Он достаточно хорош и так.

Я люблю его не потому, что он деликатен, заботлив и чуток, — нет; у него есть недостатки в этом отношении, но он достаточно хорош, несмотря на них, и притом уже начал понемногу исправляться.

Я люблю его не потому, что он трудолюбив, — нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем ему нужно его от меня скрывать. Вот единственное, что меня печалит. Во всем остальном он теперь вполне откровенен со мной. Я уверена, что, помимо этого, он ничего от меня не утаивает. Меня печалит, что он находит нужным держать от меня что-то в тайне, и порой я долго не могу уснуть — все думаю об этом. Но я заставлю себя выкинуть эти мысли из головы, — ведь, кроме них, ничто не омрачает моего счастья.

Я люблю его не потому, что он очень образован, — нет, не потому. Он — самоучка и действительно знает уйму всяких вещей, да только все это не так.

Я люблю его не потому, что он рыцарственно благороден, — нет, не потому. Он выдал меня, но я его не виню — это свойство его пола, мне кажется, а ведь не он создал свой пол. Конечно, я бы никогда не выдала его, я бы скорее погибла, но это тоже особенность моего пола, и я не ставлю себе этого в заслугу, так как не я создала свой пол.

Так почему же я люблю его? Вероятно, просто потому, что он мужчина.

В глубине души он добр, и я люблю его за это, — но будь иначе, я бы все равно любила его. Если бы он стал бранить меня и бить, я бы все равно продолжала любить его. Я знаю это. Мне кажется, все дело в том, что таков мой пол.

Он сильный и красивый, и я люблю его за это, и восхищаюсь, и горжусь им, — но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Будь он нехорош с виду, я бы все равно любила его; будь он калекой — я любила бы его, и я бы работала на него, и была бы его рабой, и молилась бы за него, и бодрствовала у его ложа, пока жива.

Да, я думаю, что люблю его просто потому, что он мой, и потому, что он мужчина. Другой причины не существует, мне кажется. И поэтому, вероятно, я правильно решила с самого начала: такая любовь не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Она просто приходит совершенно неизвестно откуда и объяснить ее нельзя. Да и не нужно.

Так думаю я. Но ведь я только женщина, почти ребенок, и притом первая женщина, которая пытается разобраться в этом вопросе, — и очень может статься, что по своей неопытности и невежеству я сделала неправильный вывод.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Единственное мое желание и самая страстная моя мольба — чтобы мы могли покинуть этот мир вместе; и эта мольба никогда не перестанет звучать на земле, она будет жить в сердце каждой любящей жены во все времена, и ее нарекут молитвой Евы.

Но если один из нас должен уйти первым, пусть это буду я, и об этом тоже моя мольба, — ибо он силен, а я слаба, и я не так необходима ему, как он мне; жизнь без него — для меня не жизнь, как же я буду ее влачить? И эта мольба тоже будет вечной и будет возноситься к небу, пока живет на земле род человеческий. Я — первая жена на земле, и в последней жене я повторяю.

У МОГИЛЫ ЕВЫ

Адам. Там, где была она, — был Рай.

МОРАЛЬ И ПАМЯТЬ

Если какая-нибудь из присутствующих здесь девиц любит меня, я приношу ей свою искреннюю благодарность. И даже более того: если какая-нибудь из них столь добра, что любит меня, я готов стать ей братом. Я подарю ей свою горячую, неподдельную, чистую привязанность. Когда я ехал в автомобиле с очень милой девицей, которой было поручено препроводить меня сюда, она спросила, о чем я собираюсь говорить. Я сказал, что сам еще не знаю толком. Сказал, что держу в уме несколько примеров и намерен их привести. Сказал, что приведу их непременно, но пока мне самому невдомек, что именно они должны пояснить.

Теперь, поразмыслив об этом здесь, на лесной лужайке (оратор указывает на декорации, изображающие аркадские рощи), я решил так или иначе связать их с моралью и с капризами памяти. Мне кажется, это вполне подходящая тема. Как известно, у всякого есть память, а у нее наверняка есть и капризы. И уж конечно у каждого есть мораль.

Я глубоко убежден, что мораль есть у всех моих знакомых, хотя я не имею привычки спрашивать их об этом. У меня она есть во всяком случае. Но я предпочитаю всегда повсюду проповедовать ее, а отнюдь не руководствоваться ею. «Передай ее другим» — таков мой девиз. Тогда, оставшись без морали, уже не испытываешь в ней нужды. Ну а что касается капризов памяти вообще и моей памяти в частности, то просто уму непостижимо, сколько всяких шуток может сыграть с нами этот хитрый психический процесс. Ведь мы с вами одарены способностью, которая, казалось бы, должна быть нам несравненно полезнее всех прочих наших способностей. Но что это получается? Эта самая память тщательно собирает богатейшую коллекцию бесполезнейших фактов, анекдотов и событий. А все, что мы должны знать, что нам нужно знать, что было бы полезно знать, она отбрасывает с беспечным равнодушием девушки, которая отвергает человека, всей душой ее любящего. Да об этом страшно подумать! Я просто содрогаюсь, когда размышляю обо всех бесценных богатствах, которые я растерял за семьдесят лет, иными словами — когда размышляю о капризах своей памяти.

Есть в Калифорнии одна птица, и мне кажется, едва ли можно найти более полный, чем она, символ человеческой памяти. Я забыл, как она называется (именно потому, что мне полезно было бы знать это, хотя бы для того, чтобы помочь вам сейчас ее вспомнить).

Это глупое создание собирает и бережно хранит самые нелепые вещи, какие только можно вообразить. Она никогда не возьмет то, что может хоть как-то ей пригодиться; она хватает железные вилки и ложки, консервные банки, сломанные мышеловки — всякий хлам, который ей трудно дотащить до гнезда и из которого невозможно извлечь ни крупинцы пользы. Право же, эта птица отвернется от золотых часов, чтобы подобрать какую-нибудь патентованную сковородку.

Такова и моя память, а она не многим отличается от вашей, — и моя память и ваша равно похожи на эту птицу. Мы проходим мимо неоценимых сокровищ и забиваем себе головы самой пошлой дрянью, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не может нам пригодиться.

А уж то, что я однажды запомнил, непрестанно всплывает в моей памяти. И я не устаю удивляться тому, как живы эти воспоминания по прошествии многих лет и как они никчемны.

По дороге сюда я мысленно перебрал некоторые из таких воспоминаний. Это и были те самые примеры, о которых я говорил своей юной спутнице. И как ни странно, я пришел к выводу, что любым из этих капризов памяти я могу воспользоваться для того, чтобы преподать вам целый урок. Для меня несомненно, что в каждом из них заключена мораль. И я считаю своим долгом передать ее вам из рук в руки.

Помнится, когда-то я был мальчиком, и притом хорошим, даже очень хорошим мальчиком. Да, да, я был самым лучшим мальчиком в школе. И лучшим мальчиком у себя в городке на берегу Миссисипи. А жителей там было всего каких-нибудь двадцать миллионов. Можете мне

не верить, но я был самым лучшим мальчиком во всем штате, и даже, я бы сказал, во всех Соединенных Штатах.

И все же, не знаю почему, кроме меня никто ни разу даже не заикнулся об этом. Я-то всегда это понимал. Но даже самые близкие родственники и друзья, как видно, этого не замечали. Мать моя в особенности подозревала, что я себя переоцениваю. И она так и не смогла побороть свое предубеждение.

А когда ей исполнилось восемьдесят пять лет, у нее отшибло память. Она растеряла все нити, которые связывают воедино узор жизни. Жила она в то время на Западе, и я приехал как-то ее навестить.

Я не видел ее, должно быть, с год. А когда я приехал, она помнила мое лицо, помнила, что я женат, помнила, что у меня есть семья, с которой я живу, но хоть убей не могла бы сказать, как меня зовут и кто я такой. Что ж, я объяснил ей, что я ее сын.

— Но ты не живешь здесь, со мной, — сказала она.

— Нет, — подтвердил я. — Я живу в Рочестере.

— А что ты там делаешь?

— Учусь в школе.

— И большая эта школа?

— Очень большая.

— И ходят туда только мальчики?

— Да, только мальчики.

— Ну и как ты себя там ведешь? — спросила мать.

— Я лучший мальчик во всей школе, — ответил я.

— Ну и ну, — к ней сразу вернулась былая живость. — Хотела бы я видеть, каковы там остальные!

Так вот, то, что я вам сейчас рассказал, имеет две стороны: одна — это причуда памяти моей матери, вспомнившей мои школьные годы и мою юношескую самоуверенность, но забывшей все остальное, что меня касалось. Другая — это мораль. Она найдется, стоит только ее хорошенько поискать.

Вспоминается мне еще один случай. Кажется, я тогда чуть ли не в первый раз в жизни украл арбуз. Но «украл» — слишком сильное слово. Украл?.. Украл? Нет, я совсем не то имел в виду. В первый раз я изъясил арбуз. В первый раз я удалил арбуз. Да, именно «удалил» — это слово я и искал. Оно определено. Оно точно. Оно как нельзя лучше передает мою мысль. Употребление его в зубоврачебном деле придает ему тонкий оттенок, который мне столь необходим. Ведь мы никогда не удаляем своих собственных зубов.

Так вот, я тоже удалил не свой собственный арбуз. Я удалил арбуз одного фермера, пока он торговался в своем фургоне с другим покупателем. Я унес этот арбуз в укромный уголок дровяного склада и расколол его на куски.

Арбуз оказался зеленым.

И знаете, когда я увидел это, то почувствовал раскаяние, — да, да, раскаяние. Мне показалось, что я поступил дурно. Я глубоко задумался. Задумался о том, что я молод, — мне было тогда лет одиннадцать. Но я твердо знал, что, несмотря на юный возраст, у меня нет недостатка в моральных устоях. Я знал, как должен поступить мальчик, если он удалил арбуз... вроде того, который достался мне.

Я подумал о Джордже Вашингтоне и о том, что предпринял бы он при подобных обстоятельствах. И тут я понял, что только одно может вернуть мне душевный покой, а именно — возмещение убытков.

Я сказал себе: «Так тому и быть. Я отнесу зеленый арбуз туда, откуда его взял». И в ту же минуту я почувствовал необычайный моральный подъем, который обычно наступает после того, как человек принял какое-нибудь благородное решение.

И я собрал куски, какие покрупнее, и отнес их к фургону фермера и вернул арбуз, — вернее, то что от него осталось. И заставил фермера дать мне спелый арбуз взамен зеленого.

Я сказал ему, что стыдно продавать негодные, дрянные, зеленые арбузы простосердечным людям, которые вынуждены верить ему на слово. Разве могут они на глаз определить, хорош арбуз или нет? Ведь это его обязанность! Если он не исправится, сказал я ему, я не стану больше ничего у него покупать, и все мои знакомые тоже не станут, — уж я сделаю для того все от меня зависящее.

И знаете, этот человек был сокрушен духом, как грешник, прозревший от душеспасительных речей проповедника. Он сказал, что сердце у него разрывается при мысли, что мне достался зеленый арбуз. Он поклялся никогда больше не привозить на продажу ни одного зеленого арбуза, даже если будет умирать с голоду. И он уехал духовно обновленный.

Понимаете ли вы, что я сделал для этого человека? Он стоял на краю бездны, и я протянул ему руку помощи. И сам получил за это всего только арбуз.

И все же эту память, одну только память о добре, которое я сделал погрязшему в грехах фермеру, я предпочитаю всем земным благам, каких только может желать человек. Подумайте, какой он получил урок! Я же для себя не извлек из этого ровным счетом ничего. Но стоит ли роптать? Мне было всего одиннадцать лет, а я уже сумел принести непреходящее благо своему ближнему.

Мораль здесь совершенно ясна, и, думается, ее не лишен также другой случай, о котором я намерен вам рассказать.

Мне вспоминается одно небольшое происшествие времен моего детства, из которого вы точно так же можете извлечь мораль. Случилось оно в один из тех дней, когда я, по обыкновению, пошел удить рыбу. А надо вам сказать, что у нас в доме существовал некий семейный предрассудок против рыбной ловли без разрешения. Но иной раз испрашивать разрешения просто не имело смысла. Поэтому я ходил ловить рыбу тайком, без спросу, подымаясь вверх по берегу Миссисипи. Это были чудесные прогулки, они доставляли мне огромное удовольствие.

Так вот, пока меня не было, в нашем городке произошла трагедия. Какого-то человека, приезжего, остановившегося в наших краях по пути из Калифорнии на Восток, проткнули ножом в безобразной уличной драке.

Ну а мой отец был мировым судьей; а будучи мировым судьей, он был и следователем; а будучи следователем, был также и констеблем; а будучи констеблем, был и шерифом; а будучи шерифом, он был также секретарем округа и занимал еще с десяток всяких других должностей, которых я сейчас уже не могу и припомнить.

Я не сомневался, что он властен над жизнью и смертью, только не пользуется этой властью по отношению к другим мальчикам. Он был человек суровый. Когда я совершал какой-нибудь предосудительный в его глазах поступок, то старался держаться от него подальше. По этой самой причине я не часто показывался ему на глаза.

Так вот, об убийстве этого приезжего дали знать надлежащему представителю властей — следователю, и труп перенесли в его канцелярию — нашу парадную гостиную, — где и оставили до утра, когда должно было состояться дознание.

Часов в девять или десять вечера я вернулся с рыбной ловли. Было уже поздно, рассчитывать на любезный прием со стороны моих родичей не приходилось, так что я снял башмаки и тихонько проскользнул черным ходом в гостиную. Я очень устал и не хотел беспокоить домашних. Поэтому я ощупью добрался до дивана и лег.

Заметьте, я ничего не знал о том, что случилось в мое отсутствие. Но у меня и без того душа была не на месте — я боялся, что меня накроют, и сильно сомневался, что смогу благополучно вывернуться на другое утро. Я пролежал некоторое время без сна, а когда глаза мои привыкли к темноте, стал различать что-то в другом конце комнаты.

Это было нечто чуждое нашей гостиной. Нечто жуткое и мрачное с виду. Я сел на своем диване и стал глядеть во все глаза, дивясь, откуда, прах ее возьми, взялась эта длинная, бесформенная, зловещая штука.

Сначала я хотел подойти и посмотреть, что там такое. Потом подумал: «Ну ее совсем».

Заметьте, я несколько не струсил, а просто решил, что заниматься расследованием едва ли благоразумно. И все же я не мог оторвать глаз от странного предмета. И чем больше я на него смотрел, тем больше мне становилось не по себе. Но я решил быть мужчиной. Я подумал, что лучше всего повернуться к стене и, сосчитав до ста, подождать, пока пятно лунного света подползет к странной груди и я увижу, что это в конце-то концов такое.

Так вот, я повернулся к стене и начал считать, но все время сбивался. Мысль об этой ужасной груди не оставляла меня. Я то и дело терял счет, начинал снова и снова. Нет, право, я несколько не боялся, а просто был раздосадован. А досчитав наконец до ста, я осторожно повернулся и, преисполненный решимости, открыл глаза.

В лунном свете я увидел белую, как мрамор, человеческую руку. Сперва я был только ошарашен. А потом мурашки опять забегали у меня по коже, и я решил считать сызнова. Не знаю, сколько часов или недель пролежал я, усердно считая. А лунный свет все полз вверх по белой руке и вырвал из темноты свинцово-серое лицо и ужасную рану под сердцем.

Не могу сказать, что я был охвачен ужасом или хотя бы просто струхнул. Но глаза его произвели на меня такое впечатление, что я тут же выскочил в окно. Поверьте, рама была мне ни к чему. Но мне легче было прихватить ее с собой, чем оставить на прежнем месте.

Так вот, пусть это послужит вам уроком, — сам уж не знаю, каким именно. Но в семьдесят лет я считаю это воспоминание особенно ценным для себя. С тех пор оно незаметно для меня влияло на все мои поступки. Все, что принадлежит к далекому прошлому, имеет над нами непреходящую власть. Конечно, мы учимся по-разному. Но особенно плодотворно учимся мы, когда сами не подозреваем об этом.

А вот еще один случай, который многому меня научил.

В семнадцать лет я был очень застенчив, и в эту самую пору одна шестнадцатилетняя девушка приехала к нам погостить на недельку. Она была красавицей, и я утопал в неземном блаженстве.

Однажды мать предложила мне повести гостью в театр, чтобы развлечь ее. Меня это не очень-то обрадовало, потому что мне было семнадцать лет и я стыдился показываться на улице с девушкой. Я не представлял себе, как смогу наслаждаться ее обществом на людях. Но в театр мы все-таки пошли.

Я чувствовал себя не очень-то хорошо. Я не мог смотреть пьесу. В скором времени я понял, что дело тут не столько в присутствии красивой спутницы, сколько в моих башмаках. Это были очень нарядные башмаки, они сидели на мне без единой морщинки, как собственная кожа, но были раз в десять теснее. Я забыл о пьесе, о девушке, обо всем на свете, кроме этих башмаков, и не успокоился до тех пор, пока отчасти не стащил один из них с ноги. При этом я испытал ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Теперь уж я не мог удержаться и стащил с ноги второй башмак, тоже отчасти. После этого мне пришлось снять их совсем и только придерживать их пальцами ног, чтобы они не сбежали от меня.

С этой минуты пьеса начала доставлять мне удовольствие. Я и не заметил, как опустился занавес, и тут оказалось, что на мне нет башмаков. Мало того, они и не думали налезать на ноги. Я что было сил старался их натянуть. А зрители, сидевшие в нашем ряду, встали с мест, подняли шум, принялись меня срамить, и мне с моей красавицей пришлось уйти.

И мы ушли — одна рука у меня была занята девушкой, а другая — башмаками.

Так мы и плелись до самого дома — целых шестнадцать кварталов, — а за нами свита в милую длину. Всякий раз, как мы проходили мимо фонаря, я готов был провалиться сквозь землю. Но в конце концов мы все же добрались до дома, — а ведь я, заметьте, был в белых носках.

Даже если я доживу до девятист девяноста девяти лет, то и тогда, пожалуй, мне не забыть эту прогулку. Я буду помнить ее так же живо, как и еще одно огорчение, которое мне довелось испытать в другой раз.

Некогда в доме у нас был слуга-негр, который страдал одним существенным недостатком, Он всякий раз забывал спросить у посетителя, что ему нужно. Поэтому я часто вынужден был принимать множество ненужных мне людей.

Однажды, когда я был занят по горло, он принес мне визитную карточку, на которой было выгравировано неизвестное мне имя. «Что ему от меня нужно?» — спросил я, а Сильвестр отвечал: «Я не посмел расспрашивать его, сэр; он джентльмен, это сразу видно». — «Ступай сию же минуту и узнай, зачем он пришел, — рассердился я. — Справься, какое у него дело». Ну, Сильвестр скоро вернулся и доложил, что незнакомец продает громоотводы. «Честное слово, — заметил я, — веселенькие настали времена, если даже у агентов по продаже громоотводов завелись гравированные визитные карточки». — «У него есть еще и картинки», — сказал Сильвестр. «Ах, картинки! Выходит, он продает и гравюры! А нет ли при нем кожаной папки?» Но Сильвестр был слишком перепуган, чтобы обратить на это внимание. Тогда я решил: пойду вниз сам и покажу этому выскочке, где раки зимуют!

Я спустился по лестнице, все сильнее подогревая свою ярость. Дойдя до гостиной, я был уже в совершеннейшем бешенстве, тщательно скрытом под личиной холодной учтивости. Еще с порога я и впрямь увидел в руках у посетителя кожаную папку. Но я совсем упустил из виду, что папка эта была наша собственная.

И поверите ли, этот человек сидел на стуле, а перед ним на полу была разложена целая коллекция гравюр. Только мне было невдомек, что это наши гравюры, разложенные здесь неизвестно для чего кем-то из моих домочадцев.

Я довольно резко осведомился, что ему угодно. Удивленным и робким голосом он пробормотал, что познакомился с моей женой и дочерью и Онторе и они пригласили его зайти. «Ведь ловко врет», — подумал я и остановил его ледяным взглядом.

Он, видимо, был в некотором замешательстве и сидел, перебирая гравюры в папке, пока я не сказал, что он напрасно беспокоится, так как все это у нас уже есть. Он несколько воспрянул духом и нагнулся было, чтобы поднять с полу еще одну гравюру. Но я снова остановил его, сказав: «И это у нас тоже есть». Тогда лицо у него сделалось жалкое и растерянное, а я в душе поздравил себя с победой.

Наконец этот джентльмен спросил, не знаю ли я, где живет мистер Уинтон; оказывается, он и с ним свел знакомство в горах. Я охотно согласился указать ему дорогу. И сделал это без промедления. Но когда он ушел, я заподозрил неладное, потому что все его гравюры остались лежать на полу.

А потом пришла моя жена и пожелала узнать, кто у нас был. Я протянул ей визитную карточку и, торжествуя, рассказал обо всем. К моему ужасу, она чуть не лишилась чувств. Потом она объяснила мне, что этот человек — их хороший знакомый, с которым они сдружились летом, и он попросту забыл сказать мне, что его здесь ждут. Она вытолкала меня за дверь со строгим наказом бежать к Уинтонам и поскорее привести его обратно.

Я вошел в гостиную Уинтонов, где хозяйка чопорно сидела в кресле, далеко превосходя меня в своей убийственной холодности. Ну, тут я принялся объяснять, как и что. Миссис Уинтон мигом сообразила, что пора растопить лед. Через пять минут я уже пригласил гостя к завтраку, миссис Уинтон — к обеду, и все прочее в том же роде.

Мы заставили этого человека изменить свои планы и остаться у нас па неделю и окружили его необычайным радушием. Право же, мне кажется, за все это время мы ни на минуту не дали ему протрезвиться.

Надеюсь, вы сделаете какие-нибудь полезные выводы из тех уроков, которые я вам здесь преподаю, и память о них подвигнет вас на возвышенные поступки и породит помыслы, которые будут еще прекраснее прежних... и... и...

И я могу сказать вам только одно, мои милые слушательницы: с вами я провел время куда приятней, чем с той красавицей пятьдесят три года назад.

Перевод В.Хинкиса

НАСТАВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКАМ

Если работаешь одновременно над целой галереей портретов, больше всего неприятностей случается из-за горничной, которая приходит в студию, вытирает с полотен пыль и забывает ставить их на место, так что, когда собираются посетители и просят показать им Гоуэлса, Депью, или еще кого-нибудь, приходится кривить душой, а это на первых порах весьма неприятно. К счастью, вы знаете наверняка, что и Депью и Гоуэлс у вас имеются; это придает вам храбрости, и вы говорите твердо: «Вот Гоуэлс», а сами украдкой наблюдаете за гостем. Если прочтете в его глазах недоумение, тут же поправьте себя и предложите ему другой портрет. В конце концов вы найдете настоящего Гоуэлса, и вам сразу станет неизъяснимо легко и радостно; но помните, что страдания ваши перед тем будут велики, а радость кратковременна, ибо следующий посетитель остановится на Гоуэлсе, не имеющем ничего общего с первым и похожем скорее на Эдуарда VII или на Кромвеля, за коих вы его сперва и принимали, хотя, конечно, помалкивали об этом. Лучше всего, принимаясь за работу, прилеплять к холмам ярлычки с фамилиями, это избавит вас от сомнений и позволит даже заключать пари с публикой без риска проиграть.

Но больше всего хлопот мне доставил портрет, который я писал частями: голову на одном холсте, бюст на другом.

Горничная поставила полотно с бюстом набок, и теперь я никак не могу определить, где у него верх, а где низ. Одни — а среди них имеются знатоки своего дела — говорят, что нижний холст надо приставить к верхнему так, чтобы под подбородком мужчины оказалась булавка для галстука, другие советуют поместить туда воротничок, причем один из сторонников второй



Голова на одном холсте

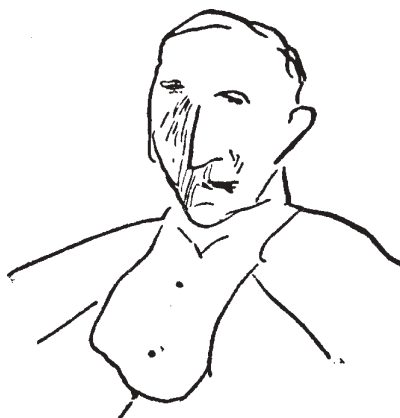


Бюст на другом

точки зрения аргументировал ее следующим образом: «Булавку для галстука можно носить и на животе, если уж так нравится, а вот воротничок — черта с два, не нацепишь куда попало». Что ж, ему, конечно, в здравом смысле отказать нельзя. А вопрос и по сей день не решен. Когда я прикладываю булавку к подбородку, получается очень хорошо; когда я поворачиваю холст воротничком вверх, опять выходит недурно; одним словом, как ни верти, все получается естественно, и линии совпадают точно; булавка на животе — лицо довольное и счастливое, как будто ничего иного ему и не требуется; воротничок на животе — опять то же счастливое выражение; правда, справедливости ради надо заметить, что, когда я вовсе убираю бюст, выражение радости и удовлетворения не исчезает; удивительное, в самом деле, лицо, какое постоянство выражения, несмотря на все превратности судьбы! Никак не могу вспомнить, кто это такой. Пожалуй, есть что-то общее с Вашингтоном. Только вряд ли это Вашингтон, у него было два уха. Всегда можно узнать Вашингтона по этому признаку. В отношении ушей он был большой педант и терпеть не мог всяческих новшеств.

Со временем я, конечно, справлюсь со всей этой путаницей, и тогда все пойдет как надо; некоторая неразбериха естественна поначалу, ее не избежишь. Слава пришла ко мне неожиданно, свалилась как снег на голову; это произошло, когда я опубликовал свой автопортрет; и, признаюсь, голова у меня слегка закружилась, — да и как иначе: такого еще свет никогда не видывал. В один только день шестьдесят два человека обратились ко мне с просьбой не писать их портретов, а среди них были самые выдающиеся люди страны: президент, министры в полном составе, писатели, губернаторы, адмиралы, претенденты на руководящие посты от оппозиционной партии, — словом, все, кто был хоть чем-нибудь; это широкое признание, эта всеобщая любовь вскружили бы голову каждому, кто делает первые шаги в искусстве. Сейчас я мало-помалу прихожу в себя и снова начинаю браться за кисть; надеюсь, что в самое ближайшее время смятение чувств уляжется и тогда я буду творить свои произведения рукой точной и уверенной, я смогу в мгновение ока отличать одно лицо от другого и находить без промедления нужный мне портрет среди десятка других.

Я живу новой, необыкновенной, возвышенной жизнью, я испытываю священный трепет всякий раз, когда вижу, как под моей кистью рождаются и оживают черты. Сперва я делаю этюд — первая наброска и только, несколько небрежно брошенных линий; взглянув на них, вы ни за что не догадаетесь, кого я пишу, да я и сам не могу точно сказать этого. Вот возьмите к примеру хотя бы этот холст. Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: это — Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Депью. Вы готовы побиться об заклад, что Депью из этого никогда не получится, но когда моя кисть последний



Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: это — Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Депью

раз коснется холста, с портрета на вас глянет Депью как живой, и тогда вы скажете: «Черт возьми, а ведь это и вправду не кто иной, как Депью».

Другие художники, вероятно, нарисовали бы его говорящим, но ведь и ему нужно иногда помолчать и подумать.

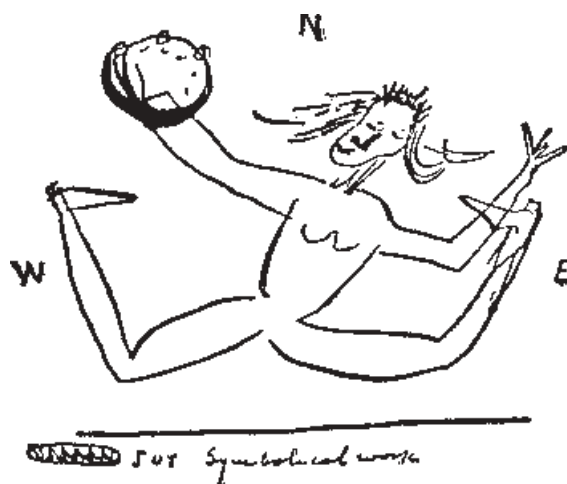
Это жанровая живопись, как говорим мы, художники, на своем профессиональном жаргоне, она отличается от росписи изразцов и от других школ во многих отношениях, главным образом своими техническими приемами; что это за приемы, вы все равно не поймете, даже если я и попытаюсь вам их объяснить. Но по мере того как я буду углубляться в свой рассказ, вы начнете уразумевать кое-что и полегонечку, не спеша, постигнете все самое важное в живописи, даже не заметив, как это произошло, не затратив при этом ни сил, ни труда; вы научитесь с первого взгляда определять, к какой школе принадлежит то или иное полотно, сможете отличить пейзаж от картины художника-анималиста. И тогда-то вы поймете, что такое истинная радость.

Когда мы с вами дойдем до портрета Джо Джефферсона и других моих работ, ваш глаз будет уже наметан, и вы сразу увидите, что все они выполнены в самых разнообразных манерах. Этот раздел я хотел бы закончить разбором полотна, изображающего обнаженное тело.

Эта моя работа отличается от всех остальных. Сюжеты других картин взяты из живой природы, это — неживая природа, то есть натюрморт; называется он так потому, что изображает мечту, нечто, не имеющее действительного и деятельного существования. Задача натюрморта — сделать осязаемым то духовное, таинственное, неуловимое начало, присутствие которого мы постоянно ощущаем, но которое не умеем постичь нашим плотским зрением, например — радость, горе, обиду и т. п. Наилучшим образом это достигается при помощи особого метода, который на языке художников зовется импрессионизмом. Представленная вашему вниманию картина — произведение импрессионистическое, написанное темперой, проблема светотени решена оригинально, в плане одноцветности, все вместе создает особую изысканность чувства и благородство выражения. В первую минуту может показаться, что картина принадлежит кисти Боттичелли, но это не так, это всего лишь робкое подражание великому Сандро Боттичелли, мастеру удлиненных, утонченных фигур и пленительно округлых форм.

Сюжет взят из греческой мифологии, на картине изображена не то Персефона, не то Персеполь, не то еще какая-то вакханка, совершающая торжественный обряд встречи перед алтарем Изиды по случаю прибытия корабля с афинскими юношами, посылаемыми ежегодно на остров Минос для принесения в жертву Дордонским циклопам.

Фигура символизирует торжественную радость. Она написана в строгом греческом стиле, а посему ей не требуются драпировки и прочие украшательства, художественная выразительность



В правой руке — не сковородка, а тамбурин

достигается единственно грацией движений и симметричностью контура. Смотреть ее надо с юга или, еще лучше, с юго-востока.

Правда, взглянув на нее с севера или с востока, вы полнее и глубже ощутите радость, запечатленную на полотне, но зато черты лица сместятся в ракурсе, и покажется, будто их изъели черви. Обратите внимание — в правой руке она держит не сковородку, а тамбурин.

Этот холст будет выставлен в Парижском салоне в июне месяце на соискание Римской премии.

Теперь взгляните, пожалуйста, сюда. Это — морской пейзаж — картина очень полезная для ознакомления с такими важными сторонами художественного мастерства, как перспектива и ракурс. Эти прыгающие волны, похожие на горные цепи, на переднем плане в сопоставлении с безмятежным парусом по ту сторону удочки, который вот-вот скроется из глаз и растает, как во сне, дают ощущение пространства и расстояния, не поддающееся передаче бедным человеческим языком. Вот какие чудеса творит на наших глазах волшебница-перспектива!

На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон, друг человечества. Он ловит рыбу, но еще ничего не поймал. Это видно по влажному блеску глаз и горестному выражению рта. Губы плотно сжаты, чтобы не вырвалось невзначай крепкое словцо. Удилище бамбуковое,



На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон,
друг человечества

леска дана в ракурсе. Это изменение длины лески, а также невозмутимость водной поверхности, где лежит поплавок, рождает мощное ощущение пространства и является еще одним средством для данного решения перспективы.



Не то мистер Роуэлс, не то мистер Лаффан.
Затрудняюсь сказать точно, потому что ярлычок с фамилией затерялся

Перейдем теперь вот к этому портрету, на нем изображен не то мистер Гоуэлс, не то мистер Лаффан. Утрудняюсь сказать точно, кто из них, потому, что ярлычок с фамилией затерялся. Но вполне может быть тот и другой, потому что чертами лица портрет напоминает Гоуэлса, а выражением Лаффана. Эта работа бесспорно заслуживает внимания критики. На следующем холсте изображено животное, какое — сказать не могу, потому что не знаю. Как видите — здесь только часть его. Я не успел нарисовать голову: когда черед дошел до нее, она скрылась за поворотом.

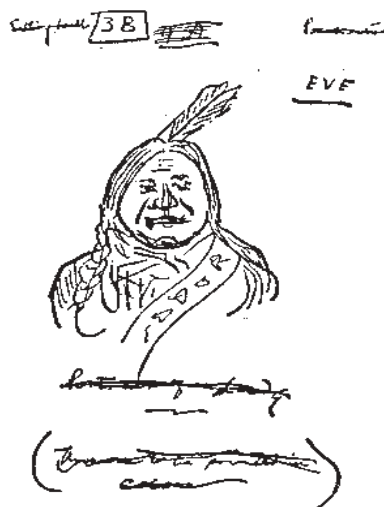


Я не успел нарисовать голову: когда черед дошел до нее, она скрылась за поворотом

В заключение остановимся на портрете женщины в стиле Рафаэля. Сперва я стал было писать королеву Елизавету, но не сумел передать кружева ее высокого воротника, из которого выростала голова Елизаветы, тогда я решил переделать королеву в индейскую принцессу Покахонтас, и опять не вышло. Но я не растерялся и, внося уверенной рукой кое-какие изменения и поправки, добился наконец выдающегося успеха. Я запечатлел на холсте нашу почтенную прародительницу, сообщив одухотворенность чертам ее лица и выразив в них ту чистую радость, какую испытала она, когда в первый раз в жизни надела платье, сшитое по такому случаю на заказ; и я с гордостью могу сказать, что моя портретная галерея обогатилась самым лучшим, самым покоряющим, самым выразительным произведением из всех, какие когда-либо были мною созданы.

Но где же тот источник, который питает талант начинающего художника, который придает крепость его кисти? Этот источник в нем самом. Неотрывно, взыскательным оком следите за своим собственным развитием. Сохраняйте все ваши полотна, рисунки, этюды; не забывайте проставлять на них число и год их создания; по прошествии лет не раз возвращайтесь к ним. Они покажут вам, сколь многого вы достигли, как далеко продвинулись. Это вдохновит вас, возбудит в душе сладостное волнение, укрепит веру в свои силы, как ничто иное.

Так всегда поступаю я; своими успехами в живописи я обязан именно этому.



Самое лучшее, самое покоряющее, самое выразительное
из всех моих произведений

Когда я оглядываюсь на пройденный путь и сравниваю свое первое творение с последним, мне не верится, что за тридцать лет можно так развить свой талант. А между тем это факт. Практика, постоянная практика — вот в чем залог успеха. Каждый день от трех до семи часов за мольбертом — это все, что требуется. И результаты будут поразительные. Помните, лень никогда не создавала ничего великого.

ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ

Не так давно я ездил в Сент-Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после пересадки в Тере-хот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного вида джентльмен лет сорока пяти-пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником.

Услышав, что я из Вашингтона, он тут же принялся расспрашивать меня о видных государственных деятелях, о делах в конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парламентской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора:

— Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить...

При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они навеяли ему какое-то очень приятное воспоминание», — подумал я.

Но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело.

Он повернулся ко мне и сказал:

— Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте внимательно — обещайте не перебивать.

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до последнего было проникнуто искренностью и большим чувством.

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА

Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В поезде было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настроение было превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наименее неприятным; и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам предстоит пережить нечто поистине кошмарное.

В одиннадцать часов вечера поднялась метель.

Проехали крохотное селение Уэлден, и за окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встретишь жилья на многие мили вплоть до самого Джубили-Сеттльмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине — ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд замедлил ход, — чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых валов, встававших на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности.

Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья.

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» — пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскакивали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной валил снег, но мы знали — секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски — все пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина: горстка людей воюет с растущими на глазах сугробами, суеотящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи, то возникают в красном, тревожном свете от фонаря локомотива.

Потребовался лишь один короткий час, чтобы мы поняли всю тщетность наших усилий. Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наметал на дороге десятки новых. Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паровичка лопнула продольная ось. Расчисти мы и тут не смогли бы сдвинуться с места. Выбившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерзнуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. В конце концов все согласилось с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. Значит, на помощь рассчитывать нечего, посылай не посылай — все без толку.

Остается одно: терпеливо и покорно ждать — чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах.

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слышался приглушенный шепот; пламя в лампах стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие тени; и несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон.

Бесконечная ночь длилась целую вечность, — нам и в самом деле казалось, что ей не будет конца, — медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, студёный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились — тот поправляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безрадостная! Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи, только беспредельная белая пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег, и мириады взвихренных снежных хлопьев густой пеленой застилают небо.

Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. Еще одна томительная, бесконечная ночь и голод.

Еще один рассвет — еще один день молчания, тоски, изнуряющего голода, бессмысленного ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью, в тяжелом сне — праздничные столы, ломящиеся от яств; утром — горькое пробуждение и снова муки голода.

Наступил четвертый день и прошел; наступил пятый! Пять дней в этом страшном заточении! В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что заставляло содрогнуться: взгляд выдавал то, пока еще неосознанное, что поднималось в каждой груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить.

Миновал шестой день, рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаявшимися людьми, на которых уже легла тень смерти. И час пробил! То неосознанное, что росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждых уст. Слишком большое испытание для человеческой природы, дольше терпеть не вмоготу. Ричард Х. Гастон из Миннесоты, длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет говорить, и приготовились: всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко; в глазах, только что горевших безумием, лишь сосредоточенное строгое спокойствие.

— Джентльмены! Медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным.

Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из штата Иллинойс:

— Господа, я выдвигаю кандидатуру преподобного Джеймса Сойера из штата Теннесси.

Мистер У. Р. Адамс из штата Индианы сказал:

— Предлагаю мистера Дэниела Слоута из НьюЙорка.

Мистер Чарльз Д. Лэнгдон. Выдвигаю мистера Сэмюела А. Боуэна из Сент-Луиса.

Мистер Слоут. Джентльмены, я хотел бы отвести свою кандидатуру в пользу мистера Джона А. Ван-Ностранда-младшего из Нью-Джерси.

Мистер Гастон. Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовлетворить.

Мистер Ван-Ностранд возражал, и просьбу Дэниела Слота не удовлетворили. С самоотводом выступили также господа Сойер и Боуэн; самоотвод их, на том же основании, не был принят.

Мистер А. Л. Баском из штата Огайо. Предлагаю подвести черту и перейти к тайному голосованию.

Мистер Сойер. Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения собрания. Это против всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во-первых, избрать председателя, затем, в помощь ему, заместителей. Вот тогда мы сможем должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парламентское установление нами не нарушено.

Мистер Билл из Айовы. Господа, я протестую. Не время и не место разводить церемонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все присутствующие; и я со своей стороны заявляю, что надо без промедления приступить к голосованию и избрать кого-нибудь одного, хотя... впрочем, можно и сразу нескольких. Вношу следующую резолюцию...

Мистер Гастон. По резолюции могут быть возражения; кроме того, согласно процедуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вызовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется джентльмену из Нью-Джерси.

Мистер Ван-Ностранд. Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным...

Мистер Морган из Алабамы (прерывая). Поддерживаю предложение мистера Сойера!

Предложение было поставлено на голосование, и прения, как полагается, были прекращены. Предложение прошло, председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера Блейка, в комиссию по выдвижению кандидатур вошли господа Холкомб, Дайэр и Болдуин, для содействия работе комиссии был избран Р. М. Хоулман, по профессии поставщик продовольственных товаров.

Объявили получасовой перерыв, комиссия удалилась на совещание. По стуку председательского молотка участники заседания вновь заняли места, комиссия зачитала список. В числе кандидатов оказались господа Джордж Фергюссон из штата Кентукки, Люсьен Херрман из штата Луизиана и У. Мессин, штат Колорадо. Список в целом был одобрен.

Мистер Роджерс из штата Миссури. Господин председатель, я вношу следующую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Херрмана внести в список всем известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент-Луиса. Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнению высокие моральные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы, я далек от этого. Я отношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя закрывать глаза

на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял в весе за время нашего пребывания здесь значительно более других; никто из нас не имеет права закрывать глаза на тот факт, господа, что комиссия — не знаю, просто ли по халатности, или из каких-либо неблагоприятных побуждений — пренебрегла своими обязанностями и представила на голосование джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питательных веществ...

П р е с е д а т е л ь. Мистер Роджерс, лишаю вас слова. Я не могу допустить, чтобы честность членов комиссии подвергали сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присутствующих по этой поправке?

М и с т е р Х о л л и д э й из штата Виргиния. Вношу еще одну поправку. Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придирается к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересуется нас прежде всего, объем, вес и масса — теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже гений. Я настаиваю на поправке.

М и с т е р М о р г а н (горячась). Господин председатель, я самым решительным образом протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма не молод. Объем его велик, не спорю, но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии будет довольно бульона, я лично предпочитаю более плотную пищу. Уж не издевается ли он над нами, он что — хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над нашими страданиями, подсовывая нам этого орегонского призрака? Я спрашиваю его, как можно смотреть на эти умоляющие лица, в эти полные скорби глаза, как можно слышать нетерпеливое биение наших сердец и в то же время навязывать нам этого заморенного голодом обманщика. Я спрашиваю мистера Холлидэя, можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших прошлых страданиях, о нашем беспросветном будущем, — можно ли, я спрашиваю, так упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезнями обезьяну с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, господа, ни в коем случае нельзя. (Аплодисменты.)

Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касается первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гарриса: «за» голосовали все; «против» был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосовать еще раз: хотелось избрать первого кандидата единогласно, — это, однако, не удалось, ибо и на сей раз Гаррис голосовал против.

Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого-нибудь на завтрак. Предложение приняли.

Стали голосовать. Мнения присутствующих разделились — половина поддерживала кандидатуру мистера Фергюссона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мистера Мессика, как более крупного по объему. Президент высказался в пользу последнего, голос его был решающим. Такой оборот дела вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонников потерпевшего поражение Фергюссона, был поднят вопрос о новом голосовании, но кто-то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлись.

Подготовка к ужину завладела вниманием фергюссоновской фракции, и они позабыли до поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущенную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис подан, и все их обиды как рукой сняло.

В качестве столов мы использовали спинки сидений; с сердцами, исполненными благодарности, рассаживались мы за ужин, великолепие которого превзошло все созданное нашей фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких

часов! Еще в полдень — тупая, безысходная скорбь; голод, лихорадочное отчаяние; а сейчас — какая сладкая истома на лицах, в глазах признательность, — блаженство такое полное, что нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жизни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы. Но теперь ни снег, ни вьюга были нам не страшны. Мне понравился Гаррис. Вероятно, его можно было приготовить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни один не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик был тоже недурен, правда с некоторым привкусом. Но Гаррис... я безусловно отдаю ему предпочтение за высокую питательность и какое-то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше, чем мумия. Мясо жесткое, нежирное; такое жесткое, что не разжуешь! Вы и представить себе это не можете, вы просто никогда ничего подобного не ели.

— Простите, вы хотели сказать...

— Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта, по имени Уокер.

Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше всяких похвал. Еще и сейчас, как вспомню, слюнки текут. Разве что самую малость непрожаренный, а так очень, очень хорош. На следующий день к завтраку был Морган из Алабамы.

Прекрасной души человек, ни разу не приходилось отведывать подобного: красавец собой, образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков, — словом, истинный джентльмен. Да, да, истинный джентльмен, и притом необыкновенно сочный. На ужин подали того самого древнего старца из Орегона. Вот уж кто и впрямь оказался негодным обманщиком — старый, тощий, жесткий, как мочала, трудно даже поверить. Я не выдержал:

— Джентльмены, — сказал я, — вы как хотите, а я подожду следующего.

Ко мне тут же присоединился Граймс из Иллинойса:

— Господа, — сказал он, — я тоже подожду. Когда изберут человека, имеющего хоть какое-нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам.

Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона никуда не годится, и, чтобы поддержать доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были объявлены новые выборы, и нашим избранником на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. То-то мы полакомились! Ну, а дальше мы съели одного за другим Дулиттла, Хокинса, Макэлроя (тут были неудовольствия — слишком мал и худ), потом Пенрода, двух Смитов, Бейли (у Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати, но в остальном он был неплох), потом съели юношу-индейца, потом шарманщика и одного джентльмена по имени Бакминстер — прескучнейший был господин, без всяких достоинств, к тому же весьма посредственного вкуса, хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь.

— Ах, так, значит, помощь пришла?

— Ну да, пришла — в одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот день выбор пал на Джона Мэрфи, и, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мэрфи вернулся домой вместе с нами цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку. А вернувшись, женился на вдове мистера Гарриса...

— Гарриса?!

— Ну да, того самого Гарриса, что был первым нашим избранником. И представьте — счастлив, разбогател, всеми уважаем! Ах, до того романтично, прямо как в книгах пишут. А вот и моя остановка. Желаю вам счастливого пути. Если выберете время, приезжайте ко мне на денек-другой, буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Меня прямо-таки влечет к вам. Я полюбил вас, поверьте, не меньше Гарриса. Всего вам хорошего, сэр. Приятного путешествия.

Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен, как никогда в жизни. И вместе с тем в глубине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз подирал по коже, как только он устремлял на меня свой алчный взгляд, а когда я услышал, что пришелся ему по вкусу и что в его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса — мир праху его, — меня буквально объял ужас.

Я был в полном смятении. Я поверил каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью; но ее страшные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок свои расстроенные мысли. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его:

— Кто этот человек?

— Когда-то он был членом конгресса, и притом всеми уважаемым. Но однажды поезд, в котором он куда-то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так изголодался, перемерз и обморозился, что заболел и месяца два-три был не в своем уме. Сейчас он ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея: стоит ему коснуться своей любимой темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию. Он бы и сейчас никого не пощадил, да остановка помешала. И все имена помнит назубок, никогда не сойдет. Расправившись с последним, он обычно заканчивает свою речь так: «Подошло время выбирать очередного кандидата на завтрак; ввиду отсутствия других предложений на сей раз был избран я, после чего я выступил с самоотводом, — возражений, естественно, не последовало, просьба моя была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами».

Как легко мне снова дышалось! Значит, все рассказанное — это всего-навсего безобидные бредни несчастного помешанного, а не подлинное приключение кровожадного людоеда.

МИР В ГОДУ 920 ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ (ИЗ ДНЕВНИКА ДАМЫ, СОСТОЯЩЕЙ В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ РОДСТВА)

Принимала сегодня Безумного Пророка. Он хороший человек, и, по-моему, его ум куда лучше своей репутации. Он получил это прозвище очень давно и совершенно незаслуженно, так как он просто составляет прогнозы, а не пророчествует. Он на это и не претендует. Свои прогнозы он составляет на основании истории и статистики, используя факты прошлого, чтобы предсказать, каким, вероятнее всего, окажется будущее. Прикладная наука — и только. Астроном предсказывает затмение, но это еще не значит, что он выдает себя за пророка. Вот Ной — пророк, и никто не питает большего почтения к нему и к его священному дару, чем этот скромный ученый, составляющий прогнозы и сопоставляющий возможное и вероятное.

Я познакомилась с Безумным Пророком — или Безумным Философом (его называют и так и так), — когда он еще учился в университете в начале третьего века. Тогда ему было лет девятнадцать или двадцать. Я всегда питала к нему дружеские чувства, отчасти, разумеется, потому, что он мой родственник (хотя и дальний), но главное, потому, что он умен и благороден. Он задумал жениться, когда ему было двадцать четыре года и когда, собственно говоря, ни он, ни его избранница не могли позволить себе такую роскошь, как брак, ибо они были бедны и родители их страдали тем же недостатком. Обе семьи были достаточно уважаемы и даже находились в дальнем родстве со знатью, но, как говаривал Адам, «соловья уважением не кормят», и начинать семейную жизнь, располагая только таким капиталом, было бы неразумно. Я посоветовала им подождать, и, конечно, они меня послушались, так как совет особы Первой Крови по обычаю всего человеческого рода был и остается законом. Но это были весьма нетерпеливые птенчики, страстно влюбленные друг в друга, а ждали они ровно столько времени, сколько требовалось чтобы удовлетворить лишь самые насущные требования этикета. Мое покровительство доставило юнцу место преподавателя математики в его же

университете и сохраняло это место за ним; он работал очень усердно и копил деньги. Бедняжки, они терпели эту, как они выражались, «отсрочку жизни», сколько могли, — но, прождав шестьдесят лет, они все-таки не выдержали и поженились. Она была очаровательным крысенком: стройная, гибкая, темноглазая, со щечками, как персики, и в прелестных ямочках, шаловливая, веселая, грациозная — настоящее произведение искусства, настоящая поэма. По происхождению она чужестранка, и капелькой благородной крови в своих жилах обязана в конечном счете знатному вельможе, обитавшему в дальнем краю на расстоянии многих меридианов отсюда, — князю Прачкоу. Он — мой потомок через... имя я запомнила, но во всяком случае, через род моей дочери Регины. Я имею в виду ту ветвь нашего рода, которая произошла от второго брака Регины. Он был троюродным братом... я забыла, как зовут и этого. Имя юной невесты было Красное Облачко — столь же чужеземное, как и ее происхождение. Оно, кажется, считалось наследственным.

Молодые супруги жили в бедности — они бедны и сейчас, но счастливы не менее, чем многие богачи. Настоящей нужды они никогда не знали, так как благодаря моему покровительству он сохранял свое место и даже время от времени получал небольшую прибавку к жалованью. Их мирная жизнь омрачилась только одним горем, которое поразило их в конце первого столетия их союза, но и до сих пор отзывается болью в их сердцах. Шестнадцать их детей погибли во время железнодорожной катастрофы.

Прежде чем прийти ко мне сегодня, Философ осмотрел двигатель, приводимый в действие этой удивительной новой силой — сжиженной мыслью. Двигатель произвел на него глубочайшее впечатление. Он сказал, что не видит причин, которые могли бы помешать этой силе вытеснить пар и электричество, поскольку она во много раз превосходит их по мощности, почти не занимает места и стоит гроши. Вернее, стоит гроши тресту, взявшему на нее патент. Это тот же трест, которому принадлежат все железные дороги и корабли на земном шаре — другими словами, весь мировой транспорт.

«Пять лет назад, — сказал он, — над этой новой силой смеялись невежды, ее отвергали мудрецы, но так бывало со всяким новым изобретением. Так было с леографом, так было с адографом, так было с визгозаикографом, и так будет с каждым новым изобретением до окончания века. И почему люди не научатся делать выводы, только узнав результаты? Казалось бы, опыт должен был их этому научить. Как правило, нелепое на первый взгляд изобретение со временем оказывается весьма и весьма полезным, стоит только внести в него то или иное улучшение. Пять лет назад сжиженная мысль не имела никакой практической пользы и была только экспонатом на Дамской Выставке Имперской Академии. О промышленном или коммерческом ее применении не могло быть и речи из-за необычайной дороговизны производства, поскольку на этой ранней стадии использовалось только сырье, получаемое от государственных деятелей, судей, ученых, поэтов, философов, редакторов, скульпторов, художников, генералов, адмиралов, изобретателей и инженеров. Однако теперь, как говорит Мафусаил, его научились добывать и из политиков и идиотов, причем он с обычным сарказмом добавляет: «Но это — тавтология, ибо политик и идиот — синонимы».

Я придерживаюсь мнения, что мы только еще приступаем к развитию этой новой таинственной силы. Я убежден, что все известное нам ныне — пустяк по сравнению с тем, что будет открыто за ближайшие десятилетия. Как знать, не окажется ли она знаменитой и горько оплакиваемой Утраченной Силой старых легенд? Вам, милостивейшее сиятельство, как и всему свету, известны эти легенды, но вы не знаете истории. Совсем недавно были прочитаны глиняные таблички, найденные при раскопках древнего города на Двойном Континенте, и, когда перевод будет опубликован, народы мира узнают, что замечательнейший человек, прозванный «Феноменом», который в середине пятого века, выйдя из ничтожества, в течение нескольких лет покорил мир и привел все земные царства под свой державный скипетр, ныне находящийся в руках его сына, в своих гигантских трудах опирался не только на свой колоссальный военный, государственный и административный гений, но и на некую внешнюю силу, хотя его таланты,

бесспорно, не имели ни равных себе, ни подобных. Сила эта получила в легендах, романтической литературе и поэзии название Утраченной Силы. Правда, молодой, никому не известный сапожник опустошил Двойной Континент огнём и мечом без помощи этой силы и покориł расположенные там царства опираясь лишь на собственные дарования и на миллиард солдат, находившихся под командованием миллиона генералов, которых он обучил сам и которые подчинялись только его воле, не ограниченной назойливым вмешательством министерств или законодательных собраний, — покориł, оставив на бранных полях горы убитых и раненых. Однако остальной мир он завоевал, не проливая крови, если не считать одного случая.

Теперь благодаря этим глиняным табличкам тайна открылась. «Феномену» стало известно, что некий Нэйпир, человек незнатный, но весьма ученый, написал в своем завещании, будто им найдено средство, с помощью которого можно в одно мгновение уничтожить целую армию, но он не откроет своего секрета, ибо война и без того уже достаточно ужасна и он не хочет способствовать тому, чтобы она стала еще более губительной.

Сапожник-император сказал: «Этот человек был глуп — его изобретение вообще уничтожит войну» — и приказал, чтобы ему были доставлены бумаги ученого. Он нашел формулу, выучил ее, а затем сжег все документы. Потом он втайне создал эту Силу и вышел в одиночку сражаться со всеми монархами Восточного полушария, держа ее в кармане. Только одна армия успела выступить против него. Она развернулась в боевом порядке на огромной равнине, и он с расстояния в двенадцать миль взорвал ее так, что от нее остались только несколько пуговиц и обожженных лохмотьев.

Он объявил себя владыкой мира, и власть его была признана единогласно. Как вам известно, его тридцатилетнее царствование было эпохой полного мира, но затем он в результате какой-то несчастной случайности взорвал себя вместе со своим аппаратом и одной из своих столиц, и его грозная тайна погибла вместе с ним. Затем вновь начались ужасные войны, которые продолжаются по сей день в наказание человечеству за его грехи. Но всемирная империя, которую он основал, была порождением мудрости и силы, и сегодня его сын сидит на ее троне так же прочно, как в те дни, когда он только взошел на него много веков тому назад».

Это было очень интересно. Затем он начал объяснять свой «Закон периодических повторений» — а может быть, свой «Закон постоянства среднего интеллектуального уровня», — но тут нас прервали. Ему была обещана аудиенция у Ее Величия, и придворный чиновник явился сообщить, что эта высокая честь будет оказана ему сейчас.